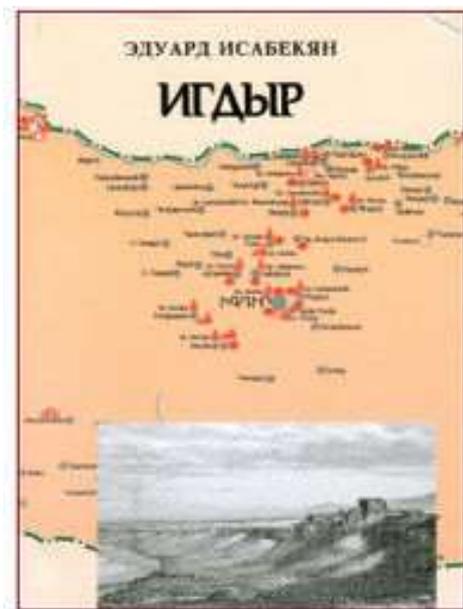


**ЭДУАРД ИСАБЕКЯН**

# **ИГДЫР**



*Перевела с армянского Гоар Гарибян*

*Ереван 2010*

**Аннотация:**

***Правда об изгнании армянского народа со своих земель.***

*Нас не путайте с ордами диких, медвежьих племён  
Да, наш край разорён, но он свят с легендарных времён.*

***Ваан Терьян***

Переселение армян Восточной Армении—трагическая и непростительно невозполнимая утрата исконных армянских территорий. Правда об этой позорной странице большевистских торгов долгое время находилась под запретом и оставалась неизвестной большинству армянского населения. Книга пронзительно патриотическая, лишённая вымысла и наполненная скорбью, по стилю изложения похожая на поэму о родном, казалось, временно утраченном крае, раскрывает нам историю родины в устах мудрого художника, перебирающего победы и ошибки собственного народа, переплетенные с несправедливыми поворотами судьбы...

В книге можно узнать почти всё о быте и обычаях сурмалинцев, живущих в цветущем крае под сенью Российской империи на земле, никогда не принадлежавшей туркам... и проклинавших все пункты пресловутого Карсского договора.

Написанная простым, народным языком книга в переводе на русский язык позволяет еще раз, склонившись перед подвигом своих героев, сыновей, погибших за отвоёванную землю, за Первую Республику и сегодняшнюю независимую Армению, с благодарностью почтить память великого патриота, замечательного художника Эдуарда Исабекияна, сумевшего на склоне лет не только создать эпопею о родной земле, но и в годы коммунистической власти донести свой голос до земляков, когда-то населявших всю Восточную Армению...

Города, как и люди, однажды рождаются, проживают свою жизнь, стареют и когда-то умирают.

В очень старые времена городов было совсем немного. Когда Армавир, Двин или тот же Ани были городами, многих ныне известных городов и в помине не было, скажем, Нью-Йорку или Ростову еще только предстояло родиться на свет.

Единственный вечный город, доживший до наших дней, это Рим. Других можно назвать долгожителями: Париж, Лондон, Мадрид... Таких много, всех не перечислить – они живут себе, дряхлеют, но живут. Бывает, долго живут и мертвые города.

Ты, родной мой Игдыр, никогда и не был городом, где там дряхлеть или умирать... Ты только собирался стать им, а вернее, старался сделать себя городом. Не получилось. И не в камне или других строительных материалах дело. Рядом были каменоломни Аревага – бери сколько душе угодно! И нет в том вины ни твоей, ни твоих жителей – вам просто не дали стать городом. Тебя, словно человека, совершившего тяжкое преступление, подвели к недостроенной стене твоего дома и... прикончили.

Даже судить не стали, чтобы определить, под какую статью, под какой параграф подвести твое «преступление», как это принято делать в цивилизованных странах, где только так и решают, расстрелять тебя или повесить. Тебя «убрали» без суда и следствия, точно так, как в твоём городе убрали, говоря словами одного из знаменитых твоих горожан – «заводчика» Власа, «всякую мразь» – армянофобов приставов и губернаторов.

Но ты ведь и в самом деле не был ни в чем виноват... Единственное твое преступление, твоя единственная вина состояла в том, что под земляными крышами твоих домов жили... армяне, как в тысячах других похожих на тебя городов и селений, где их точно так же, не утруждая себя доказательством вины, просто ставили к стенке.

Говорят, вместе легче умирать. Надо думать, умирающих о том не спрашивали. Так утешают себя те, кто остался жить. Если можно это считать утешением...

Но кто спросил об этом живших когда-то в Ани или Двине, тех людей, что были бы сейчас, доведись им выжить, жителями «вечных» городов, кто их спросил, «легче» ли было умирать вместе?

– Что за чушь – «легче умирать»! – сказал бы тот же заводчик Влас и наверняка прибавил бы: – И в честь чего? Ради чего?!

И как в воду бы глядел. Твое существование так этим «Ради чего?» и закончилось. Только Власа к стенке его мукомольни не поставили, и никого не поставили – не смогли. А Влас, покидая Игдыр, пожалел, не стал рушить, не сжег ни свою мукомольню, ни лимонадный завод, только и сказал, недоумевая, с горечью:

– Зачем же я строил? Ради чего? Чтоб порушить?.. Только и знаем строим да ломаем, строим – ломаем... Ради чего?..

А ты, любимый мой Игдыр, не мог уйти с нами, не смогли мы тебя унести с собой на ту сторону Араза, на тот наш берег...Ты остался, чтоб стать географической точкой на карте, тем самым «мертвым заживо» городом, который всегда будет напоминать своим бывшим горожанам о том, что был, существовал под сенью Масиса цветущий центр некогда «богатого школами» *гавара* – губернии Сурб Мари (Сурмари, Сурмали), имя которому Игдыр...

Сказал иудей:

*«Возблагодарим письменность нашу,  
что воздаст возрождение нам».*

*(Слова старого еврея, сказанные 1000 лет назад и записанные в старой рукописи.*

*Матенадаран, № 2670, стр. 95)*

Игдыр...

Откуда пошло твое имя? Какой скрытый смысл таится в пяти этих буквах? Никто никогда не задавался этим вопросом, не пытался его разгадать... А ведь ты родил немало «ученых умов», даже больше, чем нужно для тебя – захолустного городка, каких не счесть в бескрайних владениях русского царя. А мы, армяне, как известно, непонятных слов не любим. Всякое слово ли, имя ли, когда-то кем-то придумано и непременно должно иметь свое толкование, как, к примеру, Агавнадзор, Бжни или Нахичеван, Степанаван... Твое имя в пять букв вроде и не из языка урартов, но ни в словарях, ни в энциклопедиях, созданных учеными мужами, его нет. Нету, родной мой Игдыр.

С другой стороны, ничего удивительного в нем тоже нет: обыкновенное название города и местности, топоним, каких тысячи, с той лишь разницей, что за последние шесть-семь десятилетий и шесть-семь раз никем не упоминался. А ведь ты совсем близко, родной мой, ближе, чем тот же Агавнадзор или Нахичеван, – всего в часе езды от Еревана, если ехать на «Жигулях» – этом, с позволения сказать, автомобиле, скажем, от коньячного завода «Арагат» в направлении моста Маргары, по которому мы ушли однажды, бросив на другом берегу Араза тебя – ошеломленного, поникшего...

От моста до тебя рукой подать – каких-то 12-15 километров, но их не одолеть: колючая проволока в три ряда, граница и Араз отделяют нас, живущих по эту сторону, – от тебя и твоих теперешних жителей. Но даже если бы не эти километры, добраться до тебя на «Жигулях» невозможно... Ты близок, но только для аистов, а я, родной мой, не аист – скорее пес на привязи... И даже эта близость не помогла сохранить тебя в памяти, чтобы хоть кто-то когда-нибудь вспомнил твое имя... Забыли тебя, ох как забыли, будто и не было никогда Игдыра на свете. Да и кому было вспоминать!..

Пройдет еще немного, и тех, кто родился под твоими земляными кровлями, можно будет по пальцам пересчитать, еще немного и навсегда умолкнут голоса рожденных на твоей земле. Для тех же, кто родился под жестяными крышами Еревана, ты всего лишь географическое название размером с булавоочную головку – по ту сторону Араза...

Но ведь ты был. «И есть!» – шепчешь ты мне сейчас на ухо. Ты был, и ты есть, и не важно, какая собака дрыхнет сегодня на твоей земле. Главное – помнить о неопровержимом факте твоего существования в долине, что зовется Араратской, в богатом и плодородном гаваре Сурмалу, столицей которого тебе довелось быть. Не забывать о временах, когда пять букв твоего имени были у всех на устах, употребительней, чем жвачка...

Однако забыли тебя, ох как забыли, любимый мой Игдыр... Будто и не было тебя, как того села Акори, что однажды сгнуло, исчезло в бездне ущелья Масиса...

– Лучше было и мне исчезнуть, чем знать, что меня вот так забыли...

Да не просто забыли...

Одно дело подзабыть, совсем другое – предать забвению. Мы, рожденные на твоей земле, не имели права забыть тебя, и если бы моя собака Занги могла тебе ответить, она сказала бы, что люди от собак тем и отличаются, что помнят, где родились...

– Все Занги Игдыра и их сородичи остались без хозяев, забыв о еде и воде, высунув языки, они бежали за вами до моста Маргары и назад уже не вернулись...

– Собака не кошка, родной, из немых рук есть не станет. Что случилось – случилось с нами, ты же был и будешь всегда – хоть с горошину, хоть с булавоочную головку. Но не тем, «прежним Игдыром». И ни чести быть центром Сурмалинского гавара не удостоишься, ни бельмом на глазу для городских властей и губернатора Эриванской губернии не станешь. И, верно, доведись им чудом дожить до наших дней, вот уж повеселились бы, порадовались они твоей теперешней участи: очень уж не по сердцу им были те, кто жил на твоей земле, кто делал тебя столицей гавара. Но твоим жителям было наплевать, нравится им это или нет. И не помогли никакие ухищрения – сколько ни назначали турецких и курдских приставов и есаулов, чтоб «вразумить» твоих горожан. Больше того, игдырцы нашли способ избавляться от них «своими силами». Хотя и не переставали удивляться: зачем понадобилось христианской державе срывать-переселять их с обжитых мест – только чтобы взамен персидских «кызылбашей»

поставить править ими курдских и турецких приставов и есаулов? Не все ли равно, кто будет грабить армянина и осквернять его хлеб? Разве к лицу великой христианской державе такая несправедная затея? Даже самые умные из твоих горожан не могли взять это в толк и, грустно качая головой, выдыхали облачко горького дыма и с досадой причмокивали, бормоча себе под нос: «Ради чего?.. Зачем нас сюда тащили?.. Зачем мы притащились?», и, плюнув в сторону, тоскливо добавляли: «эх, мать того, кто тебя христианином назовёт...»

И подкрепляли плевком крепкой тирадой, на чем свет кляня и губернатора, и «ихнего» царя... «Ради чего?!» С этого горького вопроса и началась их новая жизнь, недоумевающая и протестующая.

– И места-то какие выбрали!.. Солончаки, репей да колючки и топи, заросшие камышом.

Да и как было не плевать: они-то знали, что оставили, придя сюда... Сам, небось, помнишь, питьевой воды и той не было – пили воду из Араза, которая в разное время года имела иной цвет и даже густоту...

Молчишь?.. наверное, нечего возразить на вопрос, почему остались на твоей земле и не пошли дальше, скажем, в Бюракан, Гарни, Котайк... Никто теперь тебе на этот вопрос ответа не даст. Кто мог бы ответить, так это пришедшие сюда первыми Исабек, Канан, дед Енока, Нарндженц Енок – но кто скажет, сколько раз с тех пор зеленела и высыхала трава на их могилах? Без счета.

И имени твоего они менять не стали. Хотя и могли, право имели: в обычае было добавлять что-нибудь к старому названию. Приписали бы к твоему имени «Нор» («Новый»), и вышло бы что-то вроде «Нового Салмаста», «Нового Маку», «Нового Хоя»... Но нет, не стали. Нравилось, наверное: коротко, ёмко, и внушительно – Игдыр!

Да и долго раздумывать времени не было. К тому же они знали, что ты немолод и старое подновлять – выйдет вроде заплатки, а твои новые горожане к заплатам не привыкли. Среди них были ученые мужи – Мелик Вртанес, Гарегин-ага, «заводчик» Влас, Канаенц Мартирос, Одабашенц Ерванд и много других, они знали твою историю, твою седину. Знали, что в своё время ты был крепким, богатым селом в Араратском гаваре Чакатк, имел даже оборонительную крепость, как свидетельствовал некий путешествующий испанец, еще в 1403 году проезжавший через местность с названием Сурмари и заночевавший в замке её владелицы, гостеприимной вдовствующей княгини, которая платила дань Ленк-Тимуру (1).

Но у нас есть основания предполагать, что имя твоё, родной мой, имеет более давнюю историю, чем та, что помнишь ты или тот испанец и уж тем более – твои новые горожане, какими бы образованными ни были.

Новые жители, сделавшие тебя городом, сумели придать твоему имени новый, вполне понятный смысл и вдохнуть в него новое содержание, смогли сделать тебя центром губернии и объектом неослабного внимания губернатора, равно как загадкой и головной болью для местных властей. Откуда только взялся этот незванный народ, который явился на эти земли, взял власть над местным сбродом и, как лишайник, прилепился к твоему боку!

Этот пришлый народ – садоводы, земледельцы из армянских губерний Гер и Загреванд\* – родил Мхитара Гераци, Раффи, Чаренца, других выдающихся людей. Они оставили райские сады Хоя, Салмаста, Маку. Что же в тебе так привлекло их? Чем так пленил ты этих чужаков с большими грустными глазами, знавших достаток и изобилие, что они обеими ногами вросли в твою просоленную насквозь землю да так на ней и остались?..

...И остались. Может, поверили деду «Клав» Саргиса, который сказал:

– Сюда бы воду – здесь виноградная лоза с мою ногу толщиной уродится...

(А уж ноги у деда, да и у самого «Клав» Саргиса, были такой толщины, что у сапожников Игдыра не нашлось колодок, («калодка») чтоб сшить чакмы для этих богатырей).

Ну, Араз был рядом, и не такие они безголовые и безрукие, как твои прежние жители. Соорудили отвод, подвели воду...

Эти переселенцы, что до Мхитара Гераци, что после – были влюбленные в землю потомственные земледельцы и искусные ремесленники: каменщики и гончары, кузнецы, ювелиры и портные, – словом, люди, знавшие цену времени, и с самого первого дня они стали считать себя хозяевами Игдыра. Вели себя совсем не как изгнанники - *гахтаканы*... И так приросли к твоей земле, что казалось, на ней родились... Застроили и засадили цветущими сказочными садами заросшие колючками бросовые, неухоженные земли Араратской долины. Забрали тёмные, густые вина в новеньких карасах, в чугунках плавали в рассоле *кохак\** и тарех – знаменитая ванская сельдь. И выложили камнем тониры, и к небу взметнулся благоухающий хлебом дым, благоухающий хлебным духом...

И, как истинные приверженцы, не забыли о храме – незамедлительно возвели церковь из необожженного кирпича и под вечерний звон колоколов сели за стол, надломили свежий хлеб и запили его... Кто-то – божественной водой «сорока

ключей и родников» Бюракана, Гарни, Крбулаха, которую подавали им, неся тонкогорлый кувшин на нежном плече, их красавицы-невестки и юные дочери... А те, кто остался на твоей земле, любимый мой Игдыр, пили из ручьев Араза воду, что меняла цвет по временам года и становилась прозрачной, только отстоявшись в каменных чашах, которые наполняли с ночи. Но они остались, вынесли и жажду, и жару, и лихорадку, и палящий зной. Все они были хозяева своего слова, решили остаться – и всё тут!

Игдыр...

Послушай, Игдыр, мне ли писать о тебе, когда столько «умников» было у тебя!..

Как с гордостью любил повторять в своих проповедях Тер Месроп, приходский священник Игдыр-мавы: «Игдыр должен гордиться своими «учеными умами». То есть не портным, мастером-*устабаши* Аветисом, который шил такие чухи и черкески, что к нему за ними за сто вёрст из самого Тифлиса, из Гянджи приезжали. Не «заводчиком» Власом, чей лимонад частенько требовал к столу сам губернатор Еревана и, рыгая и крякая после каждого стакана, объяснял гостям, кто такой Влас. И не множеством других славных имен...

Ты должен был гордиться своими «учеными умами»... Но отчего же эти ученые умы так быстро забыли тебя, из головы выбросили и словно языки проглотили, а ведь было время, когда имя твое, как жвачка, было у всех на языке. Благо бы другие забыли, те, что знать не знали – есть ты, нет тебя. Но твои сыновья, хваленые «умники»! Как могли они приравнять тебя к своим брошенным могилам?.. Были же и другие беженцы – нет чтобы с них пример брать: какой они шум поднимали, как «накаляли страсти» перечислением своих потерь, походя приумножая их, чтоб не одни они, но и другие знали и помнили...

А мне ты кажешься сном, виденным в детстве, и я про тебя больше слышал, чем видел, но отчего мне не забыть тебя, Игдыр? Почему ты не рассеешься, как сон, почему горьким дымом тлеешь во мне, как сырое полено? Как старая рана ты живешь в моей душе и жжешь ее медленным огнём, причиняя боль. Что же случилось? Почему тебя так бесславно похоронили и «замолчали»?!

Почему и ты не родил поэта, пускай немного не от мира сего, чтобы он, как другие, устроившись на ветке платана, щебетал в ереванских скверах о твоих гладкоствольных тополях, твоём оранжево-багряном солнце, об огромных, ростом с дерево, кустах шиповника, раскинувших ветки в изножье Масиса. О твоих искусных садовниках, в чьих карасах зрело терпкое вино из темных сортов

винограда. О твоих храбрецах, от одного имени которых турок и курдов трясло и они, как ползучие гады, в ужасе прятались в свои норы...

Осталась от тебя только песня, которую народные певцы – сазандары надрывно поют каждый раз, когда какой-либо старый игдырец, сурмалинец, покидает этот мир, расставшись с надеждой увидеть тебя: «*Аман, аман, Сурмалу...*»

Эту песню ты, любимый мой Игдыр, никогда не слышал, её стали петь много позже. Какой из твоих ашуггов, измученный болью незаживающих ран, придумал её? Когда придумал, «*змея уже обвила твою судьбу*»...

Те, кто остался на твоей земле, в большинстве своем родом из Хоя, Салмаста, были люди суровые и гордые, со строгим, исподлобья, взглядом больших черных глаз, с густыми бровями и усами, широкоплечие и тонкие в поясе. По праздникам надевали черные шерстяные *чухи*, и длинные кинжалы-ханчалы в посеребрённых ножнах свисали со старинных серебряных поясов-*кямаров*. В их строгих взглядах читалась беспредельная доброта и затаенная улыбка, которая в соединении с какой-то извечной тоской придавала их глазам неизъяснимую притягательность, о которой сами они не догадывались.

Гнев и смех у этих людей были не так уж далеки друг от друга, хотя рассердить их было гораздо легче, и это было уже известно всем жившим окрест, в сёлах, прилепившихся к подошве Масиса, курдам и туркам, которые примолкли и затаились после появления переселенцев. Да и к чему было их гневить, беречь боль и горькую обиду, напоминать о брошенных тысячеклетних могилах, о родном доме и земле, политой потом?

Турки и курды и то поняли, что с этим добровольно пришлым народом с опаленной судьбой надо быть осторожнее, – и остерегались, обходили с опаской. Ведь никакое стихийное бедствие – наводнение, землетрясение, никакая сверхъестественная сила не могут оторвать человека от свитого им гнезда.

Но, видно, всякое терпение когда-нибудь иссякает. И дом, который ты построил, и земля, и цветы и деревья, посаженные тобой, однажды превращаются в тернии и крапиву, и всё вокруг делается чуждым, бессмысленным и постылым, когда твой кусок хлеба встает кому-то поперек горла, а вода и еда горчат от чужой желчи...

На древней земле Ерана–Ирана жили уже совсем другие еранцы, не те, что населяли ее во времена Мхитара Гераци. Они опоганили свою кровь родством с кочевыми племенами, смешались с ними, и вот эти-то «новые персы» доконали

терпеливый народ, который тысячелетиями жил на этой земле и врос в нее корнями.

...Мороз продирает по коже, когда я представляю себя на месте моего далёкого прадеда. С какой чудовищной силой сжимал он кулаки, привычные к косе и плугу, когда, стиснув зубы, молча затворил двери своего дома и сада, чтобы больше никогда туда не вернуться... О, я бы схватил его за подол черной чухи, двумя руками повис на нём и попросил:

– Не делай этого, дед!

А он молча повернулся бы ко мне, расправив на мгновение густые, широкие брови, и может, он улыбнулся бы наивности правнука и загрубевшей рукой ласково погладил бы меня по голове:

– Идём... пошли отсюда, сынок...

\*\*\*

Депортировано было более пятидесяти тысяч семей, и их исход по этой враждебной, негостеприимной земле был изнурительным и трудным. Единственной их опорой, защитником и утешителем был Егиазар Овакимович Лазарян – Елизар Акимович Лазарев, чей род, берущий начало в гаваре Гохтан, давно закрепился в России, стал одним из богатейших и влиятельнейших при дворе и снискал глубокое к себе уважение. Елизар Акимович, замечательный военачальник, по высочайшему повелению принял на себя хлопотное дело переселения, защиты, организации питания и ночлега иранских армян. Словом, всего того, что забыло предусмотреть царское правительство и казна.

И если благородный дворянин Грибоедов, будучи императорским послом, выполнял приказ царя-самодержца заселить христианским народом земли, отвоеванные у персов, которые те опустошили, изгоняя армян, то цели Лазаревых простирались куда дальше. Их целью, мечтой, получившей благоволение императорского двора, было ни много, ни мало создание армянского государства – мечта, которая так и осталась мечтой. Чего и следовало ожидать: чтобы построить государство, одной мечты мало...

Но то, что произошло в 1928 году, после знаменитого Туркманчайского договора, в историческом плане возымело судьбоносное значение для нас, армян. Земли, опустошённые шахом Аббасом, снова ожили и почувствовали на себе хозяйскую руку землелашца, хлебороба, который окропил их праведным трудовым потом. Колесо истории повернулось вспять, перевернув и твою судьбу,

родной мой Игдыр, чтобы ты снова ощутил себя на своей земле, как это было еще во времена царя Папа.

Однако это продлилось недолго... Для истории твое воскрешение было ничтожно кратким. Мгновение – и снова остановилось это колесо, на этот раз на «неопределенное» время. Очень неопределенное...

Такие непредвиденные сбои с колесом истории случаются. Редко, как исключение, вопреки всем законам, но случаются. И если есть на карте мира пядь земли, чья история полна «исторически неоправданных поворотов», то это, любимый мой Игдыр, не только твой крохотный и необъяснимо переменчивый лоскут земли, но и земля целого народа, чье имя армянин! И даже самый красноречивый из сынов этого народа вряд ли сможет объяснить, отчего с такой частотой случались солнечные затмения в этом краю, где солнце двенадцать месяцев в году не сходит с небосвода...

\*\*\*

Весь первый год после исхода игдырцы жили в состоянии ожидания и верили в то, что их пребывание в Ереване временно и продлится недолго. Многие обзавелись садовыми участками, но не приобретали их, а брали в аренду на срок, с правом на урожай.

Ереванские турки-богатеи шли на эти сделки с ними, изображая «добросердечие». А на деле расчётливые ловчицы за гроши «уступали» игдырцам один из десятка своих садов, отлично зная, что пришлым не суждено насладиться плодами своих трудов, поскольку половину Еревана населяли голодные беженцы и их регулярные «визиты» были подобны нашествиям разъяренной саранчи. Между тем при такой сделке саду был обеспечен уход, и хозяйничал в нём тот же беженец. Таким образом хитрый турок сохранял всё что имел, а игдырцы, которые без сада не могли прожить и дня, оставались лишь его сезонными зрителями.

Наш сад в Далме был одним из дальних, у самого края пыльной дороги, называемой «Эчмиацни шош», то есть Эчмиадзинское шоссе. Но что за сад! Ни пяди необработанной земли, и какая ухоженность, какое разнообразие плодов!

В верхней, каменистой части сада росли ореховые деревья, вдоль ограды – айва, инжир, кусты миндаля и фундука. Ниже – абрикосовые деревья разных сортов, от сладких, как мед, ахджанабадов и табарзы до шалаха и «миндального» сорта, и белые абрикосы для варенья, а еще низенькие деревья с райскими яблочками. Персиковые деревья росли между кустами винограда «харджи».

Под абрикосовыми деревьями стоял садовый домик-мазанка, увитый виноградными лозами, а в глубине сада скрывались от ветров плети винограда «харджи», весь урожай которого, оставив самую малость на *дошаб* и небольшое количество вина для дома, сдавали коньячным заводам Шустова или Сараджева. Из всех сортов винограда в мире слаще «харджи» только сам «харджи», которым даже платили дань – «хардж» персидским сардарам. И шустовский коньяк из «харджи» во всей России не имел себе равных и не уступал французскому.

Ереванцы тоже были хорошими садоводами. За «нашим» садом присматривал Хачо по прозвищу «Днгл» (Дубина) – бешеный буян и сумасброд. Не лучше был и Арамо, Аваговенц Арамо, чей сад был через стенку с нашим. Присутствия одного из них было достаточно, чтобы прохожие убыстряли шаг, проходя мимо нашего забора. У обоих на боку висели маузеры, а у Арамо еще и винтовка «Мосин».

Еду этому Хачо я возил на осле, доставшемся нам вместе с правом на урожай. Осел был хороший, хамаданский, мы заменили его попону седлом. Мой старший брат Грайр, Гро заменил, и чаще всего он сам курсировал в этом седле между домом и садом. Мне приходилось довольствоваться маленьким черным ишачком – на него легче было взбираться.

Пребывание Грайра в саду прямого отношения к садоводству не имело: под руководством «Днгл Хачо» брат, что называется, овладевал боевыми навыками – учился стрелять в цель, что в дальнейшей жизни ему не пригодилось, если не считать распугивания птиц в нашем и соседнем с нами саду.

Одна нога у Хачо была короче другой, но трудно было определить, которая: при ходьбе он так скоро и ладно перебирал ногами, что его недостаток выглядел своеобразием походки. Массивный маузер, покачивающийся в такт шагам, при коротком росте Хачо и вовсе казался огромным, и я страшно завидовал его хромоте и даже пытался подражать его походке...

Мое немое обожание, видно, было Хачо по душе, потому что при взгляде на меня под его короткими черными усами пробежало что-то похожее на улыбку, а Хачо улыбаться не привык, а может, умел, но однажды забыл.

Я с перевязанным плечом сидел в тени мазанки, свободной рукой тихонько поглаживал больное место и беседовал с моей Занги, которая осталась без брата – бедный Зранги исчез: то ли его волки задрали, то ли это было дело рук Хачо, решившего, что две собаки для одного сада – непомерная роскошь, тем более,

когда есть он, Хачо. Я долго плакал, но разве у него дознаешься? Только плечами пожимал – дескать, откуда мне знать...

Лохматая Занги сидела рядом со мной, подвернув загнутый кренделем хвост, но на каждое мое слово помахивала им, словно веером, шурша по траве, ласково, во всю морду, улыбалась и наклоняла голову то в одну сторону, то в другую, поводя мягкими ушами, чтобы лучше меня слышать. Вот так и беседовали. Ведь с собакой, как и с любым живым существом можно беседовать, если найти с ним язык. Я разговаривал даже с нашим «временным» ослом, и он – даром что осел – в меру своих ослиных возможностей тоже принимал участие в разговоре: мотал головой, что означало когда «да», а когда и «нет». Особо сложных вопросов я старался не задавать, а его «ответы» одновременно отгоняли назойливых мух, облеплявших глаза и ноздри ишачка. Я спрашивал: «Опустить седло?» Он говорил да или нет. Или: «Хочешь водички?» – то же самое. Ну, сами понимаете, какой собеседник из осла!

Занги совсем другое дело. Море ума! Спросишь: «Слушай, Занги, не скучаешь по братику Зранги?» – и она жалобно подвывает, повернув голову к инжировым деревьям, под которыми была их конура.

Или я спрашивал: «Занги джан, как тебе сегодняшний обед?» Она улыбалась широко, до самых ушей, потом, громко твякнув пару раз, тыкалась мордой в траву. Что значило: «Премного благодарна».

Говорю ей: «Послушай, Занги, ты помнишь свою маму – такая большая, рыжая, лохматая, неужто не помнишь?» Смотрит непонимающе, уши торчком – и ничего. Давно это было, она сама уже взрослая собака, встретив сородича, беззастенчиво обнюхивает его зад – пол выясняет... А мать не помнит. Все пять органов чувств в порядке, полный набор, все равно что у меня или у Хачо, а памяти никакой. И, наверное, вся разница между нами только и состоит в отсутствии у неё этого свойства, которое мы зовем памятью, – лучше б его вовсе не иметь! Ах, чтоб ей пропасть, этой ненавистой памяти!..

Нашу беседу прерывает Хачо, при появлении которого Занги почтительно отступает в сторонку.

– Ну что, сегодня стрелять не хочешь?

В ответ я поглаживаю ноющее плечо.

– Приклад надо крепко зажимать под мышкой, чтоб не болтался...

Чего же он вчера не объяснял, как держать приклад? Знал же, что я винтовки в руках не держал! Я пальцем на курок нажал и... С земли меня уже Хачо поднял,

слегка помассировал мне плечо толстой пятерней, на которой не хватало пары-тройки пальцев, и равнодушно обронил: «Ничего страшного. Заживет»...

Хачо пристроил оранжевую тыкву на расстоянии пятнадцати-двадцати шагов, воткнул в неё перо, объяснив, что это чалма турецкого паши и надо целиться в самую серединку, то есть прямоком в лоб паше. Я лег на живот, уперся локтем в высокую фасолевую грядку и, прищурившись, стал целиться в тыкву. «Мосин» – винтовка тяжелая, и левая рука у меня ходуном ходила, ствол плясал вверх и вниз, как *пахлеван* Вачаган.

– Задержи дыхание и жми! Давай! – И я нажал...

Занги в ужасе отскочила в сторону, а я повалился на землю едва живой и словно издали слышал голос Хачо:

– Ай молодец, ай *кочах!*

Выяснилось, что тыква треснула ровно посередке. Видя моё плачевное состояние, Хачо сжалился:

– Ладно, на сегодня хватит, завтра постреляем, – сказал он и перелез через ограду в сад Арамо.

А Занги, которая издали наблюдала за нами, дождалась ухода Хачо, повела ушами вслед ему, то и дело оглядываясь, подошла и уселась рядом, поджав лохматый хвост, чтобы продолжить беседу. Она с таким сочувствием заглядывала мне в глаза, чуть-чуть улыбаясь, что казалось, сейчас скажет, как Хачо:

– Да ладно, брось, подумай, малость зашибло. Завтра постреляешь...

И опять озиралась в ту сторону.

– Боишься Хачо, да?

Опускает голову и тихо подвывает...

И правильно делаешь, Занги джан, кто ж его не боится, сама подумай! Даже наш «хазеин», которому сад принадлежит, когда, случается, приходит... Да-да, он, *хаджи* (до чего же ты догадливая!). Видала, как он при виде Хачо по стойке «смирно» вытягивается и его жидкая, крашенная хной бородавка вздрагивает мелко-мелко? А ты для него кто? – всего лишь собака, а ну как он тебя к Занги отправит?.. Ох, сатана, ишь как улыбаешься...

Ага, подвывает... Видишь, что у него на боку висит? Ма-у-зер! Знаешь, что это такое? Да, знаешь, ты слышала, как он шарахает. Какой от него грохот, а? Легонько тронешь курок – и тра-та-та-та!.. Раз десять! И чему ты радуешься, чего лаешь, не понимаю! Ворчишь? То-то. Так-то лучше... Только ты ему поменьше на глаза попадайся. У него физиономия такая, будто он уксуса выпил, и ты лучше

сиди себе под забором и лай, даже если лаять незачем, просто так, на каждого прохожего. Ты же собака. Вот молодец, поняла. Только не сейчас, нет. Потом... У него просто лицо такое. Помнишь, вчера, когда я упал, а ты, предательница, вместо того чтобы мне помочь, убежала под свое инжировое дерево... Ведь он сам меня поднял и все сокрушался:

– Вах, чтоб я ослеп! Бедный малец страху натерпелся!

И я почувствовал, как он поцеловал меня в лоб – ну, то есть ткнулся мне в лоб своими жесткими усами. Но только я глаза открыл – у Хачо все то же кислое лицо, будто укуса напился. Да ведь у него, бедняги, никого на свете нет, ничего нет: ни дома, ни семьи. Был брат, и того убили под Аргаджем. Жалко его, жалко. Выжгли ему душу проклятые турки! Вот, и ты понимаешь. Подвываешь, значит, тоже жалеешь... Всего только и есть у него, что этот вот маузер да старая-престарая мать.

Но, послушай, Занги! Подойди ближе, чтоб он вдруг не услышал. Он ведь тоже человек, правда, и тоже кого-нибудь боится. Если по правде, сейчас все друг друга боятся – время такое, порядка нет, как говорится, собака хозяина не узнаёт... Нет, нет, это не про тебя, Занги джан, я не про настоящих собак... Так о чем я говорил? Да, про Хачо. Ведь Хачо бояться права не имеет, он же игдырец, но... Да, моя трусишка, и ты игдырец. Ты знаешь, что это значит? Нет, тебе не понять. Да и никому не понять.

Ты тогда спала, спросить тебя – скажешь: сад охраняла! А я этот день навсегда запомню. Я тут остался, домой идти побоялся, чтоб мать не увидела синяк на плече, а то, глядишь, еще бы и от себя добавила. И лег спать на сеновале, чтоб налюбоваться вдоволь звездным небом и послушать концерт сверчков. Вообще запомни, милая Занги, кто на крыше или на чердаке не спал, тот не знает, что такое ночь и какие в ночном небе чудеса творятся... Но сеновал – это что-то особенное! Ты лежишь высоко, как в колыбели, которая покачивается при каждом движении, и пахучая трава под тобой мягкая-премягкая, как взбитая матерью шерсть для тюфяков. Сладкое пение сверчков наполняет ночь звоном. Сверчки, сверчки, ты их тоже слышала, и брось прислушиваться – они днем не поют... А звезды тебе моргают-подмигивают, и кажется, они тоже звенят, только звон у них особенный. Вроде звенят, но не слышно ни звука...

Не знаю почему, но в это утро я проснулся рано. Хачо тоже спал в садовой сторожке. Я спустился с сеновала за малой нуждой.. Хотя можно было управиться и сверху, но, повторяю, сам не знаю почему я сошел вниз и, сонный, побрел к

персиковому дереву в глубине сада, среди кустов винограда харджи, и... остолбенел, вот как ты сейчас. Несколько ям, подготовленных для посадки кустов, были прикрыты ковриками и рогожей. На секунду мне показалось, что под ковриками спят люди, но ни их ног, ни голов видно не было. Я нагнулся, приподнял край коврика и... потерял дар речи! Чего там только не было! Самовары и кастрюли, кувшины большие и малые, пустые и полные, перевязанные лоскутами и запечатанные кожей... Подушки и одеяла, сундуки, мешки с пшеницей и ячменем...

Я чуть не вскрикнул – от испуга или от удивления, но тут увидел Хачо с пальцем, прижатым к губам. «Тише!» – прошипел он каким-то нехорошим голосом. Я вмиг онемел и замер на месте, даже рукой, протянутой к коврику, не мог пошевелить.

– Тише! – снова шикнул Хачо и, дёрнув головой, позвал меня за собой. – Пошли отсюда, сынок, тебя это не касается, это соседские пожитки, сейчас придут, заберут... – и что-то еще бормотал бессвязно, бледный и растерянный...

Тут и в самом деле послышался скрип телег, возле наших ворот он смолк. Дверь сада почему-то была незаперта, она отворилась с тихим скрипом, и в сад вошла толпа вооруженных мужчин: на них не было видно одежды от обилия ружей и патронташей. Наверное, это были те самые «соседи», пришли за своими пожитками.

Впереди всех шёл высокий немолодой мужчина с роскошными светлыми усами, в белой папахе, сдвинутой чуть назад и набекрень, а из-под нее на лоб свисала золотистая прядь. Он шел к нам и улыбался, и глаза у него были удивительно добрые и синие. Только он и поздоровался с нами, остальные – обросшие, небритые, надвинув папахи на глаза, молча выстроились позади него, держа руки на маузерах... Значит, ты тоже их видела, Занги джан? Вон как головой киваешь...

– Доброго тебе утра, брат Хачо, – заговорил немолодой – наверное, главарь этих угрюмых людей. – Разбудили тебя, спать не дали? Бывает, ты уж прости, и так бывает...

Потом кивнул в мою сторону и продолжил, улыбаясь еще шире и ласковей:

– Твой малец? Красивый, храни его Бог...

Наверное, намекал на то, что мое присутствие здесь некстати. Потом он сделал знак рукой, и его хмурые спутники принялись неспешно таскать и складывать на повозки то, что лежало в земляных ямах.

– Такое дело, браток. Им не помешает... – бормотал он будто бы мне, а скорее говоря сам с собой. – Они – наше добро, мы – их добро... Не помешает...

Каждое слово будто давалось ему с трудом, через силу, против его желания. Казалось, он говорит, только чтобы не молчать, пока не кончат грузить телеги.

– Да разве это барахло сравнить с тем, что мы там оставили!.. А у этих людей даже такого нет. Всё, всё в *Эргире* оставили, грязным псам на поживу... Так что им не помешает – голым, голодным чужакам... И ты, Хечо, возьми себе что-нибудь, тебе тоже не помешает, давай, не стесняйся...

У Хачо только кадык ходуном ходил. Он сглотнул с трудом, но голос так и не прорезался, и Хачо только склонил голову, прижав руку к сердцу и давая понять, что от души благодарит, но ни в чем не нуждается... Это при том, что у него из имущества только и было, что коврик-карепет, на одну половину которого он ложился, а другой укрывался, да его дурная голова...

– Ну, гляди, братец Хечо, как твоей душе угодно. Но чтоб всё между нами осталось, сам понимаешь...

Повозки уже нагрузили, хмурые люди ждали своего предводителя, но он отчего-то медлил. Потом подошел к Хачо, протянул ему руку на прощание. Хачо обеими руками обхватил её и тряс долго и почтительно. Потом этот главарь высвободил руку, слегка провел по моему лицу кончиками пальцев и, заметив перевязанное плечо, спросил, что случилось. Тут Хачо наконец вспомнил, что у него есть язык, и поспешил объяснить за меня, что я учусь стрелять и плечо болит от приклада. Главарь понял не сразу, потом наклонился, осторожно погладил мне плечо, и его золотистые усы коснулись моей щеки...

– Молодец, сынок, молодец. Учись, учись, сынок, это не помешает... не помешает...

И пошёл, стройный, высокий, к повозкам, к мрачным людям, поджидавшим его. Шёл, отчего-то горбясь и понуриив голову, к своим молчаливым людям, взял узду из рук одного и зашагал вслед за повозками, которые двинулись по направлению к Эчмиадзину.

... «Не помешает»...

Нищим и голодным людям и вправду не помешал бы даже этот жалкий скарб. Но отчего так невесело клонил голову этот гордый и почтенный человек, даже на коня садиться не стал? Что вспомнилось ему, когда он гладил мое плечо? Я даже заметил, как заблестели его светло-синие глаза от чего-то похожего на слезу...

Наверное, это мое присутствие расстроило и смутило его, я стал причиной его волнения и грусти. Он не ожидал этого и не хотел, чтоб ребенок видел, зачем они приходили и с чем ушли. Я с моим детским простодушием помешал тому, что «не помешает», и разбередил душу этому человеку, напомнив ему что-то, о чём он, наверное, очень не хотел вспоминать...

А ты, Занги, молодец, ты в тот день прибежала к нам в сад, но ни разу не твякнула. Говорю же, ты умница! Понимаешь, когда надо молчать, а ведь даже очень неглупые люди не всегда способны сдержаться, чтоб не сболтнуть лишнего. Ты же видела, даже Хачо утратил дар речи и стал белее штукатурки. Не от страха, нет! Хачо не из пугливых, я сам видел... Это длинная история, потом расскажу. В двух словах: больше полсотни солдат забрались в наш сад – и он один их всех прогнал, во как! Отчего же он онемел, отчего побледнел и съежился? Ведь сам же, наверное, позволил им прийти, согласился на это. Ох, чует мое сердце, опять я всему виной: меня не должно было быть там при его «делке». И поскольку весь тот день он старался не смотреть в мою сторону и со мной не заговаривал, то и пострелять мы забыли. Даже еда, которую я ему принес, не лезла ему в глотку... Бедный мой Хачо!..

Занги краем глаза посмотрит в сторону Хачо и тихо повизгивает, наверное, сочувствует ему. Забыла уже, что надо его бояться, а была бы человеком, ни за что бы не забыла, да ещё, наверное, обрадовалась бы, что Хачо – гроза её и ужас – сейчас в таком состоянии...

Напрасное это дело – воспоминания, лишнее, как слепая кишка, однако... необходимое, ох какое необходимое...

И однажды, родной мой Игдыр, ты проснешься, как обычно, рано утром, приложишь козырьком руку ко лбу, согласишься, как обычно, в сторону моста Маргары, и увидишь, что по дороге из Еревана в Игдыр движется большущее облако пыли – такое же бесконечно длинное облако, какое оставил за собой много лет назад народ Игдыра и всего Сурмалу, уходя по дороге из Игдыра в Ереван...

\*\*\*

Поздними вечерами, когда всюду воцаряется тишина, когда можно сосчитать шаги одинокого прохожего, пока они не заглохнут в темноте, я жду «их». «Они» придут, всегда приходят, и даже если я засну, всё равно придут, усядутся и будут дожидаться моего пробуждения. Но я не могу заснуть, я знаю, что они придут...

Только ведь было мне всего лет пять или шесть, когда в своем городе вы уже были людьми выдающимися, и вроде что за дело до меня вам, известным людям

вашего города... Скажете: «О, ну ты и вырос!» Нет, уважаемые, как только вижу вас, я снова становлюсь шестилетним и, как сказал бы мой отец Амаяк, «жалким и несчастным созданием». Да, очень жалким и крайне несчастным. В отцовском лексиконе эти слова имели совершенно особое значение, и отец жаловал ими далеко не каждого.

Ах, дай вам бог всяческого благоденствия, но если б вы знали, что со мной делаете, вы без сомнения меня бы пожалели. Но что же, что я могу сделать? Вот, пожалуйста, уже сидит и ждет Артен-бидза, мой любимый «бицло», наш самый близкий, стена к стене, сосед, муж тетушки Магтах-дзало – с ними мы жили общим домом, как одна семья. Он сидит и молчит. Его бородатое лицо (никогда не видел его бритым) светится улыбкой, он смотрит на меня и молчит, улыбается. У них не было детей, и мы с сестрой были их утешением, целыми днями пропадали у них дома, особенно я.

Вот он всякий раз так – придет, посидит, улыбнётся и уйдет. Конечно, бицло очень хотел бы очутиться в Игдыре, чтобы ему, наевшись сытной, густой шорвы – щедро приправленного специями крупяного супа с острым перцем, бамиёй и баклажанами, томленного в тонире, – а также приняв на грудь рюмочку, улечься на широкую тахту на балконе, а я походил бы по нему босыми пятками, помял ему спину, а он бы покряхтывал, млея от удовольствия...

Да только что теперь поделаешь... И я тоже гляжу на него, и на моем лице, наверное, та же улыбка, что и у него. Гляжу до тех пор, пока он не встанет и, позёвывая, не пойдет спать, как уходил там, в Игдыре, длинно зевая и торопливо крестя рот, «чтоб в него не забрался сатана», – так он учил меня. А Магтах-дзало – мы звали ее тётушкой – была для моей матери ангелом-хранителем, мама любила ее, как старшую сестру.

Она по-сестрински опекала мою застенчивую, робкую мать, которая никак не могла привыкнуть к шумному, суматошному, беспокойному образу жизни игдырцев и панически боялась турок – они еще попадались в Игдыр-маве, покуда не убрались насовсем. Но до тех пор Магтах-дзало подбадривала её, не оставляла одну во время отлучек Амаяка, это придавало сил моей матери. Когда Амаяк уезжал по своим «торговым делам», дзало ночевала у нас, и для нас, детей, это был праздник: вечерами мы не могли заснуть, всё слушали одну за другой сказки, которых она знала великое множество...

Это была высокая, крупная, ширококостная женщина, с гордым и властным взглядом, очень уверенная в себе. У неё в доме и оружие было. Отец ей подарил

один из своих новеньких маузеров. У дзало были полные, сильные руки и плечи, когда она возилась с тестом, тяжелая скалка в её руках казалась игрушкой, а волочь за собой мешок пшеницы одной правой для нее было делом обычным.

Поскольку Игдыр-мава славилась своими бахчами и великолепными садами, постоянно случались скандалы и ссоры из-за воды. Все улеглось, только когда садоводы, и турки и армяне, единодушно выбрали Магтах-дзало мирабом – распорядителем по части воды для полива.

Турки звали её Майта-ханум, заискивающе вытягивали шеи и робко спрашивали:

– Майта-ханум, будет у нас сегодня вода? Нам достанется?

– Достанется, – отвечала дзало, потом поворачивалась к кому-то из просителей и, смерив с головы до ног суровым взглядом, заявляла:

– А тебе, Аюб-ага, и росинки не достанется. Где ты был, когда на Аразе плотину строили, ай «итоглы ит»?! (То есть сукин сын.)

И добавляла:

– Кизяк ты, а не человек!

Потом все вокруг принимались просить за того «итоглы», и Майта-ханум, смилостившись, уступала:

– Кусты-деревья жалко, высохнут, а то ни капли бы не дала. Твоя очередь будет после Егиша, Аракела и Багира-аги, а теперь ступай...

А мой Бицло другого занятия, кроме своего сада и огорода, не знал. Сад он превратил в рай. За нашим садом тоже он ухаживал. Перед домом, под балконом, распускались разноцветные лилии-нунуфары, ирисы, персидские розы, кусты сирени, благоухал *сусамбар*. А в саду каких только не было фруктов! Привитые, окультуренные сорта абрикосов, персиков, груш. Груши «малача», зимние, разные сорта слив – «альбухари», дамбулы. А дыни, синейваз и дутма... арбузы и тыквы всю зиму украшали стол, будто только что с грядки...

Ага, вот и он... Пришел раньше всех, чтобы и уйти поскорее, потому что у него уже в привычке вставать в самую рань и брать в руки лопату, чтобы и спать лечь пораньше. Сейчас сидит себе тихонько в уголке – ждет, наверное, чтоб я прошелся пяточками по его плечам. Кто знает, может, я по-прежнему кажусь ему малышом? Ах, Бицло, Бицло...

Он был славный, мой Бицло, очень славный: всегда улыбался, в глазах искорки, их становилось еще больше, когда он с балкона замечал меня, топающего к дверце в изгороди. Тут прекращалась всякая работа, он втыкал

лопату в землю, открывал калитку, брал меня на руки и нёс в дом, что означало, что сейчас мне дадут что-нибудь очень вкусное или будем обедать, если время к полудню. Бицло был любитель покушать, как и подобало обладателю такого крупного тела. Он ел неспешно, придвигал к себе то графин с вином, то тарелку с зеленью, заворачивал что-нибудь в лаваш для меня и брал себе тоже, откусывал огромные куски и жевал с шумом, посапывая и вкусно причмокивая. И если я совал в рот что-нибудь не то или принимался сосать палец, Бицло с укором качал головой, и причмокивания делались ещё громче, чтобы я понял: то, что он мне предлагает, гораздо вкуснее...

И тетушка Магтах, как и почти все женщины Игдыра – кроме Вардуи-дзало, – первейшим достоинством женщины полагали умение вкусно готовить (одна Вардуи-дзало считала всякие разносолы «обманом для живота»). И у моего Бицло не было выбора, он просто не мог не стать чревоугодником и ел столько, сколько вмещала его ненасытная утроба, – до отвала, чтобы потом, лежа на широкой тахте, обложенный *мутаками*, кряхтеть, постанывать и, икая, услаждать воздух ароматами съеденного и выпитого – рехана, базилика и киндзы, огурцов и отменного вина собственного приготовления. Он возлежал на тахте, опираясь на подушки, и делал вид, что увлечен беседой со мной, но я знал, что он только и ждет, чтобы я начал понарошку теснить его и толкнул с тахты, и тогда он рухнет на пол, как поверженный Голиаф, ну а я, конечно, буду победителем Давидом...

И когда я начинал свою привычную пляску на его широкой спине, он стонал, вздыхал и побрякивал от удовольствия, покуда я, выбившись из сил, не усаживался на его толстую красную шею, удобную, как седло лошади, и мой Бицло превращался в скакуна, хотя на лошадь он совсем похож не был и скорее напоминал медведя, большого доброго медведя, который затеял веселую возню со своим детенышем. И я безбожно мучил его, щипал, дёргал и повизгивал от восторга, крича: «Йо-йо, хабарда!» И лепетал еще что-то нечленораздельное – одному богу известно что...

А прошлой ночью в гостях у нас был наш уважаемый зять Влас с женой Овсанной, моей тетушкой по отцу, которую я любил безмерно. И что вы думаете? Он говорил застольную речь, как бывало, когда родня собиралась у нас дома и ему предоставляли слово. На сей раз он разглагольствовал так бестолково и бессвязно, что тетушка не выдержала и с силой дёрнула его за полу пиджака: «Да хватит тебе, утомонись наконец, вставай, пошли домой, нашему малышу спать пора!» И сочно чмокнула меня в щечку, не забыв, следуя привычке, вытереть ладонью

место поцелуя, и, опять же по привычке, сунула что-то мне под подушку, и они удалились...

Как это ни глупо, после их ухода я каждый раз машинально заглядываю под подушку. Пусто! Да и что там могло быть...

Но, конечно, чаще всего приходит мой постоянный гость – Амаяк, отец. Он и раньше был не мастер речи говорить. Сядет на постель в изножье кровати, проведёт рукой по моей одежде, поправит одеяло, причмокивая губами... О, этот родной звук! Никто в мире не умеет так сладко причмокивать... Но когда я порываюсь встать, отец растворяется в сумраке комнаты.

Однако вчера случилось неожиданное – он заговорил. Сказал:

– Мёрзну я...

Я молча и остолбенело смотрел на него и ничего не мог понять, а он снова повторил:

– Замёрз, говорю...

И растворился в сумраке.

Утром я спрашиваю соседку, которая умеет разгадывать сны, что это значит. Она спрашивает:

– Ты камень на могиле поставил?

– Ох, нет ещё, не успел...

– То-то и оно, потому он и приходил. Ему надгробье нужно, без него холодно.

Боже милостивый! Даже по таким деловым вопросам посещают меня эти почтенные игдырцы. Но тут, мне кажется, небольшое недоразумение выходит, господа хорошие. Вы, похоже, принимаете меня за добропорядочного игдырца, а ведь я, к стыду своему, живу как свинья... Мне-то хорошо известно, что за могилку я ему справил: земляной холмик с зеленой оградкой. Мёрзнет он, и я ведь знаю, он всегда холода боялся, зимой и летом носил высокие ботинки, жаловался, что ноги подводят... Ничего они его не подводили, двадцать-тридцать километров в день были для него прогулкой, а теперь вот мёрзнет...

Я матери рассказал (она знает о визитах отца ко мне), и её реакция меня потрясла. Накрывая на стол, между делом, но на полном серьёзе, без охов и ахов, спокойно и чуть ли не с улыбкой, она говорит:

– Скажи этому неутомонному, пускай малость потерпит, бежать ему некуда. Недолго осталось... Тебе новое вино открыть, или вчерашнюю початую бутылку прикончишь?

И в голосе даже грусти нет, всё так чинно, по-деловому. Потом, словно угадав мои мысли:

– Я не о расходах думаю, Эдик джан, просто сразу обе и сделаешь, пусть потерпит... Ты лучше ту картину закончи, он на ней как живой, борода торчком, и сам посреди улицы торчит, и пальто на нём... Ничего, не простынет.

– Мам, ну ты даёшь! Что ты такое говоришь!

– А что я говорю? Если б он меня послушался, дома бы остался и в эту мокрядь не полез... И куда торопился? Да ты ешь, ешь, обед стынет. Если б послушался. Да разве он когда меня слушал? Неугомонный. Сидел бы сейчас рядом с нами...

И всерьёз сердится:

– Не время сейчас, пусть ждёт, так ему и скажи!

Ох уж эта игдырская натура, скажет – как отрежет!

Я наполняю свой стакан и молча глотаю вино, чтобы ненароком чего-нибудь не сказать, чтобы прекратить этот жестокий, на мой взгляд, разговор. Зря я рассказал матери. Боже, из чего ты сотворил этих людей? Это не бессердечие, я знаю, но что это, что?!

Случается, с отцом приходит сам дед Исабек, которого я никогда не видел и знаю только по рассказам матери. И он точь-в-точь такой, каким я его себе представлял. В длинной черной чухе, длинный кинжал висит на серебряном поясе, которым подвязан бешмет. Пристально, из-под густых бровей, изучает меня. Всякий раз при этом меня так и тянет вскочить и вытянуться перед ним, но ноги делаются ватными, не слушаются... И дед, видя такое моё состояние, делает знак рукой: ладно-ладно, не надо, лежи...

Так вот, молча (тоже, говорят, был не из болтливых), испытующе оглядится вокруг, потом коротко бросит что-то отцу (явно насчёт меня), и оба вместе растворяются в сумраке комнаты...

И так каждую ночь.

Я знаю, они хотят сказать что-то важное, но не могут. Ни сказать, ни объяснить... И что бы это могло быть? Наверняка всё то же: «Эй, ты часом нас не забыл? Не то гляди...»

Да разве вас забудешь? Только если это безжалостное, беспощадное свойство, зовущееся памятью, приглушить заранее стаканчиком водки, однако случается, что и водка не спасает. И тогда вы являетесь все вместе, толпой, и говорите, говорите все хором, не соблюдая очереди, и хоть бы я понял словечко – нет, знай жужжат себе, и спальня гудит как улей...

Другое дело, если с ними Влас, тогда – я это ещё по Игдыру помню – разговор непременно завернет на «международные» темы, на политику. Про Англию, про Францию, про Россию и Николая – никому слова не даст вымолвить. Он один говорить будет, а если кто осмелится перебить или вмешаться, он от злости багровеет, как бурак, и начинает махать руками...

Известное дело, игдырцы вообще заядлые спорщики. Но эти-то чего недосказали, о чем им спорить? Предмет разговора у них только один – это ты, родной мой Игдыр, вопрос же твой так и остался висеть в воздухе и для них навечно открыт и неразрешим.

Ведь так сложилась судьба, что, кроме их дедов и нескольких глубоких старцев, не привелось им упокоиться в твоей земле, и они так и не узнали, что через мост Маргары никому не будет дороги назад. И они собираются у меня, наверное, чтобы узнать, нет ли каких новостей. «Новостей» для тебя, родной, аж с самого 18-го года никаких нет. Ты остался там, мы – здесь. И не только для тебя никаких новостей нет. Их ни для кого нет! Черным-черна для нас твоя судьба, погасили, задушили в нас веру в то, что мы снова увидим тебя. Убедили, что это невозможно, выходит за пределы разумного, что-то вроде бреда больного воображения...

Не поверили этому только твои старые жители в лице завсегдатаев моего ночного «клуба», ну и ты, родной мой Игдыр, – ты, что остался на том берегу Араза и стоишь, приставив руку ко лбу, и смотришь в сторону моста Маргары...

Никто из моих визитеров и подумать не мог, что мечта увидеть тебя превратится во что-то нереальное, запредельное, как бред сумасшедшего. И каждый из них, пускаясь в последнее путешествие «в горний Иерусалим», говорил собравшимся вокруг него одно: «Счастливые вы, увидите наш Игдыр». Но мы не увидели, ох, не увидели...

Помню, произошло все же что-то вроде свидания с тобой в том же 1918-м, ты и сам, наверное, помнишь. Случилась кратковременная, очень недолгая возможность, и часть сурмалинского населения перешла Араз обратно. Но, наверное, не надо было. То, что они там нашли, им лучше было не видеть. Бессмысленная, в самом деле бредовая была идея вернуть вспять этот изгнанный народ, и те, кто придумали такое, скоро сами поняли, что ничего не могут сделать для возвратившихся... Разве несколько бочек тухлой рыбы и десяток мешков пшеницы, ячменя и муки могли прокормить население целого города, к тому же

ставшее бездомным, без крова над головой? Нет, не стоило им видеть всё это, даже мой нетерпеливый отец воочию в этом убедился. Правда, не до конца...

Никакой радости и веселья, какое предрекал изгнанникам их храбрый *хмбанет*, при том возвращении не было. Кому, где и чему было веселиться-радоваться, если единственная открывшаяся пекарня выдавала ежедневно по полфунта хлеба на душу. А вокруг был Игдыр с «ослепшими» домами без окон и дверей, со смрадом от останков издохшей домашней скотины, с несметными стаями ворон и жутким уханьем филина, доносившимся ночами с Игдырского озера, ставшего гнилым болотом. В некоторых домах еще оставались персы, в том числе семья нашего Малима, которого отец почти уговорил перебраться в Ереван. Но Малим сказал.

– Нет, брат Амаяк, нет. И тут мы тоже не останемся – те, что набежали сюда, на людей не походили, испоганили всё, гиены...Они ещё вернутся, так что мы лучше уйдем к себе в Еран. И вы назад не смотрите. Видели, во что превратился наш красавец Игдыр? Тут жить нельзя, вай, *фалаг*, вай!..

Отец никак не мог прийти к окончательному решению. Хотя увиденное потрясло его, он не желал отступить и долгое время ходил растерянный и молча сносил насмешки матери. Но так и остался при своем мнении, всю жизнь клялся священным для него твоим именем и непоколебимо верил, что увидит тебя, любимый Игдыр, но не увидел, ох, не увидел...

И не приходится удивляться, что Амаяк, самый упрямый из них, никак не мог смириться с тем, что несколько ящиков шустовского коньяка, зарытых под абрикосовым деревом в саду, достанутся поганым *ламукам*, забывая при этом о доме и саде. А когда я, слегка подтрунивая, напоминал ему о них, отговаривался тем, что дом, как ни гляди, на плечах не унесут, а сад, пусть и маленький, всегда заново посадить можно... (в который раз новый сад!)

А в самом деле, найти бы пару бутылок того коньяка: напоил бы их, чтобы они оставили меня в покое...

Вся ирония в том, что отец и не пил, после Игдыра и пить, и курить бросил, только очень уж жалел об оставленном добре, которое этим волкам да гиенам достанется. И досталось... Когда мы вернулись в Ереван после короткой «разведки», про коньяк отец больше не вспоминал. Да разве бы его оставили? Конечно, нашли и весь вылакали...

Бывало, дед Исабек являлся со всем семейством, «при полном параде»: сам дед, бабушка Банавша, их дочери Овсанна, Нуне и Мане, мой дядя Аветис, его

жена Вардуи-дзало, мой отец Амаяк и мать, светлоликая Сатеник. Будто фотографироваться пришли. И так и выстраивались, как для фотографии: взрослые – в центре, стоя, дети – впереди, сидя. В сумраке комнаты светились только лица – серьёзные, торжественные, одно другого красивее, все смуглые, загорелые. Словно сошли с полотен Рибейры. Дети, сидящие у их ног, – Сирануйш, Айро, Грайр, Карине, Рузан и... я. Этот «я» смотрит на меня из темноты младенческими, ещё не насытившимися материнским молоком глазёнками, и по меньшей мере пять пальцев из десяти у него в царапинах или порезах и перевязаны тряпочкой.

Нет, всё-таки однажды я всех вас нарисую, и наверное это то, чего вы хотите и ради чего каждый раз молча рассаживаетесь и ждёте.

– Не только того они хотят, чтоб нарисовал, хотя, если нарисуешь, будет неплохо, оно того стоит – если только сумеешь. Нет, они хотят того же, что и я: чтобы ты не забывал...

Знаю, знаю, каждую ночь только это и слышу... «Смотри не забывай, а не то – гляди»...

– Это большая честь. Видишь, и они тебя не забывают. Великая честь.

О, вряд ли ты можешь представить, как печальна и тяжела эта «честь» – жить в окружении теней. Какими бы они любимыми ни были...

– Тогда забудь, как другие, если сможешь, забудь и ты...

Не могу. Может, смог бы, если бы не твоя близость, если б не глухое молчание, которым тебя окружили, и безразличие в отношении тебя. Или, раз уж ты так близок, был бы, скажем, на месте Ддмашена или Алапарса... Я и сам из Ддмашена и не писал бы сейчас ничего: живешь – и живи себе, и не о чем тут писать...

А пишу я, наверное, из страха, и вправду из страха – за тебя, за твоё небытие, как армянин, скажем, живущий в Андижане или в Филадельфии, которому предстоит умереть «не на своём месте». Как можно умереть «не на своём месте»? Разве только если ты в командировке или смерть... внезапная?

Ты, родной, оказался «не на своем месте», и никак нельзя тебе в этом «чужом месте»... даже не хочу называть это слово «умереть». Ты должен жить, прошу тебя – живи, может, мы что-нибудь придумаем. Хотя бы подумаем над этим. С другой стороны, о чем тут «думать»? И кто будет думать? Я или кто-то вроде меня – кто ещё станет думать о тебе, всего-навсего думать? Пустоту мыслями не заполнишь... Вот люди поехали, а там...пустота – самое страшное из того, что страшно для человека. Пустота – это что-то холодное, что, как вор, проникает, заползает

внутри тебя. Этот холод ничем не согреть, и невыносимо, если при слове «Игдыр» я стану чувствовать... пустоту. Всё, к чему я стремлюсь, – заполнить этот провал, хотя бы для себя. Потому что при звуке твоего имени у многих на лице появляется сочувствие, нечто похожее на грустную улыбку, что-то вроде жалости. Не хочу, чтобы тебя жалели, это равносильно тому, как если бы жалели меня. Это тот же холод. Не хочу, чтобы эти «многие» были уверены, пусть хотя бы сомневаются, пускай к этому примешивается сожаление – оно не мешает, но только не жалеют, нет! Жалеть не смейте, это холод... И выходит, что останется на свете одна только раздирающая душу песня про тебя: «Аман, аман, Сурмалу!». Еще рано, слишком рано для такой песни. Так повелось, сейчас произносят то или другое имя – и принимаются петь, и все эти песни грустные, унылые, холодят душу. И чем лучше поют, тем хуже тебе, хуже, потому что ты хочешь, чтобы их пели снова и снова...

И ты, родной, ты тоже не можешь мне помочь, но ты по крайней мере должен стараться. Хотя бы вот так, каждую ночь посылая ко мне одного из досточтимых твоих горожан – кого хочешь, пусть даже безусого, с изможденным лицом, хозяина шашлычной, помнишь, которая была рядом с нашим магазином? И я тут же вспоминаю «Капек Акопа», что с самого утра драл глотку, визгливо крича:

– Бутылка за копейку, бутылка за копейку и перчик сверху!...

И ведь копеечный товар продавал, а как умудрялся поиздеваться над Пьян Аракелом! С бутылкой водки в руке нарочно медлил, не наполнял Аракелову рюмку, которую тот протягивал к нему. Дразнил Аракела, а его, бедного, жалко, у Аракела одна рука нездоровая, его не слушается, дрожит мелкой дрожью... Но этот бессовестный все тянет и тянет, длит Аракеловы страдания. Ни стыда, ни совести у Акопа, он ещё и философствовать начнет насчет того, как надо пить водку:

– Ну давай уже, давай налью!.. Трясешься так, будто душу отдаешь!.. Ты бы хоть чем заел, что ли, вон закуску положил тебе, съешь сперва, а потом уж пей, дурачина. Тебя же жалею!

И подталкивал к Аракелу завернутый в лаваш кусок шашлыка, который Аракел с презрением отвергал:

– Отстань от меня, твое дело наливать – вот и лей, и на тебе твою копейку, а то разболтался, как сварливая баба...

Наконец Капек Акоп наполняет рюмку, и Аракел неспешно, смакуя, выпивает её. А после небрежно кидает на прилавок *шаи* – двухкопеечную монету. И Акоп теряется, вмиг понизив голос, начинает оправдываться:

– Я же для тебя говорю... тебя жалею... – и не доканчивает...

Может статься, Аракел в другом месте, в мясном ряду, уже поел чего-нибудь, а в шашлычную совсем за другим пришел. Хотя бы затем, чтобы, как другие, вот так небрежно кинуть шаи на прилавок, или чтобы перекинуться парой слов с собравшимися... А Акоп уж слишком всё упростил. Но Аракелову двухкопеечную не забудет и, надо думать, в следующий раз с Аракела денег не возьмёт...

\*\*\*

Игдырцы, пришедшие из Хоя, в большинстве своем носили иранские имена, и особенно удивляться тут не приходится, особенно если вспомнить присущую нам, армянам, безалаберность в отношении имен, которую мы по сей день свято бережём.

Только в нашем роду были Йордухан, Айваз, Исабек, бабушки Банавша и Мехрибар, что означало «фиалка» и «добрый плод».

Красивые имена, с изюминкой, и в то же время не огорошивают. Не Лаврентий и не Юрик, Дездемона или Серож...

Но потом – наверное, ещё в Игдыре, до Тер-Месропа – был другой священник, построже, он стал крестить: Ваагн, Арташес, Аршалуйс, Амаяк, Амазасп, Мамикон, Арам, Аветис... Дальше в том же духе продолжал наш замечательный Тер-Месроп: Грайр, Айрапет, Шаварш, Хорен, Норайр, Нерсес, Гарегин, Гегам, Вардан... Много Варданов и много Мамиконов – без сомнения, в честь великого полководца...

Как видишь, любимый мой Игдыр, бессонница не такое плохое дело, и знать бы (ты-то знаешь наверняка!), есть ли ещё, остались ли другие, помнящие тебя, или я один удостоен чести этих ночных посещений, на которые и не пожалуешься...

О, нет, я наоборот доволен, клянусь пятью буквами твоего странного имени, которое по сей день непонятно многим, как урартская клинопись, однако, по крайней мере, к нему не присосалось пресловутое «лу», которого не избежали десятки сёл «школами богатой губернии» Сурмалу, как-то: Бгарлу, Сичанлу, Халпалу, Акрлу, Теджрлу, Малаклу. Этого уродливого «лу» не смогла избежать даже святая обитель и село, выросшее рядом с ней и названное по её имени: название монастыря Святой Мари (Сурб Мари, Сурмари) исказили и стали называть исковерканным «Сурмалу»...

Но я доволен, и ничего, что по утрам голова тяжеловата и слегка кружится, но зато я с тобой. Подобно твоей бесплотной пастве я тоже верю, что возможно когда-то ранним утром, когда луч солнца на всей земле армянской достанет только седую макушку Масиса, ты проснёшься, приставишь руку ко лбу, посмотришь в сторону моста Маргары и увидишь: мы идём к тебе...

О, я доволен, доволен... Только что мне делать с этой колючей проволокой, что протянулась в три ряда по нашему берегу Араза, между мной и тобой, и через неё лишь аистам позволено перелетать, они одни имеют право беспрепятственно лететь к тебе, к своим тополям на нашем дворе, на которых были и остались ещё, наверное, их гнёзда...

«Аисты не покидают своих гнезд»...

Наверное, это ты произнёс, Игдыр, так ясно я слышу эти слова в сумрачной тишине моей комнаты. Сегодня других посетителей нет. Это ты произнёс, и этой истине не одна тысяча лет. Но ты не просто так, не ради красного словца сказал об этом, знаю, что не просто... Твои слова неоспоримы, и кто знает, вдруг и в самом деле уцелели те два гнезда на верхушках наших тополей – ты, родной, может, видел их? Помню, когда отец вернулся к тебе осенью (и меня с собой взял, видимо, чтоб не быть уж совсем одному), он спросил Мусу Малима, который остался жить в нашем доме, куда подевались аисты. Муса сказал:

– В тот год, после вашего ухода, аисты весной не прилетели...

Ты посмотри на наш колодец, во что они его превратили – в помойку превратили... .. Аисты спускались во двор, вышагивали вокруг колодца, прямо из ведра пили оставленную для них свежую воду, задирая клювы кверху и громко щёлкая ими от удовольствия, и по-хозяйски кружили по двору со своими аистятами. Да разве аист со свиньями жить станет? А ты говоришь... «Не покидают аисты своих гнезд». Ещё как покидают! И зря ты меня упрекаешь. Но право имеешь: Но ты...ты Игдыр– моя земля, моя родина...

– Родину не покидают...

И этой истории тоже не меньше тысячи лет, и это снова твой голос. И я замолкаю. Лучше бы вместо этих слов выстрел грянул или залп маузеров, винтовок Мосина, чтобы мне навек умолкнуть...

– Мои горожане могли и должны были остаться...

Опять ты, и невыносимо мне слышать твои жестокие слова, но ты меня не обидишь, потому что это не так. А может, хочешь обидеть, но я не чувствую боли, не почувствовал бы, даже если бы ты выстрелил. Душа моя так изранена, что боли

не почувствую. Я игдырец не с 1914-го года, когда родился на твоей земле, и не с 1828-го... Я игдырец с того самого дня, когда прародитель Ной, твой самый первый житель, воткнул черенок виноградной лозы в обращенный к солнцу склон твоего холма, того, что и сейчас рядом с тобой... Меня лечить надо, но знаю, что нет излечения. Ни знахарь Лохман, ни Амирдовлат не в силах помочь, меня сможет вылечить только крохотная, величиной с колыбельку, моя земля, и её не заменят все земли мира, если их предложат мне. Та земля, на которой меня качала мать, рассказывая сказку про изумрудную птицу Змрухт. Можешь называть её «местом рождения» или ещё как-нибудь, только без этого клочка земли ребенок не имеет права родиться на свет. И мне нужен именно этот мой клочок земли, потому что только три горсти этой земли «станут для меня пухом»...

Но кто мне его отдаст, кто вернёт этот клочок?.. Никто.

Земля любит воду, но, помимо воды, похоже, любит и кровь. О, а наша земля – в особенности, просто вишаповский, драконовский аппетит у неё, не насытилась и не насытится, покуда...

Но, милый, где и как велишь пролить, отдать тебе мою кровь, пока она не свернулась?

Молчишь, притих... Вот и не томи мне душу. Сколько таких, как ты, городов брошены, покинуты. И какие города, какие земли, какие рассветы и звёздные ночи!.. Не ты один стоишь и ждёшь...

Твои горожане и вправду были бесстрашны, упрямы, горды и заносчивы, но не азраилы ведь. Вся русская земля была вывернута наизнанку, до тебя ли было с твоей землёй – с носовой платок, к тому же впритык к границе...

– Мои игдырцы должны были, обязаны были остаться. Чего им не хватало? Воинов? Умения воевать? Или оружия?..

Того, что ты перечислил, хватило всего на три-четыре дня, пока орда чужаков не хлынула через Араз в Сурмалу нескончаемым потоком. И ты, и, как сказали бы сейчас, «директор торгового дома» Амаяк, отказываетесь принимать в расчет время. И разница между вами только в том, что этого «директора» могло и не быть на свете, а ты был и всегда будешь, твое дело – быть, существовать, и тебе – прости, конечно, – наплевать, кто будет жить на твоей земле: игдырские щёголи в папах набекрень или всякие обрезанные *ламуки*...

– Грубишь... Я любил своих упрямцев, «глядевших исподлобья». Очень любил. Без них кто я теперь? В самом деле, как ты говоришь, точка на карте, то ли с горошину, то ли с булавочную головку...

Я не думал тебя оскорбить, просто ты не мог знать, что случился на свете 17-й год... Как не знал и про 14-й. Мы были последними «выселенцами», ну, или бросившими тебя, называй как хочешь, но это был уже 18-й год. Твои храбрецы со своим хмбапетом и горсткой бойцов пограничного гарнизона сумели продержаться всего три-четыре дня против вымуштрованной армии и примкнувшего к ней турецкого и курдского сброда... Ты же не крепость Карина и не укрепленный Карс с тремя рядами батарей на горе, с пушками и пулеметами без числа, с регулярным сторожевым войском и офицерским составом, с кавалерией и конными казаками... Да ещё твой наивный народ, который остался, поверив в «неприступность» твоей крепости и доверившись «неким людям». Таким же наивным армянам, которые твердили, что нынешний турок «не тот, что раньше», он новый, совсем другой, революционный, и потому друг, их друг – этих неведомых «неких людей». А этот «новый» турок был самый обычный, готовый съесть заживо безоружного, доверчивого армянина. Так, с верой в нового турка, они и погибли. Ох, Боже правый, всех перебили, да как!.. И истребляли их офицеры Кемалья-паши с красными звездами на папах, с красными звездами...

А ты? Что было у тебя, когда пограничный отряд, удерживающий горный перевал Оргова, снялся с позиций и ушел? Чтобы не сказать: просто бросил тебя. А и было-то твоего народу всего ничего – одни женщины и дети в беззащитном городе, с четырёх сторон открытым, стоящем на ровном плато. Всего, что было у нас, хватило на три-четыре дня.

В 18-м году русский солдат уже решил не воевать за царя-батюшку. Он уже слышал про «Мир хижинам!» и «Землю крестьянам!». Он хотел пахать и сеять – и точка!

В 18-м году игдырцы засеянный урожай не собрали. Всего три-четыре дня и успели похозяйничать на своих полях, а потом...

И потом, родной, уж кто-кто, а ты должен помнить ту ночь, за несколько дней до исхода, когда в доме Гарегина-ага собрались старейшины города на «тайную вечерю» и приглашен был также русский офицер высокого ранга Карельков – достойнейший человек, армянофил, он был знаком и близок со многими игдырцами. С суровой прямолинейностью военного он развеял излишнюю самоуверенность игдырцев, поведав им жестокую правду о том, что ни

малочисленный оборонительный отряд, ни пограничный гарнизон не смогут противостоять надвигающейся катастрофе, и единственным разумным шагом – ты слышишь? **разумным** шагом – является исход. Исход без потерь и без паники. И добавил, что всем гарнизонам на границе давно дано предписание (тайное) – отступить без сопротивления.

Ты не видел, как вытянулись и побледнели лица твоих почтенных горожан, а Влас по обыкновению побагровел. Он словно язык проглотил – не находил, что сказать. И это Влас, тот ещё спорщик! Да только о чем тут спорить! И наверное, они надолго остались бы в таком столбняке, если бы не взял слово один из игдырцев – предводитель-хмбапет, имевший славу храбреца...

– Я с моими парнями буду удерживать Оргов, Аргадж, пока вы будете переходить мост Маргары. Какое у кого есть оружие и патроны – несите во двор русской церкви. Не жалейте, неизвестно, пригодится ли оно вам ещё. Я знаю, что некоторые из вас уже переправили свои семьи, и правильно сделали, теперь надо обеспечить защиту остальных. Расходитесь без суеты, соблюдая порядок, и помогайте чем можете: предоставьте телеги, фургоны, отдавайте свои и нанимайте за деньги – и не скупитесь. Это временное отступление, пройдет пара месяцев, и мы вернёмся...

По недоумевающим лицам собравшихся было видно, что суть происходящего до них не доходит, молчат потрясенно, так постижимо и неожиданно то, что им пришлось выслушать: «нанимайте фургоны», «не жалейте средств», «временное отступление»...

И чему они так удивлялись? Ведь срываться с места, скитаться, оставляя свой дом и землю, для них было делом привычным, но твои горожане опять успели всё это позабыть. Самоуверенные гордецы...

Надо сказать, тут твой хмбапет не заметил грустную улыбку, промелькнувшую на лице русского полковника, которая значила очень много... Однако хмбапет был не одинок в этой своей уверенности. Никто из игдырцев иного и в мыслях не держал, а в особенности Влас, который сидел раскрасневшийся, в смятении от мучительных мыслей. Легко сказать: «отступаем в порядке»... Хмбапету что, ему жалеть не о чем. А ему, Власу, что делать с германским оборудованием, с двумя своими заводами? Вот и сжался в горсточку бедный Влас... Никто не собирался тебя покидать, уходить от тебя и бросать дома и сады с неубранным урожаем, пшеничные поля. Они думали, что просто запрут свои двери и ворота и спрячут ключи в карманы, пока не закончится «временное отступление»...

Карельков, уловив заметную перемену в настроении собравшихся, с привычной для военного предусмотрительностью решил дать людям время на то, чтобы окончательно осознать ситуацию и сжиться с нею.

– В вашем распоряжении семьдесят два часа: думайте, но не медлите. Надо действовать и ещё раз действовать.

Твои игдырцы, родной мой Игдыр, не могли остаться, это было бы непоправимой ошибкой, да им и не дали права на это. Им оставили одно право – на гибель, но игдырцы им не воспользовались, не захотели. Редко, но всё же случается, что и армянин принимает верное решение.

Влас, окончательно утративший способность соображать, привалившись к плечу Тер-Месропа, говорил сам с собой:

– Семьдесят два часа – это выходит три дня, так? Да за три дня что можно сделать? В три дня дом не построишь, а вот сломать – так и трёх часов хватит! Даже завод мой за три дня порушить можно. Немец объяснит, как ломать, чтоб они потом восстановить не смогли. Только зачем я его строил? Ведь я строил на века! А теперь вот ломай! Ради чего? Только и знаем, строим – ломаем, строим – ломаем. Чего ради?...

Последние слова он произнёс, чуть не крича, и полковник, кажется, понял, о чём бормотал раскрасневшийся Влас. Чтобы немного подбодрить несчастного и привести его в чувство, он в шутку произнёс:

– Дорогой мой Влас, счастье повернулось к тебе спиной? Ты тоже покажи ему свой зад.

Власу шутка пришлась по душе, его, похоже, слегка отпустило, и он отозвался, как всегда, мешая русские слова с армянскими:

– Вот именно покажу, покажу, но не зад, а ... – но не докончил, потому что заговорил Мелик Вртанес, самый состоятельный из землевладельцев Игдыра, человек почтенный, никогда в жизни не повышавший голоса. Заговорил тихо, срывающимся голосом, едва не плача:

– Ничего не пожалею. Кому теперь всё это нужно – никому! – и Гарегин-ага, Хачатур-ага согласно закивали в ответ, печально, покорно. Но чем они могли помочь тысячам переселенцев? Десятком-другим нанятых телег? Да кто станет их ждать? И кто станет отдавать свою внаём, когда она ему самому необходима? Напрасный и бессмысленный разговор. Просто чтобы что-то сказать... для успокоения совести...

Потом в наступившей тишине молча выпили по последней и встали, горбясь от нахлынувших дум, и все почему-то заспешили по домам, будто сразу и вздумали трогаться. Гарегин-ага предложил полковнику заночевать у него дома и позвал к себе также Мелик Вртанеса, Хачатура-ага и Дро...

После этого «исторического» ужина, когда ни один из твоих игдырцев даже не попробовал что-либо съесть, зная, что кусок в рот не полезет, а если полезет – в горле застрянет, они отправились по домам, поникшие и растерянные, но уже всерьёз осознавшие, что надвигается бедствие, которому противостоять невозможно, и они – если не щепки, то вырванные с корнем деревья, подхваченные стихией, и исход, каким бы невероятным и нелепым он ни представлялся (и полковник ясно дал им это понять), это жестокая реальность, которую игдырцы не властны изменить, ибо это то, что не может не произойти, и произойдет неумолимо.

Влас, так и не пришедший в себя, побрёл домой в сопровождении Тер-Месропа, который поддерживал его под локоть, видя, что у «заводчика» подгибаются колени, а Влас смотрел в землю, и непрерывно твердил одно:

– Не понимаю... ничего не понимаю... Боже мой, скажи же что-нибудь, отец Месроп...

А тот, погруженный в раздумья, даже не слышал причитаний Власа. Потом, очнувшись, переспросил:

– Что-что? Ты что-то сказал, Влас?

– Говорю, ответь, что же мне теперь делать?

– Что ты можешь сделать? Запри свой завод, а ключи, хочешь, на крышу забрось, хочешь, в карман себе положи – и айда в дорогу, на Ереван.

– Ну запру я. Что, не найдётся, кому открыть?

– Еще как! А не отопрут, так двери сломают. Сломают, все наши двери сломают. И не верю я, что мы назад вернемся, – нет нам возврата. Мир не волей вашего хмбагета движется. Сдается мне, плохо наше дело и господь от нас отвернулся, не спасет... Это конец, конец... Но почему так сразу, внезапно, непостижимо, как гром среди ясного неба...

– Довольно, довольно, отец Месроп, не то пойду сейчас и подожгу всё, что есть... Сплю всё к чертям собачьим...

– Может, и вправду так вернее?

Тер-Месропа одолевали чёрные мысли, ни выхода, ни лучика надежды он не видел.

– Иди, иди, с женой поговори, посмотри, что Овсанна скажет, решите, что делать будете. И я пойду...

А сам думал: Хорен, Норайр тут не останутся. Даже спрашивать не надо – нет у них другого выхода, нет выхода...

Видно, последние слова Тер-Месроп произнёс вслух:

– Чего у них нет, Тер Месроп?

– Выхода у них нет, выхода... А ты и в самом деле иди подожги всё, и керосином полей, чтобы лучше горело, всё сожги, чтоб один пепел остался.

Захлестнули Тер-Месропа гнетущие предчувствия, и мятежная душа пастыря против воли заставляла его повторять горькие слова Власа:

– Зачем? Ради чего? Зачем строили и строили – чтобы теперь рушить? Во имя чего? Только и делаем, строим да рушим...и чего ради?

Ему хотелось кричать, воззвать к небу, к всевышнему, спросить: что за наваждение! Отчего злой рок по пятам преследует целый народ? Не отстанет никак, и нет от него спасения!..

Они пришли сюда, оставив обжитые дома и землю, и думали – это в последний раз. Припали к могучему христианскому народу, под его крыло пришли, чтоб покончить со злым роком.

А этот русский говорит: у вас только семьдесят два часа. Всего семьдесят два часа на то, чтоб собраться, открыть дверь и даже не закрыть её за собой, семьдесят два часа, чтобы спалить всё это дотла. В чём же дело? Что вдруг стряслось с этой могучей державой, что она такую малость, как Сурмалу, защитить не может и отдаёт турку, поганой ноги которого на этой земле вовек не бывало? Отдала, оставила ему Эрзерум и Ван, и Карс отдала ни за что ни про что. Теперь и Сурмалу. А дальше? Кто следующий, что ещё отдаст? Да и что осталось? Один Ереван? Ну, отдавай и его – и дело с концом! И в чём же состоял смысл их переселения, к чему было всё это? Как бы ни были плохи персы, но турки куда хуже! Не сравнить... Едва отвಾದили этих разбойников, турок и курдов, от Игдыра, только вернулись к заботам о доме, о саде, о церкви и школе... Свадьбы, крестины – сколько их было! У него нос вытереть времени не было, только и знал – крестил. В церкви Игдыр-мавы с двумя дьячками еле управлялся... Он вспомнил круглые, изумлённые глаза младенцев, когда он мазал миррой их лобики, то и дело отдергивая руку, чтобы они не хватили его за палец.

Его раненая душа исходила криком, безмолвно направленным к небу, к восхваляемому им всевышнему:

– Что же ты творишь, господи! Ты, жестокий, немилосердный, ты, полоумный слепец, без стыда, без совести!

И перед его глазами опять вставали кудрявые и смуглые малыши, невесты под белоснежной фатой и держащие горящую свечу женихи – юноши с едва пробившимися усами, большеглазые, с непокорным взглядом... Ещё один каменный дом с садом на одной из широких улиц Игдыр-мавы, ещё одно имя в его приходской книге...

– Вай тому, кто тебя назовёт всевышним, разве ты справедлив...

Но, убоявшись своих крамольных мыслей, торопливо осенил себя крестом и зашептал покаянно, униженно:

– Прости, прости, господи, меня грешного!.. Совсем рассудком помешался, прости!..

Но не получил ответа, лишь ветер с воем гулял по пыльным улицам Игдыра, и собаки, словно почуяв беду, подняли разноголосый лай, и в этом шуме, казалось, слышится хихиканье городского дурачка *яланчи* Арсена: хи-хи-хи... ради чего?... ради чего...

Взявший себя в руки Тер-Месроп уже не слушал Власа, довёл его до дому, постучал в ворота и, не дожидаясь, пока Овсанна откроет дверь, пошел в сторону церкви Сурб *Геворга*, чтоб разбудить своих дьяков.

Тётушка Овсанна не узнала своего Власа. И так невысокий, Влас совсем съёжился, будто усох...

– Что с тобой, Влас? Что случилось? На себя не похож! Сядь, на, выпей воды ...

– Не нужна мне вода! Ты мне лучше бутылку керосина дай... Спички дай, пойду, всё спалю!..

– Какой ещё керосин? Вай, ты с ума спятил, что с тобой?

– Тер-Месроп сказал, надо сжечь. Неси керосин!

И Влас, кряхтя и стелая, сел и рассказал всё как есть.

– *Вай, аман!* Мой Аветис! Мой Амаяк! Дети мои!.. Да не может быть такого! – запричитала тётушка Овсанна.

– «Мой Аветис»... «Мой Амаяк», – беззлобно передразнил тётушку Овсанну Влас. Своих детей у них не было, и он хорошо понимал беспокойство жены из-за братьев и племянников:

– Говорят тебе, керосин принеси и *шпишку*, пойду, всё что есть подожгу, хорошо бы и себя тоже... «Мой Аветис»... «Мой Амаяк»... Тер-Месроп верно сказал: кому теперь лимонад нужен! Давай неси, пойду подожгу...

Но ни Влас, ни кто другой ничего не сожгли. Разве может человек вот так взять и поджечь всё, что имел? Не может. Тот, кто построил дом, разбил сад, не может. Тот, кто зовется армянином, даже дом врага не смог бы поджечь. Ничьего дома он сроду не поджигал – это его дом постоянно жгли, рушили, палили дотла... А он ну хоть бы раз попробовал отомстить – пошел и поджёг дом того, кто обездолил его! Сжёг дотла и пустил прах по ветру, чтобы врагу тоже негде было голову приклонить, чтобы он тоже стал бродягой... Нет, не мстил. Постояв на пепелище, снова принимался класть камень на камень. Как в песне о ласточке, которая, № «кладя каждый пруттик, вспоминала старое гнездо. Вспоминала и пела...»

И с каждой веточкой,  
вия гнездо,  
былые гнезда вспоминал...  
и гнездышко себе свивал,  
и птичью песню напевал...

Он тоже не утратил способность петь. С такой «ласточкиной» натурой чужой дом не подожжёшь, для этого нужно обладать уймой качеств, каких в характере армянина нет и в помине. Точь-в-точь как у того вислоухого осла из притчи, который, упав в реку, ни одного из семи известных ему стилей плавания так и не вспомнил...

На следующее утро, ещё до рассвета, все церкви Игдыра заголосили, зазвонили тревожным звоном, к которому вскоре присоединились и колокола русской церкви. А голуби с крыш взмыли в небо неведомо куда и больше не вернулись...

Тронулись с места сурмалинцы... Начался исход. Поднялся на ноги весь гавар Сурмалу. Повозки из близлежащих сёл уже съехались к главной площади Игдыра, и именно они первыми пустились в путь по направлению к Эчмиадзину.

Весь Сурмалу снялся со своего места, и этому исходу никто! не помешал. Перевал Оргова и Аргадж трое суток бок о бок с пограничным батальоном прикрывали от турок и твои храбрецы, пока переселенцы двигались к мосту Маргары и переходили Араз...

В курдских и турецких деревнях никто не рискнул нос высунуть – опять-таки из страха перед ними, твоими храбрецами, которые, с налитыми кровью глазами, стиснув зубы, погоняли потных, в пене, лошадей и казались вездесущими. Твои ангелы-хранители. Обожавшие, боготворившие тебя твои сыновья.

Никто и никогда не вернулся по той дороге обратно...

Ты один остался. Приставив руку ко лбу, долго-долго смотрел им вслед, покуда последняя повозка не скрылась за мостом, и мгла легла на склоны Масиса и заполнила Сурмалу...

Твой старый пастырь звонил в колокола – то рассыпчатым мелким перезвоном, то медленно и мерно, до тех пор, пока ни одной живой души не осталось в городе, и даже игдырские собаки, свесив длинные языки, ушли вслед за телегами по дороге, ведущей в Эчмиадзин, оставляя за собой густое облако желтой пыли...

Может статья, поседевший за день этот священник был последним, кто покинул тебя, подобрав подол своей черной рясы. После него с Оргова и Аргаджа спустились парни, которые три дня и три ночи были в том аду. Молчаливые и ожесточенные, с лицами, чёрными от усталости, с остановившимся мрачным взором, они вели на поводу лошадей с привязанными к их спинам ранеными, истекающими кровью своими товарищами. Потери были немногочисленны, но они были...

Это твои сыновья остались там, в ущелье Оргова, под Аргаджем, в Эвджиларе. И гробов для них не нашлось – их завернули в саван и опустили в землю. Всех вместе, бок о бок, точно так, как они дрались. Никто не плакал над ними, только залп из маузеров разнёсся эхом по ущельям и теснинам Масиса...

Их матери узнали всё уже потом, в Ереване, и беззвучно заплакали – кто над картузом, кто над окровавленной рубахой, а кто над носовым платком или кисетом, вышитым невестой, не увидевшей брачного ложа. А жена Тер-Месропа рыдала над пустым патронташем, оплакивая своего младшенького, золотоволосого и синеглазого Норайра...

Впереди был мутный, вздыбившийся Араз и спасительный мост Маргары. Ничего у них больше не осталось. У них был ты, Игдыр, но они оставили тебя позади. Впереди – бурлящий беженцами Эчмиадзин, который скорбным звоном колоколов увещевал толпящихся на улицах, припавших к стенам монастырей несчастных изгнанников успокоиться, смириться, склонить голову под ударами судьбы и молить всевышнего, чтобы он сменил свой гнев на милость и простил...

Кровь твоих сыновей, которую они до капли отдали за тебя в Оргове, была последней и для тебя – ты слышишь, родной? Была последней кровью, отданной за тебя – обожаемого, любимого ими до самозабвения. Но потом их кровь лилась в Сардарапате, Апаране, Кешишкенде, Талине, Веди – везде, где она была нужна,

чтобы удержать принадлежащий нам, армянам, клочок земли, а ты остался по ту сторону Араза, и стал... географической точкой на карте – точкой, размером меньше булавочной головки, с надписью рядом «Игдыр».

Знаю, родной, знаю, что не этого моего косноязычного изложения ты ждал столько лет. И пишу эти строки со страхом в сердце, но и с благоговением, потому что уверен, что никто другой ничего о тебе не напишет, если даже превозносимые тобой «ученые сыны», которые получали образование в Петербурге, Лейпциге, Женеве, те самые, про которых при каждом удобном случае Тер-Месроп, многозначительно подняв указательный палец, возвещал: «Игдыр должен гордиться своими учеными умами!», – они молчат как рыбы.

Не пришлось тебе ими гордиться. Единственное, что сумели сделать твои «умники», это не нарушить молчания в отношении тебя. Сумели промолчать, набрав в рот мутной воды Араза, и молчат уже вон сколько лет! Не проглотили они эту воду, так и знай. Потом (ты об этом не мог знать), словно по какому-то неписаному закону или молчаливому согласию, запрещено стало даже произносить твоё имя. Никто теперь не вспомнит, почему, кем и по какому праву был наложен этот запрет. Испуганные ереванцы произносили шепотом «Игдыр», «игдырцы» и представляли себе каких-то страшных людей с маузерами в руках, разбойников, «маузеристов». Будто не эти же руки сеяли и жали, обрезали виноградную лозу, давили виноград и делали вино, да просто здоровались, в конце концов...

И никто не задавался вопросом, что же должны были держать в руках эти названные «маузеристами» безусые парни в Оргове, Аргадже и Игдыре, окруженных турецкими и курдскими деревнями, где вооруженный до зубов сброд поедал глазами каждый кусок хлеба в руках армянина. Что бы они делали без оружия, без маузера или «Мосина» в том же Ереване, когда кемалевы паши с красными звездочками на папах объявились под Эчмиадзином, в Хатунархе, в Курдукули? Что они должны были делать? Сидеть по домам и ждать аскеров Ататюрка, когда весь народ, от католикоса до младшего учителя семинарии, надел белые маскхалаты и пошел в бой под Сардарапатом? Не могли они сидеть дома, не такая кровь текла в их жилах – кровь истинного игдырца. Многие из них, большая часть, просто не успели стать солдатами, надеть форму бойца армии «независимой Армении», и вступали в бой, где пришлось, да так и полегли без всякой формы.

О, если бы тысячи армян-изгнанников – и тех, кто погиб от ятагана, и нашедших «спасение» в мутных водах Евфрата – держали бы в правой руке оружие, Евфрат не стал бы красным от крови.

Не с пустыми же руками должны были они в Зангибасаре, Ведибасаре, Талине, Кешишкенде, Нахичеване встать на пути разъярённых турок, которых подняли против армян мусаватистские ханы, паши Мустафы Кемаля! С другой стороны грузинские меньшевики нацелились на медные рудники Лори и Алаверди. Грузинская армия, не расстрелявшая ни единого патрона на кавказском фронте, улучила момент, чтобы завладеть алавердскими рудниками. Ещё бы, когда вол падает на колени – охотников до мяса хоть отбавляй! Вот они и покатали свой знаменитый бронепоезд, дошли до самого Санаина... и перевели дух, только когда оказались у себя в Тифлисе со своими **калбатонами**... оставив обломки бронепоезда на путях, увидев, как разъяренные лорийские крестьяне осыпают их градом камней, вырванных из скалы, точно так же, как много лет назад это делали ахпатские крестьяне...

О дорогие грузинские братья, добрые соседи, тысячелетиями живущие бок о бок с нами, о соотечественники Арчила Цихистави! Ну почему, почему вы незванно явились к нам и дошли до самого Санаина и Алаверди? Почему вторглись в дом вашего многовекового соседа, да к тому же когда его не было дома? Когда он, истекая кровью, не успевал отбиться от врагов? И зачем вам понадобились Алавердские рудники! Ведь когда бы и сколько бы меди вам ни понадобилось, для вас её не жалели. Вы нагрянули к нам среди бела дня со своей армией, на бронепоезде, без объявления войны, оставив свою совесть в Тифлисе, у своих прелестных *калбатона*...

И почему же когда армия пашей Кемаля объявилась в Лори, где тоже имелись столь желанные медные рудники, ваше войско, которое только и искало повода для драки, чтобы показать всем свою «доблесть», вдруг спряталось под юбки своих калбатона? О, вы не хотели нарушать заключенный с Турцией и Германией договор о «нейтралитете», согласно которому обязались не мешать войскам Вехиба-паши на день раньше вступить в Баку. По просьбе другого нашего сердечного соседа... Единственной «помехой» этому оказались безоружные лорийские крестьяне, оставшиеся один на один с десятитысячным войском Вехиба-паши...

А что им ещё оставалось, кроме как быть помехой? Ведь военные отряды армян были разрознены, действовали изолированно и едва успевали отражать удары

противника, воюя на разных направлениях, в то время как значительная часть боевой армии помогала обороняться Бакинской Коммуне...

И что сказал бы Арчил или его драгоценная калбатано Кетеван, милый мой Игдыр, знай они о проделках своих соотечественников?

– Арчил? Да, дорогой мой, Арчил был не бог весть кто – обыкновенный начальник почты, но он сказал бы, уж он бы выдал что-нибудь этакое. Конечно, ничего хорошего! Не такой он был человек, чтоб забыть хлеб да соль игдырских застолий: он был неизменным гостем любого городского праздника, всех пиршеств и свадеб, незаменимым тамадой. Нет, он не мог не сказать... Да и сказал, наверняка. Сказал, но не так, как Чхенкели, который, налив в серебряный рог отменного кахетинского, потрепал по плечу Хатисова и стал уговаривать его, слезно молившего о военной помощи, о войске... выпить вина и успокоиться:

– Пей, Саша, пей, генацвале, развея свою грусть, ведь армянин всё выдержит, он же привычный... – он не договорил «к резне», и продолжал наливать и успокаивать. – Он выдержит, Саша, а насчет войска... Не приведи Бог, турок пойдет на Тифлис. Что нам тогда делать? Ты пей, генацвале, и да перейдет ко мне твоя боль...

Боль перешла, но в Лори и в Каракилису, и какая была боль, какая бойня! Но армии паши они все же помешали, не дали днём раньше дойти до Баку. И признаётся в том сам Вехиб-паша, испытавший на себе силу лорийского войска. «Армян можно отнести к числу лучших воинов в мире», – заявил турецкий паша.

Так уж получалось, что мы всегда мешали всякого рода пашам, до них – персидским сардарам, еще раньше – арабам, татаро-монголам, бог знает ещё кому, чтобы наши «добрые» соседи могли жить, соблюдая «нейтралитет».

Когда вол падает на колени, охотников найдется хоть отбавляй, но на месте вола каждый раз оказываемся мы...

Твоих ребят – «маузеристов», родной Игдыр, к тому времени осталось совсем немного. Они не знали покоя с того дня, как довели скорбную колонну беженцев до моста Маргары и перешли Араз. А потом... потом им уже не удалось перейти реку назад. Всякий раз что-нибудь да мешало.

Крохотный лоскут оставленной нам земли стал похож на дом, с четырех сторон объятый пламенем, жильцы которого не знают, куда бежать, кого спасать, и сгорают в огне, и твои ребята – твои «маузеристы» – вместе со всеми. Что они могли сделать? Никакого другого дела они не знали – только драться, и они дрались... Всего-то и было у них, что маузер-«десятерик» да их юная жизнь...

О, как же кстати пришлось это спасительное десятизарядное оружие, называемое «тасноц» – десятерик, с которым подружились все, кто не желал, как овца, покорно идти под нож. Им не только твои парни дрались – все, у кого не было иного выхода...

Ни разу за тысячелетия существования армян их страна не была такой крохотной, такой ничтожно малой, размером с делянку для проса...

Не стало земли, не стало... Куда ни глянь, везде расселись-разлеглись турки или курды, присосались как пиявки даже к этому крошечному лоскутку земли. А уж эти... То были турки и курды, которые жили рядом с нами, в наших домах и делили с нами хлеб и соль. И как они озверели, как распоясались в Талине, Даралагязе, Веди, Нахичеване, Зангибасаре – в нашем собственном доме! На нашей земле!

У них были свои вдохновители, помимо пашей, – и опять-таки наши соседи...

О, Господи! Что им было нужно от нас, что ещё мы могли им отдать, кроме голода, тифа, умирающих беженцев и похожих на призраки сирот!

Отчего же так окаменели их безжалостные сердца, отчего потеряли человеческий облик все эти наши «конаханы» и «кирванер», когда-то делившие с нами кусок хлеба? Даже волк, даже гиена когда-нибудь наедаются, напиваются досыта крови растерзанной жертвы. А эти... Какая мать их родила? От скорпиона или от змеи рождены были эти люди?...

Да, никогда не была земля армянина такой скудной, а крестьянин – таким беспомощным: без плуга, без бороны, без семян. Да и откуда было взяться семенам, когда женщины и дети – голодающие изгнанники в отрепьях, бредили о куске хлеба. И даже эту доставшуюся им крошечную пядь земли переселенцам пришлось щедро полить своей кровью. Воистину драконовский, ненасытный аппетит у нашей земли...

И кровь твоих сыновей пришлась кстати, милый Игдыр, ибо больше им нечего было дать нашим соседям кроме своей молодой жизни и своего оружия – маузера. Дед Гриш привез из Кешишкенда одежду дяди Аршалуйса. Гарегина убили, и никто не знает, где его могила. Ваагна, Мамикона принесли на носилках – израненных, окровавленных. А тех, кто вернулся живым из Сардарапата, Апарана, Ведибасара, из других мест, – их заклеямили именем их собственного оружия – «маузеристы»... Нашли, что только это имя подходит твоим парням, Игдыр. И неудивительно, ведь у них в руках действительно были маузеры. И всё бы ничего, если б дело кончилось «молчаливым согласием», как то, что сопровождало запрет

твоего имени. Но нет... Оправдываться у них времени не было, и никто не дал им времени на это. И на каком-то отрезке их время кончилось...

Тем же, кто имел счастье остаться в живых, это самое «счастье» больше не улыбнулось. Взамен его улыбки им досталась глумливая гримаса судьбы и выстрел маузера – как отзвук залпов, что некогда грохотали в Орговском ущелье. Только стреляли уже не они...

Но перед кем и в чём им было оправдываться? Никто, никто не смог бы им объяснить, почему нельзя пролить кровь за родную землю, кроме которой у них ничего не осталось. И никто не потрудился втолковать, почему ношение оружия должно считаться бесчестием и преступлением и заслуживает позорного клейма, презрения и осмеяния. И кто бы вызвался защищать их на этой пострадавшей земле, которая только и могла, что хоронить погибших от голода и тифа. Куда подевались их «защитники», почему они с чудовищным равнодушием дали погибнуть от резни сотням тысяч людей, чьей единственной виной была признана принадлежность к армянской нации? Родился армянином – всё, виноват!

О, игдырцев можно было унижать и клеймить... Тех из них, чей маузер молчал, чья пуля осталась в стволе, не выстрелила, не разорвалась! Их проклял бы, заклеил вечным позором и ещё при жизни вычеркнул из приходских книг сам Тер-Месроп.

Когда мир рушится, самым дешёвым товаром становится жизнь и кровь человеческая. А кровь армянина и подавно не стоила гроша, о ней не жалели – жалели порох. И никто не спросил у Тер-Месропа о погибших юношах из его прихода, о цене крови четверых молодых орлов не вспомнил никто. Ни капли сострадания или сожаления – навесили клеймо, и всё!

А остальной, «незаклейменный» твой народ со своими «учёными сынами» тут вполне пригодился, сумел найти себе занятие. У тебя были врачи, учителя, выдающиеся педагоги: Аршавир Шаваршян, Анушаван Погосян, Хачатур Канаян, Григор Агаронян, Гаянэ Пахлавуня, которые Еревану оказались необходимы, как воздух. О Игдыр, у тебя были умельцы-ремесленники и трудолюбивые земледельцы, которые рассеялись по сёлам вокруг Еревана и опять приросли к земле в Норагавите, Шенгавите, Чарбахе, ушли в Курдукули, в деревни близ Эчмиадзина, чтобы посеять пшеницу, разбить огород и начать всё снова, из ничего, с нуля...

\*\*\*

Игдыр... Город как множество других, больших и малых городов бескрайней Российской империи, которые отличались друг от друга только своим языком и укладом и где жили люди разных национальностей.

В Игдыре была своя русская церковь, в самом центре, на углу бульвара и площади, на главной магистрали, ведущей из Игдыра в Эчмиадзин. Эта церковь, в отличие от других русских церквей, была выстроена из гладкотёсаного чёрного туфа. Небольшая, но знаменитая мощным звоном своих колоколов, (наверное, так и должно было быть). Потому наши церкви в Игдыре начинали бить в колокол чуть раньше, либо чуть позже, чтоб их звоны не тонули в гуле русских колоколов. От их оглушительного трезвона в небо взмывали бесчисленные стайки голубей, которые ночевали тут же, под крышей колокольни. Кони, везущие фаэтоны, шарахались от неожиданности, а жители, испуганно крестясь, шептали «Опять шум-гром подняли!» И индюки Лысого Кяспара, налившись кровью и распушив хвосты, сердито лопотали до тех пор, пока не стихнут колокола...

А сам Кяспар, наверное, был единственным человеком в Игдыре, которого ничуть не беспокоил ни колокольный звон, ни, тем более, бормотанье индюков, которые, вкупе с остальными пернатыми обитателями Кяспарова птичника – гусями, курами, петухами и утками, поднимали жуткий гвалт регулярно, по три раза в день, вместе со звоном колоколов. Его невозмутимость объяснялась просто: Кяспар, то ли по старости, то ли от природы, был туговат на ухо. Чего нельзя было сказать об остром слухе и, уж тем более, о необычайно зычном голосе его супруги, Такуи-дзало, которая не выносила грохота «русаков», заглушающих нежные переливы колоколов Сурб Геворга. Всю силу своего раздражения она обрушивала на бедных пернатых, громовым голосом умиряя разбушевавшихся кур и гусей.

– Ну, хватит! Разгалделись, чтоб вам пусто было! – что, вероятно, относилось и к «русакам». И если церковные колокола продолжали звонить, то присмиревшие обитатели птичника тут же брали тоном ниже, а надутые индюки медленно складывали пёстрые веера хвостов...

Птичники в Игдыре были у всех, у кого большой, у кого поменьше – в зависимости от числа членов семьи, а у Кяспара, благодарение Богу, что птичник, что семья были немаленькие: четверо своих сыновей с невестками, да оставшиеся сиротами сыновья брата, Езник и Гутуш в придачу. Кяспар поставил сыновей торговать пшеницей в магазине, а сам заправлял птичником – зимой и летом, в неизменной чёрной шали на плечах, обходил его, заложив руки за спину, и сам напоминая чуднóю, невиданную птицу. Кяспар с женой приходились нам роднёй:

одна из многочисленных его невесток – Манэ, была моей тёткой, младшей дочерью Исабека, главной обязанностью которой до замужества была забота обо мне. И выдали её замуж за лучшего друга моего отца, среднего сына Кяспара, Рябого Амо. Рябым его звали, просто чтоб отличать от других Амо, поскольку в Игдыре их было много – так величали и Амазаспа, и Амаяка...

Голос у Такуи-дзало действительно был особенный, тихо говорить она не умела, и трудно сказать, было ли так от природы, или сделалось от общения с глухим супругом. И никто ни дома, ни в округе не удивлялся, слыша в часы обеда, как орёт Такуи-дзало, сзывая за стол свою большую семью. Когда бозбаш и шорва в горшках и котелках над тониром были готовы, раскаты её крика разносились далеко от дома:

– Амо, Мкртич, Гуто, Езник – к столу!

И где бы ни были ребята – на улице, в лавке или ещё где подальше, они услышат и заспешат домой, и нет нужды кого-то за ними посылать...

А начинались и кончались их трапезы музыкой и танцем. Езник мастерски бил в барабан – дап и играл на *зурне*, Амо и Гугуш отменно пели и плясали, остальное дополняли невестки, все как на подбор красавицы. И такой уклад не был исключением, в Игдыре многие семьи жили так дружно и весело. Так что, милый мой Игдыр, скучать или грустить у тебя времени не было...

– Скучать? Нет, каждый день был для меня праздником, но грусть осталась, да и как не печалиться моей душе, как не безумствовать, как волны Араза...

Так пойми же и ты нас, а то заладил: оставили меня, покинули...

– Прости, от боли это я, от горечи, сил нет терпеть такое одиночество...

Помнится, родной, и для «одиночества» у тебя тоже было местечко...

– Тюрьма? Ты имеешь в виду «*дусах*»? Не слишком остроумно, но была у меня и тюрьма – пара комнатушек у пристава была оборудована специально для «любителей одиночества». Их крошечные окна смотрели на улицу и располагались невысоко, что было очень удобно для заключённых, чтобы одиночество им не наскучило. Можно было сколько угодно переговариваться с прохожими, передавать поручения семье: смену белья принести, то да сё, или распорядиться:

– Эй, слышь-ка, скажи дзало (то есть жене), пусть в обед толму с виноградными листьями принесёт, да соленье чтоб не забыла, душа солёного просит...

Ну вот такой и была моя тюрьма. Уж прости, если что не так, но ведь что за город без тюрьмы, без пристава...

Да, дорогой мой Игдыр, такой она и была, и от других я слышал то же самое. Отбывали срок в этой тюрьме мелкие «нарушители закона», и будь её здание чуть повыше, можно было бы на нём флаг белый повесить, по норме международных правил, потому что камеры частенько пустовали – не заселять же их силой...

Игдыр имел своего градоначальника, «главу» и пристава, назначаемого самим губернатором. Однако срок их пребывания в должности определяли сами игдырцы. А это означало, что в Игдыре были свои – тут не найти другого слова – «террористы», чью партийную принадлежность трудно было установить, ибо в городе действовали все «комитеты», какие только успели создать армяне везде, где их собиралось больше десяти человек...

Имел Игдыр и почту, и телеграф, начальником которого был присланный из Тифлиса грузин, благодаря веселому нраву и дружелюбию ставший любимцем всех игдырцев, непременным тамадой бесконечных празднеств и застолий. Арчил Нестерович Цихистави давно считался одним из влиятельных горожан Игдыра, и хотя грузина армянином не сделаешь, но игдырца из него сделать возможно, что они и сделали. Жена его, «калбатано» или госпожа Кетеван, не отставала от него и прославилась тем, что ввела в обиход игру в лото на чайных посиделках игдырских кумушек.

Интересно, что Арчил был не единственным грузином в Игдыре. Хотя известно, что грузинам нет особого резона жить на чужой земле, тем не менее несколько грузинских домов здесь было: чиновники, двое-трое служащих той же почты. Видно, нравился им Игдыр и игдырцы.

...Помню, много лет спустя, в годы учёбы в Тифлисской академии, один из них нашёл меня. Мне прислали из дому деньги, и их принёс обычный почтовый посыльный, который ещё с порога чуть ли не пустился танцевать *лекури*, как Арчил, а потом бросился обнимать-целовать меня, словно нашел родного сына. И плача, рассказывал моим грузинским друзьям, кто я. Впрочем, от «магарыча» всё же не отказался...

\*\*\*

Как всякий уважающий себя город, Игдыр, конечно же, имел свои «духовные центры»: «Илизон» (иллюзион) – рядом с почтой-телеграфом, на «главном проспекте», и театр – в том же здании «Илизона», где «играли представленья» –

постановки «Ашот Еркаг» или «Храбрый Вардан», и куда с гастролями приезжали сам Петрос Адамян со своим «Отелло» и Сирануиш с «Гамлетом».

В магазинах Игдыра можно было найти всё, что душе угодно, начиная с русской икры и копченостей до севанской форели, ванского тареха и кохака. А ещё амстердамские ликёры, пирожные и торты фирмы «Жорж Борман», отборнейшие коньяки Шустова и Сараджева – словом, всё, что продавалось в Тифлисе и Ереване. Правда, связь с торговыми домами Еревана была более тесной, большей частью товары шли оттуда.

Город был полон русских чиновников и, поскольку уже считался пограничным, многие из них были воинского звания, а часть военных и казаков жили даже с семьями.

Игдыр славился своими ремесленниками, замечательными портными и сапожниками. За сшитыми ими каракулевыми папахами, парадными черкесками, «венгерскими» полушубками и высокими сапогами приезжали из самого Еревана и других городов.

Оружейников тоже было много, поскольку каждый второй житель имел оружие. Самый изобретательный из них был Никогос Авагов, потерявший ногу от неисправного маузера (опять маузер!) с заклинившим патроном. После долгих попыток вытащить его и безуспешных манипуляций с затвором маузер разорвался у него в руке и ранил в левую ногу. Никогос пытался вылечить ногу сам, но ржавая пуля сделала свое дело, и пришлось согласиться на ампутацию, которую и осуществил игдырский... ветеринар, сын отца Мефодия, священника русской церкви. Игдырцы с первого дня окрестили его «ослиным доктором», хотя ослов в Игдыре почитай что не было, одни лошади...

Неопровержимым фактом своего существования, любимый мой Игдыр, ты был обязан только и только своим жителям, которые сделали тебя городом за короткий, можно сказать, исторический промежуток, не пожалели сил, чтобы придать тебе черты настоящего города. И разве только внешние черты? Твои горожане наполнили тебя соответствующим содержанием, что ценно также в плане «перспективы», и не только для Сурмалу, Еревана, но и для мест более отдаленных, даже лежащих по ту сторону Масиса...

Свое право зваться городом ты «завоевал» ценою долгих испытаний, и тебя не интересовало мнение на этот счёт губернских властей. Впрочем, если они к твоим трём церквям добавили ещё и русскую, православную, пусть и из черного тесаного туфа, но со своим кладбищем, «городское училище», «казначейство», почту,

телеграф и другие объекты, то надо думать, они, эти власти, не только смирились (конечно вынужденно) с фактом твоего существования, но и подтверждали тем самым, что на границе стоит и должен стоять город, называемый Игдыром, откуда дороги поведут в Ван, Иран, к Баязету, Алашкерту, Карину, в Карс, Ардаган, Сарикамыш...

Тебе было далеко до блеска и роскоши больших городов, но в тебе присутствовал тот уют, то удобство жизненного устройства, которое чаще всего присуще небольшим провинциальным городам с их неспешной жизнью. В таких городах даже незнакомец не чувствует себя одиноким, как это случается в суете больших городов, где человек часто ощущает себя маленьким и жалким, подавленным оттого, что некому сказать ему «Доброе утро!» или «Как поживаете?»...

Даже незнакомые люди при встрече на улице должны здороваться друг с другом, после нескольких таких приветствий они остановятся и спросят, как у кого дела, ну, а потом, глядишь, возвращаясь после вечерней службы, позовут друг дружку в гости...

Так оно было, и даже твои «иностранцы» горожане свыклись с местными обычаями, и вовсе не вынужденно. Так, давно «обыгдырились» и «карачухели» Арчил Цихистави, и русский священник отец Мефодий, и его сын, «ослиный доктор» Фёдор, которого отец женил на Гоар, дочке Шушваренца, и теперь к ней почтительно обращались «дорогоценная Гохар»...

Точно так приобщилась к игдырским традициям кадровая часть офицеров пограничного гарнизона, со своими «марфушками», а ещё езид Джангир-ага, который зимовал в Игдыре, и другой езид Юсуб-бек, сын которого, Али-бек, учился в приходской школе, жил у нас дома и ночевал с Геворгом в бабушкиной «клинике». А ещё Муса Малим, который уже перестал отличать бараний шашлык от шашлыка из свинины...

Какими бы смутными ни были времена, Игдыр никого не обделял вниманием. Даже «Полоумного Смбата»... С некоторых пор его стали величать по-новому – «Отелло-Смбатом», в честь несчастного героя трагедии гениального англичанина. Правда, Отелло, в понимании игдырцев, был «от природы не в своем уме». Смбат не был полоумным «от природы», а заслужил прозвище после неудачной попытки задушить жену «на почве ревности», от которой в результате и свихнулся. Почтенные игдырцы, видевшие несравненного Петроса Адамяна в роли Отелло, не замедлили «обыгдырить» и этого классического героя. Отелло-

Смбат был человеком тихим и безобидным, его «сдвиг» выразался в том, что он кружил по улицам, отворачиваясь от чужих взглядов и говоря сам с собой, а встречая идущих навстречу, приставлял палец к губам и шептал «тсс!», будто умолял не прерывать его нескончаемый монолог...

Был у тебя ещё один замечательный горожанин, которого старые игдырцы до сих пор не могут забыть. Звали его Орду, из рода Ордоянов, сватов со стороны моей бабушки Банавши, благодаря которым наша фамилия удостоилась нового прозвища – «хохотуны». Этот Ордоенц Орду, как и Пьян Аракел, был человек без определенных занятий, который всюду поспевал со своими прибаутками. Но даже если при каком-то событии его не оказывалось, люди всё равно из уст в уста передавали его необыкновенные остроты, всегда меткие, но не злые шутки, рождавшиеся экспромтом по любому поводу, чтобы расшевелить тех, кто приуныл.

Профессор Шаваршян создал целый цикл устных новелл, взяв за основу его анекдоты. Будучи сам необыкновенным рассказчиком, байки балагура Орду он превратил в восхитительные миниатюры, привести которые здесь – затея невозможная, и можно только сожалеть, что эти истории не были в своё время записаны...

По какой-то неизвестной причине Орду был крив на один глаз. И вот однажды на рынке «глава» Игдыра, Епрем-како, в гневе пригрозил какому-то торговцу:

– Если такое повторится, смотри, глаза выколю!

Вездесущий Орду, который околачивался поблизости, тут же встрял, улыбаясь притворно льстивой улыбкой:

– Епрем джан, прошу, как выколешь ему глаза, один мне отдай, буду носить вместо моего незрячего...

И к общему хохоту присоединился даже сам незадачливый торговец...

Наряду с другими своими талантами Орду хорошо играл на зурне и со своей «дастой» – ансамблем музыкантов, разъезжал по свадьбам и застольям в близлежащих деревнях, порой и по ту сторону Масиса, и подозреваю, что гостей он радовал больше своими шутками, чем зурной. Однажды, возвращаясь вот так «с другой стороны», он наткнулся на пограничника. Офицер потребовал у него паспорт. Орду не растерялся и «по-русски» воскликнул:

– Какой пашпорт, гаспадин начальник, три чалавека, адын глаз!

Выяснилось, что другие два члена «музыкального коллектива» Орду слепы на оба глаза...

Рассказывают, что особенно доставалось от насмешника Орду народу деревни Халфалу – простодушным крестьянам по образу и подобию «*лореци Амбо*».

Игдыр, можно сказать, сам создал свою интеллектуальную элиту, духовных тружеников, часть которых служила ему, занимаясь врачеванием, преподаванием и прочим, а другая пополняла собой ряды многочисленных действующих «комитетов», которые росли в городе, как грибы. Нельзя не упомянуть и средней руки землевладельцев, а также «заводчиков», предпринимателей, создавших материальную базу, без которой Игдыр вряд ли выглядел бы городом. Вдобавок ко всему они поддерживали необходимый баланс в неустойчивой общественной атмосфере Игдыра...

Конечно, людям особо высокоинтеллектуальным Игдыр оказывался тесен, и они выбирали для своей деятельности другие города – Эчмиадзин, Ереван и другие. И даже занимали места в высших государственных, парламентских сферах. Не говоря уже о русском чиновничестве и офицерах пограничного гарнизона с их почтенными супругами, которые не могли не оказывать особого влияния на духовную жизнь Игдыра, так же как господин Нариманов, прибывший из Тифлиса, который открыл в городе «илизон» и баню.

Тем не менее основой процветания Игдыра, его надёжной опорой был, конечно, ремесленный люд. Каких только мастеровых и ремесленников не было в Игдыре – начиная с маляров, шорников, гончаров, бондарей и кончая ювелирами и виноделами, а уж мастерство умелых портных Игдыра славилось далеко за его пределами.

Из гончаров более всего был известен Амбарцум, и не только искусно сработанной посудой – «аман-чаманом». Славу горшечника приумножили трое его сыновей, об аппетите которых слагали такие легенды, что рассказ нашего зятя Никогоса про «Ванский тарех» никого не мог удивить.

– Моим горожанам на аппетит жаловаться не приходилось: все-таки рабочий люд, чуть свет – уже в саду, на пшеничном, хлопковом, кунжутном или конопляном поле. И все сыновья Никогоса отличались таким же трудолюбием. Однако Никогос никогда не брал их с собой на свадьбы, крестины и другие застолья. Печальный опыт показал, что их присутствие может закончиться для хозяев полным разорением...

Однажды для обжига посуды понадобилось набрать хвороста и сухостоя, и Амбарцум послал сыновей в горы, предварительно нагрузив телегу едой, чтобы те могли пообедать после трудов.

Телега не успела отъехать от дома, как один из сыновей вернулся. Амбарцум сразу смекнул, зачем, и без лишних слов вынес из пекарни ещё одну увесистую стопку лаваша. Но не прошло и пяти минут – возвратился другой сын. Отец молча вынес полмешка муки и протянул сыну:

– На вот, возьми, напечёте лепешек, а то как бы вам с голоду не помереть...

Ребята взбираются на гору, режут ягнёнка и в огромном котле вешают над огнем, младшего брата оставляют следить за обедом, а сами идут рубить ветки. В полдень, натрудившись и изрядно проголодавшись, возвращаются к костру и... Еще издали с изумлением видят: младший брат пляшет вокруг котла с черпаком в руке. Предчувствуя беду, они подбегают и... столбенеют на месте. Ибо случилось наихудшее! Они бьют себя по коленям, но поздно. Котёл пуст, всюду крошки сыра и лаваша, а бурдюк без капли вина валяется рядом... Конечно, поступок далеко не похвальный, но и удивляться тут нечему...

Это ещё младший брат! А вас удивлял аппетит Никогоса...

Я упоминаю только тех умельцев, кто отличился особо. Остальные просто усердно делали своё дело, как и другие ремесленники во всех больших и малых губернских городах.

А как не вспомнить ещё и «*Ншхем* Закара» – известного в Игдыре плотника, который мастерил разнообразную мебель: шкафы, лавки, буфеты, но особенно прославился своими сундуками. Сработанные Закаром сундуки стояли почти в каждом игдырском доме, и в частности – в доме моей бабушки Банавши. На совесть послужив ей и деду Исабеку, он был удостоен чести продолжить свою службу в Ереване, работая уже на моего отца Амаяка. Ключ от сундука отец хранил у себя и ни сном ни духом не догадывался, что мы, как все дети, обожавшие всё запретное, имеем его дубликат.

Закара заслуженно окрестили «*Ншхем*» («я украшу»), так как он один умел разукрасить свои сундуки цветными металлическими пластинками. Получив заказ, он заранее заверял заказчика:

– Будь спокоен, уж я разукрашу. Так разукрашу!..

И *уста* Закар действительно украшал свои сундуки придуманной им самим нехитрой мозаикой, да так искусно, что обыденный бытовой предмет становился ценным произведением искусства.

То же делал наш сосед, Муса, в своей мастерской с сёдлами и уздечками, покрывая их тонкой иранской вязью. Но его игдырцы прозвищем не наградили и обращались всегда почтительно, с уважением – Муса Малим, по-персидски что-то

вроде учителя. И раз уж мы вспомнили «Капек Акопа» из шашлычной, как тут не вспомнить «Джртраненц Акопа», замечательного шляпника, который шил свои «шлавки», не снимая мерок, лишь взглянув на голову заказчика! И поскольку шляпа, как назло, всегда оказывалась чуть теснее, чем надо, мастер пару раз натягивал её на свою голову, и готово! – та становилась в самый раз, и клиентам жаловаться не приходилось.

\*\*\*

Игдыр был городом очень беспокойным. Особенно сильно его лихорадило весь 1914 год...

Тяжёлые времена настали для Игдыра. Нередко по ночам испуганные горожане вскакивали от выстрелов маузеристов. Время было смутное, тревожное, как и везде на русской земле, и уж особенно там, где жили армяне. Игдыр стал похож на улей, разбуженный медведем. Каждый день на город набегали и схлынивали толпы добровольцев, военных, казаков, беженцев. Но у него была и привычная собственная жизнь, и жил он так, будто факт, что этот мир рушится, его совсем не касается, будто ещё лет сто будет так, как было...

И могло быть... И сто, и десять лет могло быть... И почему бы, отчего было не продолжиться этой полнокровной, прочно устоявшейся жизни, едва вошедшей в нормальное русло? Как случилось, что турок, сеющий смерть и разрушение, но никогда не доходивший до Масиса и не ступавший в Сурмалу, вдруг осмелился топтать эту землю – границу грозного русского государства, которая ценой его же собственной, русской крови была отвоёвана у перса? И почему Россия не защитила – своя ведь граница? Почему никто и ничто не помешало так недальновидно передвинуть границу на берег Араза? Тебе не найти ответы на эти вопросы, родной мой, как не было их и у твоих именитых горожан, которые скучали от безделья, отлучённые от своих садов и полей, и собирались на ереванском бульваре, в тени платанов, с такими же почтенными гражданами Вана, Алашкерта, Муша. Кашляя и задыхаясь от горькой махорки, они рассуждали, шумели и спорили о беде, что их постигла. В поисках виноватых выдумывали какие-то соглашения, заключенные Германией, Турцией и Россией, до хрипоты пререкались о вещах небывалых и неведомых... Не найти ответа. Единственный ответ – вековая истина: если какой-то народ не способен или не в силах постоять за себя и решить свою судьбу, её непременно решит другой – тот, кто посмелее, и так, как ему будет угодно...

Итак, дорогой мой Игдыр, как ты уже, наверно, заметил, подобно неумелому всаднику, я то скачу вперед, то возвращаюсь, то и дело отклоняюсь от намеченной тропки, всякий раз не зная, выйду ли на дорогу. Но знаю одно: как бы я ни метался в поисках истины, все думы мои только о тебе. Ты – единственная моя песня...

Точно так известного в Игдыре *зурначи* «блдух» Оганеса, бывало, просили сыграть какую-нибудь новую мелодию. Он переспрашивал: «Какую новую? Эту?» И, согласно кивнув головой, громко выводил несколько тактов новой мелодии, а потом незаметно снова возвращался к единственной песне, которую знал...

Так и я – какие бы «наигрыши» ни выделял, песня всё равно про тебя получается. Так что наберись терпения и к тому же не забывай, что бегущего коня по голове не бьют, особенно когда всадник не слишком искусен.

Игдыр... Твоё имя из пяти букв я за долгие пятьдесят-шестьдесят лет, как уже говорилось, и пяти-шести раз из чьих-либо уст не слышал. Тогда как были времена, когда его не уставали пережевывать, как жвачку. Не говоря уже о его значении, которое, на мой слух, звучало так же незнакомо, как урартский язык, оставшийся загадкой для ученых.

Однако было одно толкование, которое относилось и к тебе, и к этим твоим пяти буквам. Оно похоже на легенду, его помнят и рассказывают некоторые твои старожилы. И поскольку на этой планете всему ведется счет от времени потопа, ты тоже начался с него.

...Рассказывают, что когда воды отступили, сам прародитель Ной, который был, наверное, умелым мореплавателем, остановил свой нагруженный ковчег на вершине нашего Арарата–Масиса, где его и оставил. И сошел Ной с сыновьями на сушу, и обошел твои земли, и присел, усталый, на холм, вокруг которого раскинулась твоя вчерашняя и сегодняшняя земля. Этот холм и по сей день зовётся «Блур».

Сел Прародитель и сказал сам себе:

– Ной, зачем ходить далеко! Земля здесь тучная, рыхлая и в меру влажная, в самый раз для виноградника. Оставайся здесь и «иги дир». То есть: «айги дир» – «разбей сад». (Всего одной буквой больше).

Ной не стал раздумывать, позвал сыновей и велел:

– Принесите тот большой хурджин!

Достал из хурджина черенок винограда и посадил его в твою землю на солнечной стороне того холма, который и сейчас зовётся Блур, так же как село рядом с Игдыром.

Это единственно возможное объяснение твоего имени, не поддающегося расшифровке, – объяснение единственное и неоспоримое, в силу которого, любимый мой Игдыр, за тобой не только закрепляется слава «пионера» садоводства и виноградарства, но и становится ясно, что Ной, владея многими языками, свои «исторические» слова произнёс на простом и понятном нам армянском языке. И, судя по всему, на его хойском диалекте, поскольку не только хойцы, но и не менее уважаемые аштаракцы и сейчас называют сад «иги», и будут так называть, пока в древнем Аштараке будут цвести сады...

За отсутствием свидетелей полагаем себя вправе считать эту достоверную и забавную притчу не историческим анекдотом, а бесспорным «научным истолкованием». Помня о том, что в наше время учёные не оставляют без подобного истолкования ни одного сказания или легенды.

И никто ведь нас не торопит, любимый мой Игдыр, мы так долго ждали, что вполне можем подождать еще немного, веря в то, что найдётся, непременно найдётся истинный учёный с чутким сердцем, который не просто поверит, как мы, в этот весёлый анекдот, но и сумеет подтвердить истинность этой «ненаучной истории» и разорвёт путы забвения, повязавшие тебя по рукам и ногам. Найдётся непременно, не перевелись ещё добрые люди на свете.

А что до меня, то я всегда был неисправимо доверчив и верил в ещё более невероятные истории, а моего прадеда – отца деда Исабека, и по сей день путаю с Ноем. Потому что точно так же, придя на эту землю, он призвал своих трёх сыновей: Айваза, Йордухана и Амбарцума, родившихся ещё в Хое, и открыли они хурджин и, достав привезённые из Хоя черенки виноградной лозы, посадили их в твою землю. С закатанными рукавами и штанинами, повязав головы платочками с четырьмя узелками по углам, чтоб уберечься от твоего палящего солнца, и мурлыча под нос какую-то протяжную песню, – как все земледельцы, что поливают потом свою землю...

Но посмотри, ведь греки приписывают разведение винограда и виноделие «своему Ною» – Дионисию, тогда как наш Григор Магистрос опровергает их, утверждая, что древнееврейские и халдейские источники в один голос отдают пальму первенства Ною – и правильно делают. Кроме того, он добавляет, что село наших далёких предков Акори, выросшее у подножья Масиса в незапамятные

времена, первоначально звалось Аркури, что означает «ур (черенок) посади» (так написано в древнейших манускриптах). И, вчитываясь далее в текст Священного Писания, объясняет ещё и другую подробность. Ной, как всем нам известно, имел слабость к виноградному вину, но однажды опьянел и был осмеян младшим сыном Хамом – судя по всему, самым избалованным из сыновей патриарха. Из чего следует, что Ною задолго до потопа были известны и виноград, и вино, и хмель от него. Отсюда вывод: «Аркури» следует понимать как посадку не «привозных» саженцев, а черенков, взятых от старых виноградных лоз, выглянувших после схода воды. И по-видимому, именно от молодого вина – мачара – захмелел Ной, строго отчитавший младшего сына за непочтительность (Григор Магистрос, Листы. Александрополь, 1910 г., с. 80).

Видишь, милый мой, как далеко в глубь времени уходит начало твоей истории, какой давний смысл имеет твое существование, – он намного древнее, чем могли предполагать твои теперешние или бывшие жители.

Прошу тебя, удовлетворишь моим истолкованием значения твоего имени: оно не имеет никакого отношения к языку урартов и не должно казаться тебе непонятным или сомнительным.

– С чего бы мне сомневаться? Пускай сомневаются те, кто поученее тебя, а в особенности – те, для кого я, Игдыр, всего лишь «географическое понятие», точка на карте, размером с булавочную головку...

Я восхищен твоей рассудительностью, Игдыр, меня тоже не волнует твой размер на карте. На географических картах все города – точки величиной с горошину, с чечевичное зернышко, а кто покрупнее – с фасолинку. В конце концов точка – это начало всех величин, а если к тому же вспомнить, что на сегодняшних картах отсутствуют величины, куда более значительные... Ну разве тебя можно сравнить, скажем, с Ассирией, Вавилоном, или с тем же Карфагеном, ты перед ними ничтожно мал, но ты посмотри... нет их, будто мелом на доске были нанесены и... стёрты. Так стирал с доски свои уравнения математик церковно-приходской школы Игдыра господин Агаронян, потом эту тряпку по рассеянности совал в карман брюк, вместо платка... А ты, ты есть, с горошинку или булавочную головку, какая разница, ты есть на карте, и даже село Блур есть, откуда был родом учитель словесности Баграт.

Одним словом, любимый мой Игдыр, покуда за твоей спиной высится Арарат, ты есть и будешь, и совсем не важно, кто сегодня разлётся на твоей земле.

И в конце концов, чтобы убедить тебя окончательно, вспомним свидетельство Павстоса Бузанда касательно царя Папа, самого одарённого из царей армянских, который ещё молодым избрал твою местность для размещения царской резиденции – дворцового города-крепости. Павстос говорит: «Игдыр со своим равнинным расположением и надёжной крепостью на близлежащих холмах, по всему, весьма подходит для строительства дворца и большого придворного поселения», и не лишено вероятности, что он отождествлялся с *Ардианком*. Потому что лежащий в долине Ерасха (Араза, Аракса), среди раздольных полей, множества цветущих садов и виноградников, окружённый возвышенностями и плато «Масисского нагорья», Игдыр-*Ардианк* действительно являл собой панораму, достойную «царского села».

Для большого и укрепленного дворцового комплекса между Цолакертотом и Парахором другого подходящего места, кроме Игдыра, не было.

А самое достоверное свидетельство принадлежит твоей вчерашней, более близкой к нам истории, оно сохранилось и может быть приведено в качестве аргумента. О забавной части твоего имени пусть не слишком строго судят те, кто когда-либо позволят себе прочесть то, что я изложил. А в особенности те «ученые умники», из пристального внимания которых ты, любимый мой Игдыр, благополучно выпал, оказавшись в положении «вне игры», за линией поля. А ведь твоя история насчитывала не день, не неделю, не год, – это была история древнего народа с глубокими корнями, не заслуживающего забвения. Ведь не иголка в сене – это были армяне, тысячи армян, среди которых множество уважаемых людей, достойных сочувствия и, тем более, – упоминания.

Вспомним же твою недавнюю историю: как ни была она неприятна для тебя, но это достоверный факт, отмеченный честнейшими из историков, в высшей степени беспристрастный и далеко не забавный.

*«Игдыр. Поселение в Сурмаринской губернии области Араратян Чакатк. Местоположение равнинное, с обширными виноградниками. Окружено и украшено высокими тополями. Имеет 266 домов и 2912 жителей, чьи предки переселились из Персии (как-то: из Хоя, Салмаста, Маку и пр.).*

*Имеет три церкви, из которых одна, Святого Саака, восстановлена в 1842 году. Во времена владычества персов была часовней, но впоследствии (после прибытия переселенцев) расширилась. Имеет две школы, женскую и мужскую.*

*Местный воздух горячий и нездоровый, воду здесь пьют из мутного ручья, улицы пыльные и грязные, так что при порывах ветра пыль набивается в глаза.*

*Большинство жителей подвержены лихорадке, глазным и другим болезням, причиной чему, помимо вредного климата, болотные воды, тростниковые и камышовые заросли, которые характерны для Араратской долины.*

*Похвальна (наконец-то!) приверженность армян церкви, тяга к образованию, деловитость и изобретательность, однако достойно осуждения (слышишь?) чрезмерное употребление водки, в количестве таком, как нигде более в поселках не пьют...*

*Дома сложены из кирпича, реже из камня, крыты брёвнами, но одноэтажные, с большими окнами, летом все спят во дворах и на крышах...*

*У армян есть старое и новое кладбище, старое – во дворе церкви. Игдыр находится поблизости от каменных карьеров Хошхабара и Аревага».*

Этот отрывок приводится по тексту С.Еприкяна «Иллюстрированный географический словарь» (Венеция, 1900, с. 66). В изданном раньше в той же Венеции «Айрарате» Гевонда Алишана (1890, с. 126) читаем:

*«Процветающий город **Иктыр**, или **Игдыр**, коего особенной частью является Игдыр-мава с восточной стороны. Имеет 550 домов армян и 70 домов персов. Видный центр национальной торговли и предпринимательства, а также политического и, в годы последней войны 1877 г., солдатского движения.*

*В Игдыре – церковь святого Саака, в Игдыр-маве – св. Геворга. Близлежащие сёла – Паарлу, Блур, Баник, Казанчи и др.»*

Думаю, для тебя эти сведения в объяснениях не нуждаются, кроме одной противоречивой цифры: Алишан в 1890 году насчитал больше домов, чем С.Еприкян в 1900-м, при том, что число твоих жителей росло не по дням, а по часам: меньше пяти детей в игдырских семьях не бывало, а десять и даже больше – не редкость. И много было торговых заведений, политических центров, «военных инспекций», и жители действительно имели склонность к образованию, к религии: построили ещё одну новую церковь, ещё одну школу – русскую, и русскую церковь. А закончившие «гарадской дпроц» – городскую школу получали право преподавать и уезжали учительствовать в армянонаселенные города – в Батум, Сухум, Гори, Ахалцху, Армавир и др.

Ничего, что пили «мутную воду из ручья и потому страдали лихорадкой». Из источника в Зоре, что у подножья Масиса, они потом подведут в город

прохладную, студёную родниковую воду и выроют колодцы с вкусной водой, которая под всей Араратской долиной (море!) было и есть по сию пору.

На лихорадку тоже найдётся управа: знаменитый в Игдыре лекарь доктор Асланян, получивший образование в Петербурге, затребует побольше хинина для аптеки. И только «чрезмерное пьянство» останется личной монополией «Пьян Аракела», хотя тот же доктор для усиления действия хинина рекомендовал употреблять его с водкой. В его заведении на столике всегда стоял крепкий водный раствор хинина, и, чувствуя приближение приступа малярии, больные кое-как добежали до аптеки и, опрокинув горький стаканчик, спокойно шли домой, точно так, как посетители множества больших и малых шашлычных, которые, идя с работы, пропускали рюмочку водки прямо у прилавка.

«Процветающим» ты был благодаря умелым ремесленникам, а также, добавим, – трудолюбивым виноградарям, садоводам и огородникам. Они строили каменные дома с цветниками и палисадниками, благоухающие привезенными из Персии, из Хоя, «райскими» розами Шираза. Воздух наполнял аромат цветущих лилий, нарциссов, сирени, листьев майорана. Пирамидальные тополя и трепетные осины украшали ограды дворов. Не были игдырцы «маузеристами». С маузерами подружились много позже, когда беда черной тучей нависла над армянином, и не в одном только Игдыре.

\*\*\*

Иметь оружие было просто необходимо. Даже в нашем доме, в силу этой необходимости, хранились два маузера с боевыми патронами, хотя отец мой, во всем остальном истинный игдырец, ни разу в жизни к оружию не прикасался, и кому предназначалось стрелять из них – одному Богу известно. Но «постановление» иметь оружие выполнялось неукоснительно, невзирая на строжайший запрет государства.

Решение об обязательном хранении оружия принимали «комитеты», которыми Игдыр был буквально напичкан и которые представляли все партии, созданные армянами, и даже с избытком. Игдырцы не верили в существование этого «избытка», но он существовал, так сказать, подпольно, и наверняка именно его имел в виду Тер-Месроп в одной из воскресных проповедей, когда, авторитетно подняв кверху указательный палец, провозгласил, что «предаст анафеме, буде таковой в Игдыре родится...»

Но были, такие «избытки» тоже были, и родились они в Игдыре еще до рукоположения Тер-Месропа. Спустя годы, уже в Ереване, когда я спросил отца о двоих самых «видных» из них, выяснилось невероятное.

Выяснилось, что самый главный «из таких» как раз служил в церковной школе с отцом Месропом. Был учителем языка и литературы. Каждый божий день они здоровались, жали руку друг другу, справлялись о здоровье, ходили в гости. Отец дал ему однажды странную характеристику. Сказал:

– Бедный, такая жалость...

Видя мое удивление – я был просто ошарашен, – он пояснил:

– Ну что непонятного! Он был скромный, умный, очень добрый и порядочный мужчина...

И добавим, чтоб не осталось ничего непонятного, что этого «главного», учителя Баграта, все поголовно уважали и почитали. Спокойный, с мягкой и доброй улыбкой, не сходящей с лица, никто не слышал, чтоб он повысил голос, детей не наказывал, непристойных слов не употреблял, и тем не менее на его уроках было слышно, как пролетает муха...

Сам Тер-Месроп, который учителей особо не жаловал, его очень уважал, даже ставил в пример остальным педагогам.

И родился этот порядочнейший человек, учитель Баграт, совсем рядом с Игдыром, в Блуре, где, как мы уже знаем, Ной посадил первый виноградный черенок.

И родился для того, чтобы ценой своей молодой жизни указать своему многострадальному народу «ту единственную спасительную тропку», которая после моста Маргары заплутала безвыходно, беспросветно, бесперспективно...

Вот что означали отцовские слова...

А вот что касается второго «главного», здесь, думаю, произошло непростительное недоразумение. Или ирония судьбы?

Из Баку вернулся в Игдыр старший сын Меликянов Оганес, подавшийся туда как многие, и не только игдырцы, то ли учиться, то ли работать. Парень хоть куда – высокий, симпатичный, любил поговорить, пошутить. Словом, завидный жених, однако он был давно влюблён в старшую дочь Епрема-како Сирануйш, окончившую школу для девиц.

Предложение Меликянов было принято вдовой Епрема, Маин-дзало, свадьбу справили большую и пышную, венчал молодых Тер-Месроп – по совместительству тамада свадебного застолья. Заправлял весельем до самого утра,

радуясь новой родне, поскольку Ехсапет, средняя дочь Епрема, приходилась ему невесткой, женой старшего сына Аршавира, учителя семинарии. И только уже в Ереване он узнал, что его новый родственник был из числа проклинаемых им деятелей создаваемого государства...

То же самое произойдёт позднее и с его единственной дочерью Вергине, которую он выдаст замуж за старшего сына гюмрийцев Галоянов. Правда, на этот раз он будет знать заранее, что молодой человек из числа «активистов» и состоит в его списке проклятых. И тамадой свадебного стола снова был он, отец Месроп, уже ничему в жизни не удивлявшийся, но, наверное, в последний раз.

\*\*\*

Какими бы сбивчивыми ни казались упомянутые мной сведения, более удачных найти не удалось. Придется тебе подождать кого-нибудь другого, более ученого и толкового человека, который в полной мере тебя уболаготворит.

Однако нетрудно представить, каким ты был до того, как мои предки из Салмаста, Хоя, Маку пришли и обосновались на твоей земле. Уж точно ничего особенного. И вся эта информация – из времени уже после их пришествия, что и удивило г-на Еприкяна и Г.Алишана...

Ты можешь утешаться тем, что не ты один был таким, если, конечно, это может служить утешением. Такими были лежащие в Араратской долине, обоих берегов Аракса, плодородные, урожайные земли, которые чуть не со времён прародителя Ноя легли под копыта рыщущих стай голодных, как саранча, кочевых племён и, принимая их на себя и насыщая до отвала, невольно обеспечивали относительный покой деревушкам, укрытым в горах, и способствовали существованию тамошнего народа.

Ты был то поселением, раскинувшимся на холмах «Араратского нагорья», то неприступной крепостью на его высотах, то царской резиденцией, утопающей в зелени садов и полей... А потом опустел-обезлюдел, кругом одни камни и колючки... И всё больше камней и колючек...

Так что вид у тебя, дорогой мой, до прихода моих предков был довольно невзрачный. Чем же пленил, чем соблазнил ты этих упрямых хойцев? До чего же допекли моих предков орды «обрезанных» ариев, что они бросили свои сказочные сады и дома, всё что имели, пришли сюда и, по-хозяйски широко расставив ноги, вросли в твою землю с её «нездоровым климатом», то пересыхающую от соли, то топкую от болот и заросшую тростником...

Подались бы в Бюракан или в Котайк и наслаждались бы живой водой сорока источников Адиса. Так нет, пришли и поселились на болотах, чтобы, спасаясь от малярии, накачиваться водкой и обрести славу беспробудных выпивох у г-на Еприкяна...

Но ничего их не остановило, они разглядели, что кроется за невзрачным твоим видом, и Нарндженц Енок недолго думая посадил черенки виноградной лозы, привезённые из Хоя, в доставшуюся ему после раздела землю и разбил на ней самый большой и чудесный сад в Игдыре. И не по мановению волшебной палочки. Море солёного пота и труды золотых рук сумели покрыть твою землю сказочными садами, напоминающими райские кущи Хоя, и куда бы ни пришли переселенцы – в Котайк, Бюракан, Гарни, до самого Сисиана, – они обжили эту землю и заставили ее цвести.

И не огорчайся, родной, совершенно не важно, каким ты был. Главное, во что №они тебя превратили, так что даже песню сложили: *«Богата школами прекрасная земля, ты гордость, и слава армян, Сурмалу!»*

...Если хочешь знать, я просто вынужден, я обязан был пуститься в рассуждения насчёт твоего имени и твоей истории. Вот если бы пара-тройка «паронов Еприкянов» поподробнее, а заодно и чуть «цветистее» написали о тебе, это было бы очень кстати не только для тебя, но и для меня. И писать о тебе было бы занятием... «чрезмерным», говоря словами того же С.Еприкяна, то бишь необязательным. Особенно если бы Йордухан, Айваз, Канай, Лысый Кяспар, Нарндженц Енок, Аваговы не остановились на твоей земле и прошли бы мимо – дальше. Как те, кто поднялись в Бюракан, дошли до Сисакана. И можешь не сомневаться, если б эти «глядевшие исподлобья» добрались до Гарни, может, он понравился бы им больше, и жизнь у них пошла бы другая, без головной боли из-за стычек с иноплеменным сбродом ближних деревень. И что уж совсем точно, повидавшие новый Гарни забывали бы о других видных городах...

Но разве это было бы правильно? А кто бы остался на твоей земле, что стало бы с тобой? Нет, это было бы неправильно. Тут явно не обошлось без вмешательства судьбы. Так должно было случиться, наверное, – как ни печально всё окончилось...

Что до парона Еприкяна, то он всего лишь добросовестно описал факт твоего существования, и число домов, и пыль, и уличную грязь. Даже про «чрезмерное потребление водки» не забыл. А какими были заводчик Влас или Нарндженц Енок, устабаши Аветис или гончар Амбарцум со своими замечательными

сыновьями, или сам бессменный «глава» семи турецких и курдских сёл Хачатур-ага – это в его задачу не входило. И хоть бы среди «выпивохов» он упомянул «Пьян Аракела», или среди «боголюбивых» – Тер-Месропа... Но ни парона Еприкяна, ни кого другого не волновало, какими были те люди, что спозаранку с лопатой на плече шли поливать твои сады и пшеничные поля, а весной, чуть не по горло в грязной воде, умирляли взбесившуюся реку, укрепляя разрушенные дамбы, подпирая их брёвнами и валунами, воюя с разъярённым Аразом, не признающим дамб и мостов. Я долго ждал, чтобы у кого-то защемило сердце и он вспомнил про них и про то, что ведь была, существовала на свете «школами богатая губерния Сурмалу с главным городом Игдыром», с его «глядящими исподлобья» жителями, которые ночью выстраиваются в ряд и озадаченно смотрят на меня, словно спрашивают:

– Эй, ты! часом нас не забыл? Не то смотри...

Они – моя боль, вспомню о них – и душа тлеет, дымит, как сырой хворост в костре. А ты не обижайся, милый мой Игдыр, ведь ты есть? Есть! И ты тоже жди и не переживай, не теряй духа. Не забывай, что твоё имя обрело смысл и цену в тот самый день, когда на твою землю «глаз положил» удивительный народ, чей суровый, мрачный взгляд из-под густых бровей не сулил добра жителям разбросанных окрест курдских и турецких деревень, не знающим порядка и иного закона, кроме собственной прихоти...

Они, шелудивые псы, что привольно разлеглись и дрыхли вокруг тебя, довольно быстро сообразили: что-то изменилось, очень странным образом изменилось. И так же быстро поняли, как нужно вести себя с тобой, и надо думать, ты был доволен этой очевидной переменой, а ещё – новой модой на меховые папахи...

Кто знает, может, и раскаялся бы тот странный высокопоставленный русский чиновник, увидев эти перемены. А может и нет. Но что такая твоя позиция не по сердцу была уездному начальству, не устраивала «Эриванскую губернию», – этого они не скрывали. Что правда, то правда, русским «наместникам» твои горожане не полюбились. А те об этом знали, и хотя могли бы постараться, чтоб полюбились, но как же им жить после этого? Да им бы хлеб не лез в горло от отвращения к себе...

Но они не переставали удивляться, какого чёрта этот высокопоставленный русский чинуша, христианин, освободил их от персидских «кызылбаши» и ханов, – чтобы отдать в руки турецких стражников или «богуславских»? Не всё ли ему

равно, кто добавит горечи нашему хлебу, кто будет ненавидеть армянина? Дали бы им жить на земле, на которой они жили тысячелетиями. И, в согласии с русским же изречением «Насильно мил не будешь», предоставили бы самим искать какой-то выход...

Ты сразу стал для них головной болью, большущей головной болью! И чтобы обуздать тебя и призвать к порядку, то и дело снаряжали в Игдыр и Сурмалу отряды чиновников-армяноненавистников, приставов и губернаторов, но так и не сумели «научить тебя уму-разуму».

Не удалось это даже Богуславскому, ненавидевшему армян наместнику-татарину из Казани, который своей жестокостью нагонял страх на всю Сурмалинскую губернию. Ему с его телохранителями, турецкими есаулами не пришлось долго упиваться своим могуществом. Его «убрали», то есть прикончили, как до него другого «выродка» – так с легкой руки заводчика Власа заведено было величать их в Игдыре.

Одним из таких выродков был начальник пограничного гарнизона Орговского перевала, ярый арменофоб, который выдал молодых гайдуков-*фидаинов*, переходивших границу, и, само собой, отныне не имел права жить.

«Устранить» Богуславского взялись трое юношей: Атоенц Гегам, брат нашей Вардуи-дзало (жены устабаши Аветиса), Канаенц Гердан и Паруйр, внук кузнеца Аво. Паруйр с пятидесяти шагов попадал в горлышко бутылки, причём стоя спиной и глядя в зеркало. А приходский священник Тер-Месроп, которого почему-то всегда приглашали вместе с отцом Мефодием, настоятелем русской церкви, на похороны «выродков», свою надгробную речь на русском языке каждый раз заканчивал тремя армянскими словами: «Собаке – собачья смерть»... Присутствующие русские военные, как и сам отец Мефодий, пропускали эту часть мимо ушей, а те, кто не знал армянского, полагали, что священник цитирует Библию на родном языке...

«Устранение» Богуславского наделало много шума во всей «Эриванской губернии», но личность преступников установить не смогли, и дело было прекращено.

Богуславский сам ускорил «исполнение» своего приговора, и, как сказал бы парон Еприкян: «Чрезмерное употребление водки противопоказано представителям императорской власти». И был бы прав, поскольку не пристало гостю в разгар застолья облаивать хлебосольного хозяина – это противоречит

священным законам гостеприимства, великому таинству совместного преломления хлеба... Но существует ли что-то святое для обрусевшего татарина! Выносить его высокомерие было невозможно: «Я всех вас, игдырцев, в бутылку засунул и пробкой закупорил!», – вот что объявил этот разбойник. Один из присутствующих, кузнец Аветис, дивясь молчаливому терпению игдырцев, в гневе уже засучил рукава, приговаривая: «С чего этот дурак разгавкался, чего брешет? Кого это он в бутылку собрался запихнуть? А ну-ка, дайте я ему покажу!..»

Присутствующие еле успокоили Аветиса: мол, наакался, пусть себе лает... И переглянулись, таинственно и непонятно...

А упомянутый «царский представитель», не удовлетворившись сим недостойным заявлением, в доказательство того, что город находится у него в руках, то бишь «в бутылки», изъявил желание без охраны прокатиться в открытом фаэтоне по улицам Игдыра. И пусть кто-нибудь из игдырцев посмеет хоть пальцем до него дотронуться!..

Однако, под защитой телохранителей или без них, но часы Богуславского были сочтены... В ту же ночь решено было свести ним счёты.

Гегам и Гердан, залегшие в засаде на двух плоских крышах *Поса* – окраинного квартала Игдыра, – должны были отвлечь на себя охрану. На следующем перекрёстке Паруйр **2**, внук Аветиса, приведёт приговор в исполнение...

Не услышав выстрелов в назначенный час, Паруйр начал уже беспокоиться, но тут раздался звон колокольцев. Увидев несущийся прямо на него фаэтон без охранников, снайпер запрыгнул в него и разрядил свой револьвер в голову самонадеянного глупца .

Долго не мог эриванский губернатор найти замену Богуславскому: не было «подходящей» кандидатуры. Страх тому причиной или отсутствие подходящего «кандидата», но однажды в том же фаэтоне, обвешанном колокольчиками и запряженном вороными конями, в Игдыр прибыл новый «наместник», не меньше своих коней обвешанный железными бляхами и медалями. С неправдоподобной фамилией Гнутов. Игдырцы тут же переименовали его в Кнутова и так и обращались к нему: «гаспадын Кнутов»...

Игдырцы с почестями встретили этого Кнутова, закатили пир в казино Кукули, где с речами выступили «глава» Игдыра, пристав, отец Мефодий, а военный оркестр исполнил «Боже царя храни». Все надеялись, что новый наместник что-то понял, сделал какие-то выводы для себя и для них из истории своего предшественника...

Как вскоре выяснилось, почтенные игдырцы ошибались. Насилие продолжалось. Те же турецкие и курдские есаулы, те же телохранители и фаэтон, звенящий колокольцами по пыльным улицам...

И года не прошло, как отец Мефодий с нескрываемым удовлетворением констатировал: «Молодчик тоже преставился, приказал нам, грешным, долго жить»...

Этого «убрали» те же парни. На этот раз, дабы избежать шума, вместо «Смит-и-вессона» вооружились холодным оружием. Проникнув во двор летней резиденции наместника, Паруйр и Гегам задушили бросившуюся на них собаку, а выбежавшему на лай «молодчику» Гердан зажал рот левой рукой, а правой вонзил в сердце кинжал по самую рукоятку... К несчастью, у наместника в зубах остался откушенный мизинец Гердана. Этот самый мизинец положил начало расследованию убийства. Однако все подозреваемые из числа молодых игдырцев оказались при своих мизинцах, а Гердан, правда, без мизинца, но уже перешёл иранскую границу.

Вот как всё было. Так они и жили: всегда в опасности – из-за тебя, твоей чести, родной Игдыр, и своего достоинства. Дерзкие, не терпящие насилия, верные древним традициям, унаследованным от предков, и единственной истине – жить не сгибаясь, с высоко поднятой головой и открытым челом. Стоит чуть склонить голову – и тебя заставят согнуться, а потом и ползать. И хлеб твой станет горьким, а папаха – ненужной...

Был ли у них другой выход? Не было. Ни раньше, ни потом. Не только для Игдыра – для нас вообще никогда не было выхода...

И это они, молодые игдырские храбрецы, сложили свои головы в Орговском ущелье, под Аргаджем, на дорогах Маргары и Эвджила. Проводили переселенцев до Эчмиадзина, а потом встали рядом с другими в Сардарапате, Апаране, Веди, Кешишкенде – везде, где необходимо было удержать пядь земли – хотя бы для погибших от голода и от тифа незахороненных беженцев, что остались лежать под стенами... Крошечную пядь земли, оставшуюся на нашу долю. Им ещё не было запрещено проливать кровь за горсть земли, называемую родиной. И не только не запрещалось...

Перешедший Араз народ Сурмалу разбрёлся по деревням близ Эчмиадзина, ища прибежища для себя и своих семей. А твои горожане продолжили путь до самого Еревана, оставляя после себя пух и перья своего скарба, поднимая за собой облака жёлтой пыли. Но они и подумать не могли, что ждёт их по ту сторону моста

через Зангу, в пыльном стольном граде не жалующего игдырцев Эриванского губернатора. Откуда было знать народу, согнанному с обжитого места, что, перейдя мост Маргары, он ступит на **свою землю, землю собственного государства!** Произошло чудо, но они ещё не догадывались об этом.

Среди государств, обозначенных на седой карте мира, **снова появилось** название, которое было вписано в них много тысячелетий назад. Оно огромными буквами, тянулось от берегов Евфрата до берегов Куры: Армения – Айастан... А сейчас оно берёт начало от Араза и до Куры далеко не достаёт. И пускай, пусть хоть от Араза, но оно всё же состоялось, это взаправдашнее чудо – невероятное, сказочное чудо-государство, которое создали те же армяне: беженцы с берегов Евфрата и озера Ван, обыкновенные армяне – верящие в чудо, наивные армяне...

Представляю, как изумились твои доверчивые горожане! Шутка ли! Вот так вот пришли-заявились, и выходит, не куда-нибудь, а – ни много ни мало – **в столицу...** собственного государства!

И поверил этому чуду твой народ, много повидавший на своём веку. И не только поверил, но и обрадовался, ощутил гордость оттого, что не будет, как прежде, жить изгнанником на чьей-то «гостеприимной» земле и зависеть от милостей всяких Богуславских. Он станет жить под эгидой своего государства, и не как гость, а как гражданин собственного государства и полноправный житель его столицы...

Ведь человек такое существо: он на какой-нибудь стул или стол, своими руками сработанный, и то налюбоваться не может, а тут целое государство, настоящее, своё! Со своим парламентом, своей столицей, своим трехцветным флагом и гербом, на котором красуются Сис и Масис, да ещё и с гимном, написанным на слова своего великого сына **З** :

*Родина наша несчастна, бездомна,  
Под вражьей пятою страдает она...*

Но нет, любимый мой! И не бездомна была она, и не несчастна. И хозяева у неё были, министры-нахарары, пусть немного неопытные, пусть малость горевучителя. Ну ведь у этой республики всего было «понемногу»: немного земли, немного войска, немного оружия, всего один бронепоезд, и тот изувеченный... Очень немного хлеба и очень много сирот. И гонимый отовсюду, бездомный народ... Чего было в достатке, так это врагов. Сколько соседей, столько врагов!

Да и откуда было взяться опыту, если до сих пор, на чужой земле и в стране, им не принадлежащей, из «своих» они могли иметь лишь учителей да священников.

Теперь же, пускай немного, но своё. И хозяева тут они – изгнанники из Вана, Муша, Алашкерта, Баязета, Карса, Сурмалу. Беженцы, которые застроят и превратят страну Араратскую в сад, начиная от Бюракана и Котайка до Сисакана.

И это было действительно чудо, и в особенности для наивных и простоватых ереванцев, даже не заметивших, что они на своём небольшом пяточке в центре Еревана с его знаменитой улицей Астафян и улочками, прилегающими к ней вплотную, окружены и буквально взяты в осаду турками и персами. Худо, ох как худо пришлось бы однажды этим простакам-ереванцам, не будь рядом с ними бывалых «гахтаканов». Воистину, нет худа без добра...

И Ереван постепенно обармянился, стал действительно армянской столицей, заговорил на армянском языке, на всех его наречиях – одно другого вкусней и колоритнее.

\*\*\*

Твои *гахтаканы* селились кучно: как говорится, «для козы одна коза лучше, чем отара овец». Как в Игдыре, жили рядом с родственниками, бывшими соседями. Большая часть осела на кривых улочках близ церкви Сурб Саркиса, в Конде, вблизи улицы под названием «Губернская», по берегам Гедара, в Дамр Булахе – одним словом, в тех кварталах, где давно обосновались турки. Переселенцы или арендовали их дома, или овладевали ими силой – впрочем, так же, как это делал с ними сам турок.

Эти турки, (те ещё проныры!), в отличие от простаков-ереванцев, даже без надобности приобретали по два, по три дома. К примеру, наш «хазеин», домовладелец Хаджи, имел три каменных дома и уже заложил фундамент для четвертого. Между тем его «большое» семейство всего-то и состояло из него самого, его сына Хасана с женой и внука Хусеина, у которого один глаз глядел на наш дом, а другой – в Конд, и он не успел ещё приумножить «славный» род Хаджи выводком своих косоглазых отпрысков...

Точно так же, общинами, селились и другие гахтаканы. Алашкертцы – в районе Назаровской улицы, большинство ванцев – в помещениях каравансарая «Зарабихан», причём в строгом соответствии с социальным статусом: верхние этажи заняли те, кто побогаче, с титулом «ага» (а среди ванцев каждый третий был «ага»), публика поплотше располагалась по нижним этажам. Ванцы покинули свою землю раньше нас, уходя, шли через Игдыр и искренне удивлялись тому, что игдырцы даже не думают о переселении.

Так и жили общиной твои горожане, но и тебя не забывали...

– Скажешь тоже... Конечно, не так быстро, не сразу...

Не обижайся, родной, тебя забыть невозможно, по сей день иные бредят тобой, а тогда и вовсе кусок хлеба людям в горло не лез – все жили ожиданием. Ждали, памятуя «исторические» слова своего Гарегина-ага, сказанные при опять же «исторических обстоятельствах» – во время «тайной вечера» в его доме. О том, что они «ещё погуляют и повеселятся, празднуя своё возвращение домой». Они знали, что **Дро** слов на ветер не бросает. И даже если бы твои горожане забыли, будь уверен, он не забыл бы. И ведь была в самом деле попытка возвращения, ты сам знаешь. Ведь Амаяк одним из первых ступил на землю Игдыра, когда твой хмбапет – один из командиров армии этой чудо-республики, очистил Сурмалу от турок и часть изгнанных сурмалинцев вернулась в свои разграбленные и разрушенные жилища. Но всё это длилось недолго и ни весельем, ни гулянками не сопровождалось. Нечему было радоваться...

Но каким кратким ни было это возвращение, нетерпеливый Амаяк, мой отец, всё же успел повидаться с тобой... в последний раз. И я тоже. Меня он взял, наверное, просто для компании, поскольку мать и слышать не хотела о возвращении.

Наш дом был цел и невредим, остался прежним, ты сам видел. Сосед, перс Муса Малим, сторожил его, и всё в нем было как в тот день, когда мы его покинули. Но для жилья дом уже не годился: что-то приключилось с ним, нечто незримое и ужасное... Он был как зараженный дурной болезнью. На вид казался прежним, но... И Амаяк тоже был как-то растерян, радости в лице не было, а ведь всю дорогу веселился и шутил... Теперь он примолк. На вопросы Мусы Малима не отвечал, всё ходил взад-вперёд, в дом и обратно. Зашёл в хлев, в погребе легонько толкнул крюк для сушки хлеба, и тот закачался, как маятник... О чем думал этот человек? Наверное, в его душе образовалась пустота, и он хотел её заполнить... но ничего не получалось. И ящиков с коньяком под абрикосовым деревом не нашел, а то, может, они бы и помогли...

Муса Малим тоже был растерян, молча смотрел, как отец мечется по двору, не мешал ему, ждал, когда Амаяк сам заговорит или хотя бы сядет. И когда тот наконец присел на тахту на балконе, Муса Малим тихо сказал:

– Такие дела, Амаяк, по правде, тут вам уже не жить – не получится... Так что езжай обратно – так правильнее будет ... Я тоже здесь не останусь. Нет сил снова смотреть, как они вернутся. А они вернутся...

Амаяк не слышал его, он будто окаменел. Бледный, без выражения, на бескровном лице ни грусти, ни гнева – смотрел в одну точку застывшим взглядом, и из глаз у него текли слёзы. Не капали. Текли... Тяжелая, жестокая это штука – видеть слёзы отца...

Вот так и случилось, что наше возвращение не состоялось.

Все были сломлены, не только Амаяк. Все уже знали, что турки вернутся. Ни наш хмбапет, ни даже вся наша республика не смогла бы удержать Сурмалу. Ей едва хватало сил сопротивляться обнаглевшим соседям. И возвращение это было поспешным, непродуманным, неразумно оптимистичным... Совсем не в нашем духе. Армянам нельзя быть оптимистами, нам это не дано. Но ведь человек не может жить без надежды, так что не надо искать виноватых, милый мой. И не вини своего хмбапета за нетерпение: его сердце тоже болело о тебе...

О, если бы осуществилось то, чего он хотел! И ведь нужно ему было совсем немного: хотя бы Сурмалу, Араз с обоими берегами, Орговский перевал, прежняя граница... Самая малость. Ровно столько, сколько он наверняка сумеет удержать. Так же думали и его единомышленники – полковник Перекрестов и Карельков. Они тоже были в нетерпении, тоже не могли смириться с мыслью об изменении русской границы. С тем, что можно вот так, добровольно, отдать границу турку... А как же клятва, данная государю? А воинская честь?.. Не случайно и не удивительно, что, служа новой республике, они верили в то, что защищают границу русского государства, храня свою воинскую честь и верность присяге.

Таких же убеждений придерживались армяне, служившие в императорских русских войсках. Оставившие Карс, турецкий фронт, но еще не разуверившиеся, они поспешили создать новую армянскую республику, стали для неё тем надежным оплотом, необходимость которого была так важна и поистине бесценна...

Эти регулярные войсковые части были везде, где нам приходилось туго. А наше положение к лучшему не менялось. Но даже одного их присутствия было достаточно, чтобы наши бойцы, не имеющие обмундирования, орудуя винтовкой, снятой с убитого товарища, совершали чудеса. Однако даже чудо наверное не спасло бы нашу республику. Чудо случается только раз, и оно уже случилось...

И уж если сосед позарился на то, что принадлежит тебе, остается либо плюнуть и уйти, либо... Но другого «либо» не существовало. Шла война не на жизнь, а на смерть, они воевали с отчаянной храбростью, и воевали... против своих недавних

«единомышленников», которые в Карсе, на турецком фронте, предпочли не стрелять – сэкономили патроны, а теперь сэкономленными патронами стреляли по вчерашним союзникам. Эти мусаватистские выкормыши «революционера» Кемаля-паши – те же турки, только немые, весь этот продажный сброд готов «героически» сражаться – если б не печальная перспектива подохнуть в бою. И впереди них пусть всякий раз шагают почуявшие запах нефти германские и английские «спасательные» отряды, турецкие аскеры или... русское войско – «славная» освободительная самая Красная на свете 11-я армия под предводительством Орджоникидзе и Кирова. А их трусливые своры скромно потянутся следом, разоряя и обирая безоружные, беззащитные армянские деревни, как шакалы, охочие до падали...

А в это же время в Карсе, втайне от простодушных армян, хитрые лисы-союзники прилежно собирали с пашей «бакшиш», чтобы в Тифлисе поделить его между всеми членами сейма. Так они «союзничали»...

И другие наши «союзнички» – эти князья «батано», наши тысячулетние соседи-христиане, которые, не сводя алчных глаз с Алавердских медных рудников, дойдут до самого Санаина, но оттуда, оставив свой единственный бронепоезд лорийским крестьянам, побегут сверкая пятками и переведут дух, только спрятавшись под юбки своих калбатано...

И когда Дро с Перекрестовым займут *Навтлуги* и останутся на высотах Авлабара, князь Чхенкели, подхватив портки, побежит к Дро улаживать «недоразумение» приглашением на пышное застолье «*ахали супра*» в роскошных залах гостиницы Арамянца до самого рассвета.

Можешь представить себе, какие проникновенные речи будут сказаны, какие сердечные тосты произнесены распалёнными кахетинским вином батано-князьями. А что сказал бы твой горожанин Арчил Нестерович, бессменный тамада твоих застолий, почитавший святость куска хлеба, разделенного с другим? Сказал бы: позор! Стыд и срам! Арчил не был князем, он был обычным грузином, который жил рядом с таким же, как он, обычным армянином...

А вшивые ханы, устроившие «поход» на Карабах и Зангезур, каждый раз, получив под зад от Нжде, будут совершать намаз в Гяндже и Нухи...

Ах, если бы «врагами» нашей республики были они! Так в кавычках бы и остались... и надолго остались...

Одним словом, милый Игдыр, не буду надоедать тебе этими историями, в которых сам черт ногу сломит, так всё перемутили и запутали. Кому они сегодня

нужны! В те времена было так нужно, чтобы они – глаза завидующие, руки загребущие – нам не то что помогли (подавились бы своей помощью!), но хотя бы не мешали... Говорю тебе всё это, просто чтоб ты знал, каково пришлось твоим горожанам в столице, которая им так понравилась. И да будет тебе известно, милый мой, они не понимали, да и не желали понимать, как тяжело им живется. Твердо знаю, они не из тех, кто ноет и хнычет, и предпочли бы умереть, чем обвинять других в бедах, что свалились на их голову. Нет у них привычки ныть-зудеть или, как они говорили, «сверещать». (Единственных в Игдыре обладателей этого качества, Ордуханянов из рода моей бабки Банавши, прозвали потому «сверчками»). Уж не знаю, как ты, но я своих соотечественников мало сказать люблю, я просто без ума от них и горжусь ими – и как не гордиться! Взять хотя бы моих ночных посетителей, которые, забыв о своей горькой доле, молят об одном, и в грустных глазах единственный вопрос, обращенный к тебе:

– Ну как ты там, нас не забыл? Не то гляди...

И разве важно, что они всего лишь тени?.. Важно, что для меня они живые, и покуда буду я – будут и они. Непременно будут, потому что живут на свете их внуки и правнуки, и пусть вся выпитая мной вода Араза будет мне не впрок, если они тебя забудут...

А ты не огорчайся, не «сверещи». Пусть они хорошо чувствуют себя в столице, своей столице – покуда она своя. Это будет недолго, родной: наступит опять проклятое «потом...», и снова они не будут ни жаловаться, ни «сверещать», как бы трудно им ни было – безбожно трудно, и даже имя твоё трудно станет поминать... Твои горожане дармоедами для республики не будут, каждый из них в меру своего ума и умения найдет себе дело: ремесленник будет при своем ремесле, земледелец – при земле, торговец – при своей торговле. А их сыновья, молодое поколение, не станут ждать мобилизации – с собственным оружием, в мундире или без, пойдут воевать туда, куда пошлёт республика, а потом они и их родители будут воздавать почести погибшим, и некогда им будет подумать о том, что даже чтоб погибнуть на войне нужно везение...

Но пока оно не настало, это самое «потом», у твоих горожан не то что подумать, даже нос утереть времени не было. По существу, сурмалинцы оказались последними массовыми переселенцами с земли, называемой «Русской Арменией», и если более ранние гахтаканы смогли перевезти лишь то, что смогли унести на себе, то исход твоих горожан, и вообще сурмалинцев, можно назвать «чрезвычайным», но отнюдь не неожиданным. Ты знаешь, что они в своих домах

мародёрам на поживу и щепки не оставили. Даже мой не слишком расторопный отец, к изумлению мамы, с несвойственной ему «дальновидностью» успел до переселения перевезти свой «торговый дом» в Ереван.

И, наверное, знаешь, что *уста* Микаел из Секоянов, которых звали еще и «Табакенц», поскольку отец уста Микаела одно время торговал табаком в Тифлисе, – так вот, уста Микаел оставил в Игдыре только пару совсем негодных, проржавевших повозок, а в Ереване заново открыл свою мастерскую – «каретный двор». А устабаши Аветис, зная, что прбывшие нам на смену придут не затем, чтоб заняться шитьём, не оставил в Игдыре ни машинку, ни рулоны сукна, и даже утюг не забыл, и он тоже открыл швейную мастерскую и принимал заказы, в частности – одел столичных фаэтонщиков в роскошную униформу.

Влас или Одабашенц Ерванд не могли прихватить с собой свои заводы. Но Влас привёз собственные рецепты лимонада и стал работать на заводе прохладительных напитков местного богача Гиланянца в качестве «главного консультанта». Моя тётя Овсанна до блеска начищала ему штиблеты и наглаживала крахмальную сорочку, а он вынимал из кармана огромные, как блин, часы «Саркисов», сверял по ним время и, не дожидаясь заводского гудка, заявлялся в контору даже раньше самого Гиланянца.

Тер-Месроп стал старшим священником в Сурб Саргисе и опять не успевал «вытереть нос», так как не уменьшалось ни число рождений, ни смертей, и его воскресные проповеди сделались еще более содержательными...

Рождение второго сына Арзуманенц Тигран праздновал уже в Ереване, но не с доол-зурной, поскольку зурначи «Блдух Оганес» остался в Игдыре, упокоившись рядом с отцом на кладбище Св. Геворга.

И так все твои горожане чем-то занялись, даже Хоро-дадо была «при деле» – продавала горячие «лаблабу» носильщикам на площади.

И пусть тебе не покажется обидным, что после Игдыра твои жители все так быстро «устроились», стали ереванцами... Не стали, любезный, разве твоих упрямцев так уж легко переделать? И пока держалась **их** – да-да! **их** республика, они тоже держались, и как раз тогда твоё имя стало употребительнее, чем жвачка... Лучше бы не становилось...

Они просто запомнили, позабыли о том, что может случиться «потом». Что и говорить, твои горожане вели себя совсем не как изгнанники, можно даже сказать, нескромно держались, важничали: и то сказать, шуточное ли дело, когда в парламенте сидят их земляки! Они и от природы немного заносчивы были, с

гонором, а тут и вовсе загордились, задрали носы и так вразвалочку фланировали по Ереванскому бульвару, по улице Астафян. Как говорится, совсем голову потеряли от собственной республики...

И Боже милостивый, отчего бы им не восхищаться и не гордиться! Сколько можно, оставив все дела, заниматься «устранением» Богуславских?! Теперь они наконец оказались в своем государстве, в такой желанной, долгожданной своей республике. И если они могли благодарить удачу за то, что живут под покровительством своего государства, то самому этому государству не повезло ни с покровителем, ни с удачей...

С самого своего рождения оно стало бельмом на глазу для всех, и не только для соседей – его вчерашних «союзников», но и для весьма отдалённых крупных христианских держав, которые в одночасье просто сна лишились от такого неожиданного, «незапланированного» появления нашего государства...

Ведь, родной мой Игдыр, они собственную выгоду и грошовый интерес ставили превыше всего и в своё время изрядно потоптали нас своими полированными копытами. Наконец будучи уверены, что нас больше нет, что мы истреблены, стёрты с лица земли и не будет больше ни армян, ни головной боли, называемой «армянским вопросом», облегченно вздохнули, донельзя довольные собой. И вот вам пожалуйста! Как сорняк из-под камня, армянин выдал росток и снова стал головной болью... А уж нашу голову и головную боль Бог, видно создал нераздельными... Да и что за государство без головной боли, без сердечных колик!

Так, милый ты мой, оно и было... Едва мы встали на ноги – и уже стали просто-таки замечательной, мировой головной болью. Мы всем мешали, как мешали всегда, долгие тысячи лет. Да и как тут уснёшь, когда армяне стали таким же современным государством, как они сегодня! Когда и у армян есть свой парламент, министры, армия, флаг... и деньги, бумажные деньги, а на них, глядите, какая жалкая, нищенская картинка! Прялка и женщина с веретеном, ванская женщина или из Муша. И кто знает, что они задумали, эти армяне, если войско аж в Баку послали... За нефтью послали, не для себя – сами при масляных светильниках живут, – а чтобы помочь бакинским комиссарам заполучить нефть для России...

Конечно, армяне им мешали, тут и думать нечего... И чего мы ждали? Благодарственных телеграмм на имя *Хатисова* или *Врацяна* от учуявших запах нефти германских и английских господ или пашей?

Но хотя бы в рядах тех, кому мы так мешали, не было б России, этой «красной» России, «принесшей свободу угнетенным нациям». Хоть России бы мы не «помешали»...

Но не вышло, и ей мы мешали: остались ещё Богуславские, только цвет поменяли, стали красными, и новые Богуславские предпочли увешанных драгоценностями пашей, «революционных» турок, объявивших войну «империалистической» Армении. И чем же провинилась эта Армения, провозглашенная «империалистической»? Как сказал бы *Храбрый Назар* или князь Сако, лишь тем, что не желала отдавать клочок земли, который у неё остался...

И смотрите: она строит мосты, приводит в порядок дороги, открыла больницы, приюты для сирот, школы, гимназии, университет. Да, ни много ни мало – университет! И нет у этого «империалиста» недостатка в профессорах, в педагогах. Они съехались отовсюду, оставив налаженное житье, и за фунт хлеба служат своей «империалистической» родине. Одним словом, не желает она добровольно кануть в лету. Не пресытилась еще, не наскучили ей тысяча и одно тысячелетие, и снова потянулся ввысь росток новой жизни, и опять она, как сказочный Ваагн, явилась на свет из огня...

Только столько и успела она сделать, милый мой Игдир, за два с половиной года большего и не могла успеть, эта наша чудо-республика – наш дом, подоженный с четырех сторон... Не дали сделать больше... Упали на колени, милый, как обессиленный бык под непосильным ярмом падает... чтобы больше не встать. Сделал еще одну попытку встать – не получилось... А когда не быка – страну, государство, ставят на колени, и говорят, что победили... Ну, а кто победил, так и не узнали мы этого «победителя», чтоб сказать – вот этот пришел и победил...

Короче, чем сказал сам Цезарь... Да только не кому-то одному мы мешали – многим, и сколько ни пытались знатоки «пролить свет» на эту «историческую загадку», не прояснили, только напустили тумана и ещё больше запутали. Было в их объяснениях что-то от великого лорийца Габо-бидзы (старика Габо) и истории с его шелкопрядом... То телка слишком близко привязали, то куры склевали, то дождь из ердика пролился – и весь на коконы... Короче, наш «шелкопряд» тоже не выжил, не вынес всех этих стихийных бедствий – так называемых «неблагоприятных условий»...

И не в одних соседях, ближних и дальних, было дело. Мы сами тоже дали маху, как сказал бы господин Еприкян. Мы, вернее, выдвинутые нами (и не нами) «комитетчики», раньше всех переселенцев прибывшие в Ереван, успели устроиться в столице, протиснуться в парламент и ещё бог знает куда. «Комитетчики» вырывали друг у друга портфели. Особенно самые рьяные, самые революционные и архипринципальные. Все провозглашали себя «спасителями», эти невезучие комитетчики, заражённые нашей застарелой армянской болезнью – разобщённостью. Все вместе взятые, они не стоили и ногтя своего народа. И не стоило верить любвеобильной велеречивости, с которой они били себя в грудь – особенно те, «проклятые», по словам твоего Тер Месропа, которые считали себя спасителями своего легковверного народа.

Они тоже были армяне, в конце концов, тоже любили свой народ, не все же были Ависами или Атарбекиянами, были и среди них истинные патриоты. Но страдал от этой «любвеобильности» всё тот же несчастный народ. И здесь не повторишь презрительные слова древнего римлянина: «Народ, достойный своего кесаря». Потому что он, наш народ, был на голову выше своих «кесарей», своих правителей. И даже этих двух с половиной лет не прожила бы эта чудо-республика, если б её народ не был так околдован, так очарован своим творением...

– Но что им было делить? Ведь, как ты сам говоришь, у всех было одно желание, одна мечта – государственность, и эта мечта исполнилась...

Кто его знает... Ей нечего было дать им, нечем накормить, а они болели. Страдали неизлечимой болезнью – видимо, у других народов такой болезни нет... Она называется «отсутствие единения», и вакцины от неё нет, это старая, закоренелая болезнь, и лечить её никто не хочет...

Но, родной, были и другие недовольные – простые и «беспринципные», скажем, такие как мой дед Гриш и ему подобные.

Мой «беспринципный» дед мог и не состоять в списке недовольных. Но его до глубины души возмутило бессердечие, жестокое отношение к нему в деле сугубо личном. Дед поехал в Кешишкенд, чтобы забрать домой тяжело раненного сына, моего дядю Аршалуйса, – может, каким-то чудом удастся его вылечить... Так и не отдали. Сказали – пускай здесь умирает, как защитник родины...

Почему «пусть умирает»? Ведь мой любимый дядя вполне мог бы вылечиться... А дед привёз его одежду, чтобы его молодая жена Шогакат, и сёстры, и моя мать поплакали над ней...

Мой дед Гриш ругаться не умел, но Аршалуйс был последним... Дед собрал своих сирот и невестку и уехал в далёкий Ташкент. Ругаться, оказывается, умел, сказал:

– Я с этими разбойниками жить не смогу...

\*\*\*

Но самые главные недовольные были ещё в пути, только-только дошли до Иджевана, все ждали их, кто со страхом, кто с надеждой, кто с тоской...

И однажды утром по единственной мощеной дороге, сбегаящей с высот Канакера, по которой в самую рань в Ереван шествовал караван ослов, груженных ишханом, – так называемый «кяварский поезд», – по этой самой дороге подликующие звуки духового оркестра вошла в город... славная 11-я Российская Красная Армия: впереди на гарцующих конях покачивались в сёдлах красные комиссары в куртках из черной кожи, с маузерами и саблями на боку, а с ними...и наши главные недовольные, «армянские спасители номер один»...

Вошли и, как оно и должно было быть, поднялись на «вакантный» балкон парламента, чтобы передать «пламенный привет» и прокричать свои речи ереванцам, которые с нетерпением ждали их, разинув рты, с языками, присохшими к гортани...

\*\*\*

Что касается нас, детей, мы, абсолютно всем довольные, бегали по нашему Конду и Зарабихану, утирая соплю рукавом, и рано утром, будучи основной частью населения, сопровождавшего духовой оркестр, мы двинулись к площади. Мы бежали к парламенту, не отставая от русских и армянских красноармейцев в «колпаках»- островерхих буденовках, чтобы послушать очередную речь и поддержать своим детским щебетом шум и гвалт толпы на Бульваре, которая курила махорку и больше кашляла и плевала на тротуар, чем подхватывала лозунг «Да здравствует независимая Армения!»

Ах, эта несчастная Армения...

И, что удивительно или, вернее сказать, странно, любимый мой Игдыр, но мы, привыкшие к душераздирающим воплям наших министров, в этот день, когда с того же балкона выступали красные комиссары в черных тужурках, смешивая русские и армянские слова, так что дымившие махрой и позёвывающие ереванцы ничего из их речей не понимали, с той же готовностью и воодушевлением подхватили не «Да здравствует независимая Армения!», а долгое, раскатистое

«Уррра-а-а-а!» До хрипоты. В унисон с русскими, которые «Ура» кричать были недюжинные мастера...

И мы знать не знали, да нам и не было никакого дела до того, что на самом деле «произошло». Знали одно: когда с этого балкона раздаются речи, будь добр, или аплодируй, или кричи, одним словом, проявляй своё отношение. А что произошло или должно произойти – этого даже курильщики махры не понимали, только смотрели по сторонам да глазами хлопали.

Но мы не слепые, и нам тоже было ясно, что «что-то случилось» .

Ни министров не было...

Ни нашего красавца трехцветного флага...

Ни герба с изображенными на нём Сисом и Масисом, который был укреплен над балконом...

А речи и вовсе были непонятные. И, что самое главное, никто не стал петь «Родина наша...», вместо этого русские парни затянули какую-то песню, и слова у неё были незнакомые, и мелодия совсем не та...

А флаг был целиком красный, и речи произносили хмурые, сердитые люди, и большинство слушающих были в островерхих шапках. В таких же были и армянские солдаты, и они тоже были сердитые и совсем не походили на русских солдат, синеглазых, светловолосых, с рыжеватой щетиной, радостных, с улыбкой на лице. Те без конца шутили с нами, раздавали нам сахар, доставали из вещмешков буханки белого хлеба, дарили красные ленточки. А наши стояли набывчившись, с мрачными лицами, будто на похороны пришли.

«Господи, спаси и помилуй!» – как сказала бы Хоро-дадо, если бы там была.

Даже этих перемен было довольно, чтобы мы, сопливые мальчишки, осознали, что «что-то» действительно произошло, и что это «что-то» очень важно.

Очень скоро станет ясно, что перемены произошли не только на балконе парламента.

Это было только начало...

\*\*\*

Речи этого дня закончились. Войско затянуло другую песню, повеселее, со свистом, и, грохоча сапогами, ушло в сторону казарм. Народ в задумчивости побрел по домам, а мы с шумом и гвалтом устремились в Зарабихан, к закоулкам вокруг церкви Сурб Саргиса.

На улицах было мало народу, магазины закрылись, женщины стояли у дверей домов и, по-видимому, обсуждали происходящее. А у наших дверей, на Банной, 8,

то есть у дверей дома Хаджи, торчал он сам, почесывая жидкую крашеную бородёнку, и... улыбался. Вы на него посмотрите! Улыбается, значит рад. Но чему он так радуется? Родных, что ли, увидел? Когда с нами, беженцами, знакомился, такую рожу скривил, словно глотнул уксуса. А теперь стоит, во весь рот улыбается...

Как можно незаметней я поднялся к нам, но дома никого не было. Я решил, что наши пошли к Вали, и перелез на их балкон, тот самый, с которого он совершил свой благополучный «прыжок», пошёл к открытой двери, намереваясь войти, и... остолбенел.

В доме было шумно, раздавались весёлые голоса и смех, видимо, шло застолье, что, впрочем, вовсе не удивительно: Вали был известный кутила, любил поесть-выпить и повеселиться. Но о каком веселье могла идти речь в эти дни в доме игдырца, когда многие из твоих горожан, родной мой, уже перешли Араз, уходя в направлении Тавриза! А этот Вали, будучи игдырцем, преспокойно сидел себе дома, и в этом доме шло пиршество!

Но еще удивительнее было то, что за длинным столом, во главе которого всегда восседал сам Велибек, теперь сидел (или, может, стоял) некто светловолосый и синеглазый, на манер русских, в черной кожаной тужурке, с кубанской папахой на голове. Но на русского похож не был – над его усами нависал довольно солидный орлиный нос, совсем как у Вали, но лицо было не сердитое, улыбка до ушей и – о Боже! И «этот» тоже держал речь!

Я испуганно попятился, думая незаметно улизнуть. Но меня схватили за руку, втащили в комнату и смеясь усадили за стол. И тут только я заметил, что и справа, и слева от человека в кожанке сидят наши: мой отец Амаяк – да, мой отец, который ещё утром думал об отъезде в Тавриз, а сейчас вот сидел, склонив над столом кудрявую голову, и ковырял вилок в тарелке, а Вали... Вали, развалясь на стуле, попыхивал своим длинным, красного дерева, чубуком, усмехаясь в усы блаженной хитровой улыбкой.

Потом я заметил маму, часто-часто утиравшую глаза уголком головного платка, но она тоже улыбалась. И ванеци Дикран там был, и Аршо с красавицей-женой Осанной, и даже Хоро-дадо, которая не слушала оратора, говорившего на «непонятном» армянском языке, и о чём-то болтала с соседями.

Это была, любимый мой Игдыр, ещё одна перемена – удивительная чудо-перемена, в которой участвовали уже твои почтенные горожане.

Вот, пожалуйста, сидят, радостные, смеющиеся, немного навеселе. Пируют, будто ничего не случилось! Боже милосердный, что за народ эти игдырцы! В городе, на улицах всё вверх дном, а эти...

Однако удивляться нечему: после парочки рюмок игдырцы и поминки могли превратить чуть не в свадебное застолье, и наверное собравшимся здесь безразлично, кто толкает речи с парламентского балкона: министры – наставники народа или угрюмые комиссары.

Такими их создал Бог: дай им минуту передышки, чтобы вытереть пот, разогнуть спину, и... Вот и Хоро-дадо, кажется, как раз об этом и разглагольствует с соседом.

– Ничего-то нам не надо, одного у Бога просим – мира, покоя, а мы что, не проживем, что ли? Руки, поди, целы, работать умеем...

Но от Бога, я думаю, уже ничего не зависело.

Ничего общего с Богом не имели наши армянские «комиссары», прибывшие с русскими, с армией. Они были чем-то раздражены, очень сильно раздражены. Но хоть бы кто спросил, против кого?

Может, сердились на нашу «империалистическую» республику, которая два года не на жизнь, а на смерть билась со своими разъярёнными соседями? Или на министров-нахараров, которые давно достигли Тавриза? А они сами? Где они были все это время, что сделали для своей страны, со всех сторон объятай пожаром войны, или для своего народа, погибающего от голода и эпидемий...

Может, они воевали в Карсе или Сардарапате, Апаране, Кешишкенде, рядом с моим дядей Аршалуйсом?

Ведь они считали себя патриотами, патриотами номер один... И имели в парламенте своих представителей...

Или они ждали? Чего? Спросить бы их – но никто не спрашивал, а даже будь так, им наверное ответили бы:

– Победителей не спрашивают.

А кого они победили? Измученных, сломленных гахтаканов? Свой столь «любимый» народ?

Древняя мудрость гласит: не положен лавровый венок воюющему против своей родины.

И благодарение Богу, что они пришли с русскими... Могли ведь и с кем-то другим. И отчего им не быть злыми и разгневанными?

Устабаши Аветис часто повторял: «В гневе решений не принимают». А они... они приняли решение в гневе, в сердцах, не раздумывая, не взвешивая, наказали без разбора и правых и виноватых, жестоко и неразумно. И особенно жестоко они обошлись с твоими горожанами, родной, особенно с молодежью, твоими ребятами-«маузеристами»...

А ведь именно с этим оружием в руках они выстояли против турок. Воевали и погибали, бывали ранены и порой чудом выживали. Выходит, зря... Наверное погибнуть в бою было бы большей удачей...

Может, они не знали или просто не желали знать, какие ужасы рассказывает о них народ, напуганный чудовищными слухами.

Не одни ведь министры бежали в Иран. Обычные учителя, преподаватели университета, студенты, простые граждане. Если даже мой отец Амаяк собирался – благо, не привелось. При том, что, как он сам говорил в подобных случаях, «за всю жизнь муравья не раздавил».

Да только кто бы стал спрашивать, раздавил – не раздавил. Достаточно того, что ты игдырец – значит «маузерист».

Для игдырцев, повидавших на своем веку столько богуславских, это не Бог весть какая новость. Но для **этих** правых и виноватых не существовало: в каждом гахтакане они искали и находили виновного.

Вот раздолье настало для стукачей! Даже имя твое произносить было опасно! Но даже не это важно, любимый.

И твое имя, и нас когда-нибудь забыли бы, как это и случилось позднее. Но, к сожалению, они и своё имя не больно любили вспоминать. А ведь это имя – «спасатели», как они сами себя называли – было высоким званием, оно обязывало. Ведь они шли спасать своих родных, своих сирот, своих переселенцев. Откуда же взялось столько жестокости, злобы и ненависти? Хуже чужих – равнодушнее, бессердечнее.

И случилось то, чего могло и не быть.

За какие-то несколько месяцев им «удалось» оттолкнуть, настроить против себя людей, едва прилепившихся к своей земле. И переселенцы поднялись на ноги.

\*\*\*

Одним холодным февральским утром случилось и это. Народ, чудом спасшийся от чудовищной турецкой бойни, раскололся – вернее, его раскололи и подняли друг против друга...

Дело в том, родной, что в этот февральский день, в наш обычный день игдырского *Трндеза* – день *Тиарэндарача*, как обычно, в нашем дворе и во всех дворах к вечеру разожгли костры, стар и млад собрались вокруг костров, чтобы танцевать и веселиться по примеру своих предков-язычников. Молодым невесткам полагалось прыгать через огонь, чтоб рожали сыновей, – словом, обычный трндез, когда и шутихи летели в небо, и колокола Сурб Саргиса радостно звонили, а по игдырскому обычаю праздник без выстрелов не праздник. И выстрелы были. Но, против ожидания, со временем не смолкли, а, наоборот, как-то зачастили, а потом и вовсе переросли в залпы.

И тогда, родной мой, твои горожане, много чего повидавшие на своем веку, догадались, что опять «что-то происходит». И растерянные, напуганные, разбежались по домам, заперли окна и двери, и праздник смолк, словно осквернённый, и веселье прекратилось.

Потом звуки выстрелов стали глуше, удалились куда-то к казармам, а со стороны вокзала загрохотали пушки и гремели всю ночь, до самого утра.

Произошло то, что должно было произойти, не в этот день, так в другой, но случилось бы непременно, каким бы «неожиданным» или «непредсказуемым» ни казалось это самонадеянным «комиссарам», которые, «поджав хвост», отступили в направлении Камарлу и Ведибасара.

На следующий день после испорченного праздника нас, детей, уже невозможно было удержать дома или в своем дворе. Ещё слышны были одиночные выстрелы со стороны казарм и ущелья реки Зангу, и мы понеслись гурьбой, чтобы разузнать, что же, в конце концов, произошло.

Но нами двигало не одно любопытство, был у нас ещё и вполне бескорыстный, невинный интерес – набрать пустых стреляных гильз для игры: они заменяли нам орехи, которых зимой не достать (была у нас такая игра с орехами).

Сейчас я поражаюсь этой нашей наивной храбрости. Ведь кому-нибудь из нас вполне могла достаться шальная пуля, когда мы спускались в ущелье рядом с мостом, где нет-нет да и раздавались выстрелы то с того, то с другого берега Зангу. Во всяком случае, мог бы найтись какой-нибудь дурак среди стреляющих друг в друга армян, ну и...

Но в этот день дураков не случилось, с обеих сторон реки падали исключительно сознательные, крайне сознательные армяне.

И вот так, где стайкой, где гуськом, пригибаясь к земле, мы проскочили мост под свист пуль, которые, казалось, проносились прямо над нашими головами

(хотя в действительности было не так и мы могли даже не нагибаться). И когда мы дошли до места, были чуть ли не разочарованы. Вместо храбрых воинов мы увидели обыкновенных людей, крестьян разного возраста: молодых и пожилых. На небольшом расстоянии друг от друга они выстроились в ряд вдоль невысокого ограждения и на нас не обращали никакого внимания. С угрюмыми лицами, молчаливые, небритые, с всклокоченными волосами, они очень напоминали тех, что пришли к нам в сад «за пожитками», как сказал Хачо. Стреляли спокойно, неспешно. Только один из них показал рукой, чтоб мы пригнулись. В нашу сторону они даже не смотрели, стреляли в сторону Шустовского завода, а оттуда в них стреляли сюда...

Последние выстрелы как будто смолкли. Спустя какое-то время эти молчаливые, неразговорчивые мужчины подогнали откуда-то телеги, запряжённые волами и, как люди, знающие свое дело, без единого слова разместили раненых в отдельной повозке, и те тоже молчали, даже не стонали. А убитых уложили в две другие повозки, рядышком друг с другом, словно в обнимку. Ах эти убитые!.. Они совсем не походили на мертвецов, скорее на заснувших от усталости людей, только очень бледных... одни с закрытыми глазами, другие – с выкаченными, и синее небо отражалось в них. Пожилые и молодые. Очень красивые, особенно один, которого положили сверху. Почти подросток, долговязый, худой, золотоволосый, кудри пристали к потному лбу. Глаза закрыты, но наверняка голубые...

Телеги с горестным скрипом двинулись и поехали впереди, за ними, как в похоронной процессии, шагали с непокрытыми головами эти молчаливые люди, погруженные в свои мысли. Мы пошли вслед за ними, поднялись по мосту в сторону Шустовского завода, напротив которого были сиротские приюты.

Когда процессия достигла небольшой площади перед заводом, ей наперерез выскочил стремительный конный отряд, впереди – всадник на белом коне, который очень спешил.

Шествие остановилось, люди на площади хлынули к телегам, столпились вокруг, а всадники спешили и вслед за своим предводителем торопливо приближались, и впереди всех скакал тот же всадник на белом коне. Боже мой! Я не поверил глазам... Это был он, точно он! Человек, который приходил тогда в наш сад: то же лицо, излучающее свет, тот же рост – на голову выше всех остальных...

И я замер на месте. Я узнал его! мужчина с ласковой улыбкой, которого я стеснил своим присутствием. Который спросил у Хачо, проглотившего язык от волнения, не его ли я «малец», а потом нежно коснулся моего перевязанного плеча и сказал: «Не помешает, не помешает»...

Его было не узнать: лицо искажено волнением, рычит, как зверь, потерявший детёныша. Он быстро шёл к телегам, рассекая толпу, покорно расступавшуюся перед ним.

Наверное, ему сообщили о чем-то... В мгновение ока он оказался на телеге и, раскинув руки, приник к золотоволосому юноше, сотрясаясь всем своим большим телом...

Воцарилась тишина, был слышен только глухой рык этого крепкого, как скала, сильного человека – плач мужчины, который на плач никогда не похож...

И вдруг!.. в следующий миг он выхватив маузер и разрядил его в воздух, в здания справа и слева, в застывшее февральское небо!.. Подоспевшие телохранители помешали ему, не дали совершиться непоправимому...

Охваченный ужасом, я обнял какое-то дерево, бился головой о ствол и скулил, как щенок, – наверное, как моя Занги, когда узнала, что Зранги пропал...

Кто был этот горестный мужчина? Кем приходился ему этот юноша, сыном или младшим братом? Или, может, его молодым телохранителем? Неважно. Он погиб, пал жертвой, невинной жертвой, и убила его пуля такого же армянина, как он сам.

Как жестока бессмысленная смерть!.. Непрожитая жизнь, дающаяся человеку один-единственный раз, но не оставившая после себя даже памяти...

Все погибшие в эти холодные февральские дни остались безымянными и безвестными, и не просто забытыми – не заслуживающими упоминания, так же как павшие в Сардарапате, Баш-Апаране и много где ещё...

\*\*\*

Мы с другом ехали по приглашению секретаря райкома к берегу Араза, за колючую проволоку, в деревню, половина которой находится на нашем берегу, а вторая – на другом, прямо в месте, где сливаются друг с другом Араз и Арпачай. Он хотел показать нам эту странную, «рассечённую пополам» деревню.

Пользуясь приглашением, я смогу вблизи, с берега увидеть «Мать-Аракс», а то и глотнуть пригоршню-другую воды, которую пили полвека назад в Игдыре, зачерпывая из ручьев. Скоро осень, и вода родников и ключей Бингёла должна быть кристально чистой, прозрачной.

Я смотрю на Араз. Он выглядит довольно маловодным, нешироким. Мысленно я прикидываю, что одолею его вплавь за полторы-две минуты и окажусь под высокой горой, на вершине которой тянутся к небу развалины древней крепости. За этой горой справа расположена гора Кохба – Такалту, на склонах которой и раскинулся сам Кохб, утопающий в зелени своих садов.

Кохб... Ведь моя мать была из Кохба, пришла невестой оттуда, и это имя для меня такое же родное.

Дома Кохба не видны, укрыты голубой дымкой, не будь её, я показал бы вам магазин своего деда, Гриша. Магазин стоял посреди села на небольшой открытой площади, и зелень деревьев не мешала бы разглядеть его совершенно отчетливо: большой «трехглазый» магазин со складными ставнями, выкрашенными в голубой цвет. Кто знает, есть он сейчас или нет, не видно...

Стоит августовская жара, но в Аразе нет купающихся, ни на нашей, ни на той стороне. Странно, правда? Рядом с деревней течет река, прохладные, чистые волны Араза, толкаясь, играя, бегут мимо... и никто не купается.

Бедный, бедный мой Араз! Тебя лишили и этого удовольствия – быть просто рекой. Даже в водах принадлежащей нам половины мы не можем *«резвиться с рыбами»*, играть с волной. Нельзя!

И даже песню забыли – кто поёт её сейчас? Она как раз про тебя теперешнего:

Араз несётся мне навстречу,  
Биясь с утёсом берегов...

В этой деревне всё кажется мне странным, от разлитого вокруг вселенского покоя до какой-то почти осязаемой тишины.

Собаки и те здесь лают вполголоса, либо не лают совсем. Люди не кричат, окликают друг друга, не переговариваются громкими голосами, как это принято в деревнях...

Всё это напоминает ритуальное действие, что-то вроде пантомимы. Но так кажется, наверное, только мне, потому что, когда я сказал об этой «странности» секретарю райкома, удивление на его лице медленно сменилось грустной улыбкой. Помолчав немного, он признался, что ему тоже так казалось вначале, когда он впервые очутился в этой деревне, существующей как бы «вне игры».

– Видишь ли, дорогой, – стал объяснять секретарь райкома, – это всё в тебе самом, а деревня самая обыкновенная, ничего странного в ней нет. Помнишь, мы ехали мимо развалин на том берегу – ты ничего про них не спросил. А ведь это было село с названием Сурмари – эти руины стен, наполовину ушедшие в землю

домá. Ты прошёл мимо, не спросил, не ужаснулся при виде этих развалин, а я каждый раз, проезжая, вздрагиваю. Не хочется так говорить, но твой Игдыр... ему же ничего не сделалось. Стоит себе, где стоял, а вот Сурмалу... Еще немного – и совсем с землей сровняется, будто и не было никогда...

И он рассказал об одном знакомом нам обоим высокопоставленном сановнике из этого села, который, по праву должности, имел возможность в любое время приезжать к родным развалинам. Он приезжал, садился против этих руин («Вот на этот камень», – показал секретарь райкома) и... плакал. Тихо раскачиваясь, горько и жалобно напевал что-то, похожее на песню, затем вставал, и, тяжело и громко вздохнув, двумя ладонями утирал слезы и с виноватой улыбкой уезжал в Ереван...

– Из деревни Сурмари был этот почтенный человек, твой земляк. Я смотрю, у тебя тоже глаза на мокром месте... Ради Бога, только не плачь, прошу тебя... Ведь мать моя тоже была из этого села, а вот я уже в Ереване родился...

И затянул глухим, срывающимся голосом ту самую горестную песню:

*«Змея обвила судьбу твою,  
Ах, Сурмалу, ты мой Сурмалу...»*

Село это, как я уже сказал, лежало у слияния Араза и Арпачая и, можно предположить, было когда-то довольно большим, так как половина его располагается на другой стороне реки и там живут турки, обычные турки. А Арпачай не Волга, и эти две половины разделены всего пятнадцатью-двадцатью метрами воды. Каждый божий день жители этого располовиненного села, хотят этого или нет, могут (вынуждены!) любоваться друг другом. У меня это просто в голове не укладывается, я бы точно с ума сошёл. Каждый день лицезреть турка – дело нелегкое. Но селяне привыкли, живут...

Зажарили шашлык, и вино было неплохое, и я его пил и пил – до одурения...

Но одурение, как назло, не наступало, зато я становился весьма опасным гостем... Потому предложил вернуться назад. Смотреть на тебя, Араз, вблизи действительно опасно. И правильно, что тебя отделили от нас колючей проволокой. Иначе что делалось бы со всеми, кто пил твою воду, кто видел тебя с близкого расстояния! Никакие канаты не удержали бы... Самое верное – колючая проволока в три ряда, а между ними – полосы мягкой, взрыхленной земли, чтоб были видны следы... Заяц пробежит или мышь прошмыгнёт – след останется...

– Ни дня не смог бы здесь прожить, – говорю, – что за пытка! И как эти крестьяне могут так, не помещается в голове. Пойдем, ради Бога, пошли отсюда, пока я не завыл...

...Так ты слышал, что о тебе сказали? «Ему ничего не сделалось. Стоит себе...» То есть ты не груда развалин, как село Сурмари, стойко держишься на ногах, и остаётся только ждать, что ты сам, не сочти за труд, на этих своих ногах однажды придёшь к нам. Если нетрудно, и Масис с собой захвати. В опровержение известной пословицы, что если гора не идет к человеку, человек вынужденно идет к горе сам.

– Ну нет, дорогой, это ты должен идти к нам, потому как у нас ног нет – обезножели, и не аисты мы... И вообще неизвестно, кто...

Существует множество ситуаций, которые причиняют людям боль, – их не сосчитать! Но вот персы, например, считают, что невыносимы только три из них: первая, и самая невыносимая, – когда родитель хоронит своего ребенка, вторая – нищета старого человека. И третья – когда человек теряет родину, лишается родины...

Первые два состояния, действительно, крайне болезненны, трагичны, но не безутешны. Возникшие по прихоти судьбы, в результате сбоя в механизме пресловутого «колеса фортуны», они, тем не менее, подвластны времени – с его течением смягчаются, притушаются.

Что же до утратившего родину... Здесь уже ни колесо судьбы обвинять не можешь – дескать, не в ту сторону повернуло, – ни ждать утешения. Как тут утетишь, и чем?..

Можно ли утешить или исцелить целый народ, изгнанный со своей родины, пущенный под нож среди бела дня, на глазах у всего равнодушного человечества... Утрата родины, тяжкая сама по себе, со временем только усугубляется, вырастает в неизлечимую боль, в страдание до того невыносимое, что даже кровь меняет свойство и стынет в жилах... Твои горожане, Игдыр, и не одни они, все жили в этом состоянии, и сейчас живут...

И если это так – а это так, и иначе быть не может, – то нет на свете человека несчастнее, чем сын народа, утратившего родину, который лишен возможности даже умереть за неё, которому «обезопасили» жизнь, защитив тремя рядами колючей проволоки, но при этом отняли право пересечь её и вцепиться в горло тому, кто его осиротил, право бороться за поруганную утраченную Родину и

пролить за неё свою кровь, чтоб кровь эта в жилах не застыла, не свернулась, не заплесневела...

\*\*\*

Ни одна семья твоих горожан ни в «ихние России», ни даже в Тифлис не уехала. По знаменитой царской дороге они пришли напрямик в Ереван, и в Ереване все опять жили кучно, как я уже говорил, и почти совсем «по-игдырски» – продолжая прежние соседские и дружеские походы в гости друг к другу, вместе со своим приходским пастырем Тер-Месропом и его дьячком, следуя старому укладу и привычкам: отмечая Пасху и пост, праздники и свадьбы, дни рождения и именины. И ждали, ждали...

Я, уже не такое «жалкое создание», каким был, снова чувствовал себя в Игдыре, потому что всюду были «наши»: и на улице, и в школе тоже, и в церкви Сурб Саркиса, которую игдырцы полностью «окупили», и даже проповеди Тер-Месропа пока не претерпели особых «идейных» перемен.

Самым трудным для нас была твоя близость. И только чудом кровь твоих бывших жителей не остановилась, не застыла в жилах...

И снова те, у кого нашлись средства, обзавелись садами, приобрели землю – в Чарбахе, Шенгавите, Норагавите, в самом Ереване, и посеяли пшеницу, завели огороды и скотину. И сами не голодали, и даже собрались вместе сорок–пятьдесят игдырских домов, получили землю рядом с большим селом Курдукули, у местечка Тападиби, вокруг твоего древнего стольного града Армавира, и затеяли новое «игдырское строительство» – всё те же Лысый Кяспар и Аваговы, Шарояны, Исабекяны и прочие, и прочие...

Первые дома из глины и кирпичей возвели в два-три месяца и назвали посёлок «Новый Армавир».

– Но почему? Почему моим именем не назвали и...

Успокойся и не удивляйся. Просто не хотели понапрасну «трепать» твоё имя. Ведь они всё ещё не переставали верить в возвращение к тебе и не пожелали кучку глинобитных строений назвать утраченным именем, как это случилось потом со многими дорогими нашему сердцу топонимами, которые выросли в окрестностях Еревана, так что, называя их, можно вообразить, что вся Армения сгрудилась вокруг Еревана и что с нею и с армянами всё в абсолютном порядке...

Если хочешь знать, они и права такого не имели – называть поселение твоим именем, потому что не все игдырцы осели на этой территории, да еще и на «временных» условиях...

Как видишь, дорогой мой, всё заново – опять солонцы, колючки да репей, и опять неизменная вера и любовь к земле. И, наверное, они и церковь бы построили, если бы остались на этой земле. Если бы остались... Но они не остались, и жаль, что не остались, очень жаль. По стечению обстоятельств или по воле провидения, но время само указало им невозделанные, безлюдные земли на месте Армавира – старой столицы на склоне прекрасного холма, прямо напротив тебя, под стенами этого древнего города-крепости. Земли, которые вполне могли... могли стать новым Игдыром, Нор-Игдыром, даже с сорока–пятьюдесятью домами, сорока–пятьюдесятью семьями...

Но не стали, и причин к тому имелось немало: не было уже «землепоклонников», старейшин Игдыра, а молодые уже обжились в большом городе. Они учились в школах и работали, снова были все «при деле», и опять затевать строительство «нового Игдыра» им было недосуг: словом, не «подсуетились», упустили время, и к концу тридцатых годов, когда репрессии стали «повальными», в Новом Армавире игдырцы уже не жили. И если подобное можно назвать «ошибкой», то это была самая большая и непоправимая ошибка твоих горожан.

Ты, любимый мой Игдыр, и сегодня мог бы из не слишком дальнего далёка восхищаться «новым подвигом» и чуть ли не «историческим свершением» твоих жителей. А уж во что бы они превратили это село под названием Новый Армавир, учитывая их беспримерный опыт, энергию и упорство по части «градостроительства» и зная, во что превратили они твою выжженную землю, – это тебе объяснять не надо! И чёрт с ним, с десятком-другим «учёных умников», которые прижились бы в Ереване, чтобы фланировать по улице Астафьян...

Они не остались. Что-то нарушилось непоправимо, и их кровь не пролилась !!!**пóтом** на этой земле. В который раз! Сколько же, по выражению Власа, «ломать и строить, ломать и строить – и ради чего?..»

Уже в тридцатые годы в этом селе не было, не осталось ни одной игдырской семьи. Но, наверное, что-то знал твой народ, когда говорил: «Из чужой муки гаты не испечёшь».

Что-то главное, что-то очень важное, в самом деле, нарушилось непоправимо.

\*\*\*

Во время одной из бесед с моим старшим другом из Алашкерта, когда речь зашла о наших землях, он поведал мне достоверную историю, которую слышал из уст одного из наших славных полководцев.

Когда наш замечательный воевода был еще командиром конного отряда в Сардарапате, он был по какому-то случаю приглашен на «официальный» правительственный обед, так называемый «банкет». В подобных случаях никогда не знаешь, кто окажется твоим соседом по столу. Сидевший рядом человек в гражданской одежде, похожий на иностранца, заговорил с ним на довольно сносно русском, представился и сообщил, что он... турок. Полководец замер, отдернул было протянутую руку, но было поздно – ему пришлось выслушать от захмелевшего от русской водки турка следующее:

– Да, да, я турок, турок из тех, которых вы, армяне, ненавидите, и не без причины.

(Слышишь, родной? «Из тех, кого ненавидим», как будто есть на земле турок, которого армянин может и... любить!)

– Вы военный человек, и знаете, что причина этой ненависти – ваши земли, которые теперь наши.

(Слышишь? «Их земли», следовательно, и ты тоже...)

– Но и мы на этих землях немало крови пролили. Вы всегда преуменьшаете пролитую нами кровь, но мы-то знаем, как много её пролили. Да, да, – продолжал он, – много пролили, и если вам так нужны ваши земли, – а мы ведь знаем, что вы не забыли их и никогда не забудете, – вы должны полить их своей кровью. За землю платят кровью, без крови мы её не отдадим, вот так...

Полководец окаменел, слыша речи турка, которому «развязала язык» русская водка. О, удивительное свойство водки, особенно русской! Пьющий ее забывает собственную трусость и ничтожество, ему уже «море по колено»... Известны случаи, родной мой Игдыр, когда целые армии после стаканчика водки совершали чудеса. И что удивительного в том, что от водки так расхрабрился турок, который всегда до неузнаваемости смел, когда перед ним безоружная, беззащитная женщина или ребенок...

В крайне сложном, трудном положении оказался наш полководец, который и вообразить не мог, что за официальным столом может случиться такая встреча, а ему при этом ещё и придется исполнять роль «гостеприимного» хозяина!

Разум подсказывал, что необходимо сдерживать себя, не поддаваться на провокацию. И ему удалось обуздать неукротимую карабахскую кровь и дрожь в непослушной руке. Той самой, которая в Сардарапатском сражении рассекла надвое убегавшего в панике турецкого офицера... А здесь официальный прием, и на них уже поглядывают обеспокоенно...

Никогда ещё, ни в одном из несметных своих сражений не чувствовал себя таким беспомощным пожилой полководец, сотни раз смотревший смерти в лицо...

И под его холодным, стальным взглядом пьяный негодяй зашнурлся и замолчал, а полководец горько качнул головой и брезгливо произнес с видимым спокойствием:

– Кровь? У вас никогда не было собственной крови... Вы попросту пьяны. К тому же использовать официальный приём как гарантию собственной безнаказанности – уловка, недостойная настоящего мужчины.

Но, мой любимый Игдыр, ты сам уже, наверное, заметил: этот распетушившийся от водки негодяй, тем не менее был очень озабочен тем, чтобы выведать, когда же... Когда намерен полководец?.. Страх говорил в нём, давно засевший, угнездившийся страх, который всем им не дает спокойно спать на чужой земле, в чужом доме...

Он прекрасно знает, что хозяева этого дома, этой земли еще живы, они есть и не забудут, не имеют права забыть, они не перестнут слышать стоны безоружных жертв, взывающие к ним из недр земли, сотрясающейся ежедневно. Если кровь в их жилах не превратилась в сыворотку. И положение этих хозяев будет потруднее, чем у нашего полководца. Никакой полководец не возьмётся, не пожелает встать во главе жалких вояк с сывороткой вместо крови... Нужна кровь!.. И кровь Ахпюр Сероба, кровь твоих Гарегина, Шаварша, Арамо... Слышите, Арамо, Гарегин, Айро, Мамикон, Шаварш? Снова жаждет крови этот внук людоеда Гамида...

И где могли они пролить свою чёрную кровь, о которой он упомянул, змеиное отродье! Может, в Урфе? Или в Ване, в Сасуне, в Зейтуне, под горой Муса, в Оргове, где против каждого десятка вооруженных армян выкатывали пушку с криком «Караул!», таким пронзительным, что он дошёл до пашей в Стамбуле и Анкаре... О, пролили, пролили и они свою чёрную кровь, только жаль, не на своей земле... Их кровь пролилась при встречах с Серобом, с Чаушем, с Андраником, с Керы, Варданом, Дро и твоими парнями-«маузеристами». А еще в Сардарапате, Апаране, Зангезуре, Ведибасаре, Даралагязе, Талине... А теперь явились, с красными звездочками на папах, эти паши Кемаля...

И даже эта крохотная пядь доставшейся нам земли – и та им как бельмо на глазу, из-за неё они сна лишились. Но уже против них были не беззащитные дети и женщины, хотя бой опять был неравный – один против двадцати...

«Умолк воевода, погрузился в свои мысли и не прикоснулся больше к еде. И дома не мог успокоиться, всю ночь ходил по комнате и курил... – рассказывал мой

большой друг, который и сам прошел войну от начала до конца и вкусил всю горечь и радость побед и много раз видел полководца в бою... – Ведь он из тех полководцев, которые сломали хребет не знающей поражений гитлеровской армии, а эта разбойничья страна стала Гитлеру «союзником», как и в первую мировую, и своим примером безнаказанного людоедства воспитала Гитлера»...

«Кто сейчас помнит о резне армян?» – любил повторять Гитлер. И вот, пожалуйста, он сидит за одним столом с полководцем, приглашенный на правительственный приём в качестве представителя соседней «дружественной» страны...

«Вместо того чтобы качаться на Нюрнбергской виселице», – с горечью добавил мой друг.

Но о чем бы ни беседовали они, мой дорогой Игдыр, действительность остаётся все той же, несправедливой и жестокой. Они не закачались на веревках, снова вышли сухими из воды, и война шла не за тебя и других таких как ты, оставшихся по ту сторону Масиса и Араза, которые там и пребудут, пока остаётся в силе наше «дружественное соседство», заверенное печатями подписанного договора, и до тех пор внуки Энвера будут иметь право на равных садиться за стол с нашим полководцем...

Вот такая беседа состоялась между моим алашкертским другом и нашим прославленным полководцем.

Война шла не за вас... За что-то, что было гораздо неуловимее и, вместе с тем, значимее. Твои полмиллиона армян участвовали в этой войне, полив своей кровью дорогу от Канакерских высот до самого Берлина, погибая в степях, на берегах могучих рек, на подступах к малым и великим городам, – лишь для того, чтобы хоть в этот раз твоя земля не была попрунана сапогом врага. Вот что составляло сокровенную суть этой войны. И как ни жестоко говорить, милый мой Игдыр, это был не твой звездный час, и хочешь ты того или нет, тебе придется подождать...

Продолжение твоей истории покатило к кубарем, кувыркком, сумбурное, как предсмертный бред больного, и теперь тебя могут достичь разве что аисты, которые перелетят и опустятся, как всегда по весне, в старые гнёзда на ветвях высокоствольных тополей в нашем дворе, если они до сих пор ещё живы...

\*\*\*

Солнце описывает огромную дугу над Араратской долиной, начиная от Гегамских гор до Сурмари, и, обогнув большую гору, вздымающуюся над Игдыром, садится за горой Такалту в Кохбе. В летние месяцы, особенно в июле и августе, в полдень солнце неподвижно зависало над Игдыром, и полив садов и полей становился сущим страданием. Политые вчера грядки покрывались такими трещинами, будто месяц воды не видели. В полдень обливающиеся потом садоводы уходили под тень навесов, как рыбы, разевая рты от душного зноя. А кое-как дождавшись, пока солнце скроется за Масисом, без слов, покорно вновь принимались за свою работу, утешаясь одной мыслью: винограду это на пользу – его величество виноград спеет. И жар солнца им нужен затем, чтобы «харджи» и «мовуз» наливались сладостью. А единственное «озеро» в Игдыре, которое образовывалось весной от таянья снегов и дождевой воды, славилось неисчислимым поголовьем лягушек, и к ночи, когда замолкали все остальные звуки Игдыра, их оглушительное кваканье было слышно даже в кварталах Поса у нас, в Игдыр-маве. В августе от страшной жары озерцо мелело, и невыносимая вонь от дохлых лягушек разносилась вместе с вечерней прохладой по всей округе.

Осенью закат в Игдыре начинался раньше, так как ленивые солнечные лучи запутывались в зелени садов Араратской долины, на этом берегу Араза.

Всей красоты Масиса игдырцы не могли ощутить из-за чрезмерной близости горы, знали просто, что он высокий, очень высокий. Сказать по правде, Масис при взгляде со стороны Игдыра не слишком привлекателен: бесформенная гора с гигантским горбом, который мешает видеть ее вершину, а Малый Масис рядом с этим горбом выглядит и вовсе маленьким белым шатром.

Эту гигантскую гору мы увидели с большого расстояния только потом, и поняли, как она прекрасна, как «до неприличия» красива и почему при виде Масиса иностранцы забывают названия других гор...

Тень от Масиса ложится до самых берегов Араза, и в осенние вечера весь Сурмари окутывает изумительная прозрачно-голубая дымка, и солнце золотит лишь кресты над куполами церквей, а высокие тополя и осины становятся золотыми факелами в голубом тумане и тихо качаются в волнах прохлады, нисходящей вниз со склонов Масиса.

Колокола Сурб Геворга начинали свой перезвон чуть раньше, чем Эчмиадзинские кафедральные, за что наш священник Тер-Месроп не раз получал нареkania от духовных властей и каждый раз сваливал вину на чересчур проворного звонаря.

Но и утро в Игдыре начиналось раньше.

Солнце ещё не выглянуло из-за Гегамского хребта, а белоснежная вершина Масиса уже начинает розоветь, и игдырцы, спящие на своих плоских крышах, первыми встречают утро Араратской долины.

Я не помню, чем были примечательны разные времена года в Игдыре. Весна, лето, зима... Наверное, не было ничего особенного, раз не запомнилось.

Весна она везде весна – нарядная, будто вырядившаяся для кого-то одного, которого ждала. А что касается игдырского лета... Долгожданная пора, когда «виноград зреет»! Так они говорили и, отдуваясь, вытирали ручки пота с лица и шеи платками величиной с добрую скатёрку, обреченно поглядывая на неподвижно застывшие вершины тополей, которые, казалось, никогда не шевельнутся...

Помню осень, игдырскую осень в садах, в пору сбора винограда.

Боже милостивый, ты видел сам, нет на свете ничего прекраснее осеннего сада, когда он, весь увешанный плодами, как сама богиня плодородия, приветствует садоводов. И неважно, игдырский это сад, ванский или аштаракский...

Все времена года с безмолвной покорностью и терпеливым усердием работают на осенний сад. Берегут его, прячут от дождей и града, от ветра и засухи, чтобы бросить к босым ногам осени – этой языческой красавицы – всё, что выросло и налилось соками. Если есть на свете уголок, где природа не успевает создать такую осень, как в Игдыре, в Айгестане, в Араратской долине, – она не вправе утверждать, что всесильна и совершенна.

Осень в Игдыре начинается у подножья Масиса, за спиной Игдыра, в нескольких километрах от него, именно там рождается приятная, сбегаящая с вершины прохлада после летнего пекла.

В один из дней безлесные склоны, дрогнув, меняют зелень травы и кустарников на все цвета, какие только возможны в природе. Дички – «допотопного» вида низкорослые плодовые деревца, прародители всех нынешних садовых деревьев; низенькие яблони и груши, *пшат*, огромные, чуть не с дерево, кусты шиповника, чьи глянцевые плоды никто не собирает, – всё это вспыхивает в последних лучах солнца, и подножье Масиса превращается в море пылающих красок. А внизу от первой изморози наливаются медом фрукты в садах.

Об этом знают и этого ждут садоводы, чтоб начать сбор урожая.

*Харджи* уже золотится, *мхали* бледнеет до желтоватого оттенка ладана, а гроздь *мовуза* и *ачабаша* лопаются от сладости и твердеют. А *чилар*, который не

хранят для еды (он идет только на вино вместе с харджи), коричневеет и делается даже слаще харджи...

О, какие виноградари жили в Игдыре, какие вина они умели делать и как умели пить вино! Каждый глоток впитывали с трепетом, как мирру, смакуя, перекачивали во рту и только потом жадно, со страстью выпивали бокал до дна, как конь, измученный жаждой, который дорвался до ведра с ледяной колодезной водой...

Грозди ачабаша, *мхитара* и мсхали, нанизывали и развешивали в погребе на зиму, для себя давили из харджи и чилара крепкое белое вино, а из черного мовуза – густое красное, которое не успевало созреть (вернее, ему не давали – до срока выпивали недодержанный, ещё пахнувший землёй нектар со вкусом солнца. О чем думали, грустили или мечтали эти земледельцы, в чем был смысл их существования? Во времени? В сложившемся укладе, потребовавшем многих десятилетий? Всё это не применимо к Игдыру, который на их глазах забродил, как молодое вино *мачар*, что мутнеет, чтобы потом, отстоявшись в покое, сделаться прозрачным. Но он только выиграл-замутился, а прозрачным не стал... И из чего были вылеплены эти удивительные люди, видевшие столько гонений, насилия, депортаций, и всё же смогли так твердо, с непоколебимым спокойствием смотреть на рушащийся в обломки мир вокруг них!..

Удивительна и непостижима загадка жизнестойкости армянина, позволяющей выжить вопреки всем признанным законам человеческого бытия, выходящей за пределы разумного, безудержной и необъяснимой. Ну просто «из ряда вон»!..

\*\*\*

Сады Исабека и Епрема, которым положил начало еще прадед, сын Исабека-старшего Йордухан, были поделены между двумя братьями, но забора между ними не было, и в пору сбора урожая в обеих семьях все от мала до велика пропадали в саду, как и остальные жители Игдыра, у кого имелся сад.

А предприниматели, такие, как наш зять Влас, которым для работы суток было мало, нанимали сборщиков или звали на помощь соседей, из тех, у кого своего сада нет, а это значило, что те также запасутся фруктами на зиму.

Но дело состояло не только в том, чтобы собрать плоды. Виноград надо было отжать, превратить в сусло и перелить его в промытые, загодя прокуренные дымом карасы. А ещё готовить сладкий шуджух: варить дошаб, макать в него длинные низки орехов и развешивать для просушки. Готовить *алани*, заготавливать сухофрукты и изюм. Засаливать в кадучках виноградные листья

для зимней толмы. Тысяча дел, ибо, согласно мудрой истине бабушки Банавши: «Летняя колючка – зимой лакомство». Всё шло в дело, от оставшихся на уже убранных бахчах мелких арбузов и дыnek до пожелтелых огурцов и портулака... Какие фантастические соленья готовила бабушка Банашва! Довольно было чашки рассола из-под этих солений поутру – и, как уверяли сами «набравшиеся», от ночной «мути и дури» не оставалось и следа...

Толстые жерди-подпорки с трудом выдерживали тяжесть виноградных лоз и огромных гроздьев черного винограда, мовуза, харджи. А как прохладна тень под виноградной лозой! Я ложился на теплую рыхлую землю и лежа, без помощи рук, губами рвал «дамские пальчики» (у нас они назывались «ицаптук» – «kozy титьки»). Или мог часами наблюдать за тем, как пчелы с изумительной сноровкой буравят сладкие ягоды и неспешно потягивают медвяный сок...

В эти две-три недели уборки урожая все и завтракали, и обедали в саду. В шалашиках и под навесами с утра, тихонько булькая, томилась в тонирах, в разнокалиберных глиняных горшочках шорва – кулеш из пшеницы, покрываясь восхитительной поджаристой пенкой. Она пузырится, лопается и плюется, но едва огонь начнет убывать, – угомонится, и шорва зарумянится в цвет пламени.

Кто-то, сидя на корточках у ручья, чистит помидоры, перец и баклажаны, а на земле под раскидистым ореховым деревом уже накрывают «стол»: расстилают длинные «ямани» – дивные *карпеты*, которые ткали только в Игдыре. Приготовлениями по части стола занимались в основном мужчины, это очень давняя традиция. В поле, в саду, в застолье «на природе» верховодят мужчины, а женщины – только в доме. Потому для женщин эти несколько дней были самыми желанными в году, когда не они, а их самих баловали и угощали, позволяя на время забыть каждодневные хлопоты по приготовлению пищи.

В урожайную страду народа в саду было много, и число глиняных горшочков соответствовало числу едоков. Для шорвы и бозбаша брали козлятину, причём непременно мясо самца. В особенности ценилась жирная грудинка: жир укроет горшочек, как крышка, «загорит» и даст образоваться пенке. Козлов растили «на мясо», предварительно оскопив, откармливая на склонах Масиса, в лугах с травой в рост человека, и они раздобрели до невероятных размеров, чуть не с теленка. Мясо игдырцам поставляли сурмалинские курды-езиды, чьим несметным отарам сами хозяева счета не знали.

В Игдыре была в почете вся «классическая» кухня, начиная с бозбаша и толмы, овощной и из виноградных листьев, – кончая хашламой и кюфтой.

Одним словом, игдырцы знали толк в хорошей еде и в этом удовольствии себе не отказывали, полагая, что человек лишь раз приходит в этот мир, и потому должен прожить этот отмеренный свыше, и без того недолгий «единственный раз» не абы как, в лишениях и запретах, а по-человечески полно и счастливо.

– Можно подумать, ты в своем Ереване ел что-нибудь похожее на игдырскую шорву, бозбаш или кюфту!

Почему не ел? Что, в Ереване нет игдырцев? Не сразу же они в ереванцев превратились. Да и ереванцы не хуже в еде понимают...

– Э, дорогой, такую шорву, как ваша, у нас по бедности Хоро-дадо ела со своими задержавшимися в девках дочками.

Да откуда, скажи на милость, дорогой мой Игдыр, нам было достать козлятину, тонир и глиняные горшочки? Или вино из мовуза? Будто в Ереване всё было и только шорвы твоей не хватало...

Заправлял церемониалом пиршества в саду, как правило, племянник отца Ваагн, средний сын моего дяди Епрема. Деревянным черпаком он медленно и торжественно, словно осеняя миррой, разливал обед по глиняным мискам, сам отдуваясь от острого перца.

– Словно змей ужалил, чтоб ему пусто было, – жаловался Ваагн и после каждого *брдуча* прикладывался пылающими губами – а заодно и рыжими усами – к глиняной чарке с мутно-красным вином, чтобы погасить жжение во рту. И каждый раз, отхлебывая играющий пузырьками мачар, вскрикивал:

– Вах, вах, Господи, какое чудо ты создал!

Игдырцы все, включая женщин, обожали острое, все их обеды были жгучими на вкус (за исключением пасхального плова, который заправляли изюмом, финиками, миндалём и курагой). Ели, обжигаясь, едва сдерживая слезы, и постанывали от необъяснимого удовольствия, словно из какой-то непонятной мести сами себя мучили...

Вот и сейчас, присев на корточки и засучив рукава, они заняты тем же, и со всех сторон стола то и дело раздаются ахи-охи и вздохи, и все выпрашивают друг у друга перчик поострее:

– А отщипни-ка кончик...

– Дай сюда, поглядим...

– Да бери, забирай весь! Это не перец, это яд змеиный! – и, ужаленные, протягивали мне свои чарки, и я едва справлялся со своей ролью виночерпия...

И так по осени бывало в Игдыре каждый год, во время сбора урожая.

Первой из-за стола вставала бабушка Банашва или Маин-дзало. Осеняли себя крестом и привычно возглашали:

– Славься, Господи, воля твоя, не сочти за излишек...

И Бог тогда принимал их близко к сердцу, этих замечательных земледельцев, садоводов, подпирающих подножье Масиса. Почему же вдруг отвернулся от них этот вздорный старик, игдырцы до сих пор понять не могут. Что они сделали, чем не угодили? Что заставило его отвернуться, да как отвернуться! Позабыв, что он Бог!.. Ведь мог он просто пожурить тех, кого сам же и создал, – имел право! И даже отругать словами покрепче, чем «Пьян Аракел» в подпитии, слушая которого фазтонщик Мчик (Мкртич), цокая языком и сплёвывая, вопрошал, вознеся глаза к небу:

– Господи, и ты будешь говорить, что создал этого человека?!

Может, тебе, Боже, не понравилось, что где-то на земле армянин ест без страха добытый своим трудом хлеб? Или позавидовал ему, что пьёт своими руками сотворённое вино? Но кто мешал тебе спуститься к людям в сад, к Ваагнову столу! Омочил бы и ты свою седую бороду крепким вином, расслабился бы телом, отдохнул душой... И знаешь что, Всевышний, неплохо бы тебе забыть про нас, живущих в тени Масиса, да и вообще про армян. Дал бы нам пожить нашим коротким умом, без твоего благословения. Поскольку для армян ты никогда не имел ни ушей, ни глаз, а **что** имел – мы так и не узнали. Мы, что с долготерпением осла и упрямством вола верили в тебя невероятной верой верующего и, покорно следовали заповедям Григора Просветителя, восхваляемого нашим Тер-Месропом...

Аминь...

\*\*\*

«Пьян Аракел» был несчастный человек, без соображения, без промысла, но с кучей ребятишек в доме.

Никто не видел по утрам, как он уходит «на работу». Затемно уходил, чтобы тут подмести, там полить тротуар, кому-то донести покупки с базара домой, одним словом, выполнял любую работу, какая подвернется.

В Игдыре нищих не было, по пальцам можно было посчитать тех, кто бедствовал, но концы с концами сводили все. Достаточно было Аракелу пройти рядом с мясным рядом – его мигом окликал кто-нибудь из мясников: «Аракел, глянь, какой я кусок печёнки для тебя приберёг!» Это означало, что Аракелу нужно наутро прийти и помочь разделать парочку туш, и тогда ему перепадёт и на

шорву, и на бозбаш. Эта русская кличка «Пьян» пристала к Аракелу только за то, что он позволял себе, выпив на «работе», идти домой, слегка пошатываясь. А это в Игдыре было делом невиданным: мало что выпил среди бела дня, так ещё и качаешься, идя по улице. Впрочем, в Игдыре такой чести носить «довесок» к имени удостоился не один Аракел. Все игдырцы имели прозвища, всех чем-нибудь «помечали», и никто не считал это обидным или зазорным.

А вечером Аракел возвращался домой с большим мешком в руках или за спиной и шёл по самой середине улицы, словно напоказ, может даже из чувства протеста: дескать, это я, вот я такой, и только посмейте мне что-нибудь сказать! И безбожно матерился, не жалея ни тех, кто даже не думал что-либо ему говорить, ни тех, кто просто случайно попадался ему на пути. В эти послеобеденные часы многие выходили посидеть у ворот, в основном женщины, дети и молодежь. Брань Аракела относилась вовсе не к молодежи, но, «по касательной», – к их родителям, и была снабжена подробным указанием известных примет каждого, чтобы ни у кого не возникло сомнений насчет адресата.

– Чтоб твоему *чарчи* отцу!.

Или же:

– Эй, вдовый ублюдок, ты, щенок, тоже твякать научился? Я твою...

И если моя несравненная мать с кем-нибудь из детей в это время оказывалась сидящей на скамейке у дома, Аракел, приложив палец к губам, грозно предупреждал:

– Молчи, Амаякова жена, мне не перечь, а то видишь, я за себя не отвечаю...

Да разве могла что-то сказать ему моя бедная мать! Она очень жалела и этого человека, и его жену, по любому поводу помогала им то одеждой, то продуктами. При виде Аракела мать только и делала, что вытирала платочком глаза, всякий раз заново оплакивая своего любимого брата, Арташеса, и проклинала того, кто придумал адское зелье...

Может, не стоило мне начинать игдырское утро с Аракела, но он уходил на работу первым из обитателей нашей большой улицы, идущей через всю Игдирмаву. Даже раньше, чем игдырцы выгонят скотину, поручив ее заботам курдапастуха Нго. Намного раньше, чем начнут звонить колокола Сурб Геворга.

Нет, нельзя не упомянуть этого единственного в городе выпивоху, за которым сами жители закрепили почётную роль хранителя вполне определенной «традиции».

Утро продолжалось. С грохотом и лязгом открывались большие ворота в доме живущего напротив нас фаэтонщика Егиша, и из них, бодро и весело звеня бубенчиками, вылетал фаэтон Егиша, запряжённый парой горячих гнедых. Если мы, малышня, в это время оказывались на улице, Егиш сажал всю команду в фаэтон и описывал большой круг, и к небу взвивались облака пыли и ликующие вопли детворы. То же самое он повторял вечером, невзирая на усталость лошадей.

Но главным, что подтверждало наступление утра в Игдыре, был истошный рёв заводского гудка. Гудка того самого лимонадного завода, где «заводчиком» был наш зять Влас. И все игдырцы, и сонные, и окончательно проснувшиеся, обязательно говорили: «Влас орет». Значит, уже семь утра.

Горожане, у которых имелись часы, могли сверять их по гудку, поскольку часы Власа, величиной с хороший блин, работы известной фирмы «Саркисовъ», а обслуживавший лимонадный завод и мукомольню механик-немец носил часы другой, не менее известной фирмы – «Мозель», так что всякая неточность исключалась.

Лимонадный завод полностью принадлежал Власу, а мукомольню он держал на паях с Аваговыми. Мукомольня работала на дизеле, который имел «врожденный порок» – периодически начинал стучать, за что игдырцы нарекли мельницу «стукомольней». Так что наш зять Влас был разносторонне известен.

Немец-механик с утра до вечера сновал туда-сюда с масленкой в руках и смазывал всё что возможно, и заводы Власа работали чуть ли не точнее часов «Саркисовъ». А Влас, который, как будто, притерпелся к стучащему дизелю, никак не мог привыкнуть к громоподобному чиху немецкого мастера. Каждый раз при этом Влас вздрагивал от неожиданности, двумя руками ловил слетавшие с носа очки и сердито восклицал одно и то же: «А-а, чтоб тебе пусто было!» Немец же, наивно полагая, что ему, по всей вероятности, желают здоровья, смущённо кланялся и, прижимая руку к сердцу, в свою очередь благодарил: «данке шон, данке шон».

А тому, чем ещё славился Влас в качестве «заводчика», моя тетушка Овсанна дала краткое и четкое определение:

– Там стучит, здесь гудит, а путного ничего нету! Гость зайдёт – он тут же лимонадные бутылки на столе перед ним выстраивает...

Конечно, тётушка Овсанна слегка преувеличивала, но расходы Власа на содержание заводов, даже разделенные с Аваговыми, на самом деле были весьма велики, а прибыль ничтожна, и эти заводы его не то что не обогатили – он едва

сводил концы с концами. Единственным объяснением этому могло служить, пожалуй, непомерное тщеславие нашего зятя. Слух о нём дошёл до Еревана, и сам губернатор знал, что в Игдыре «есть заводчик Влас», – одного этого нашему зятю было достаточно.

Лимонад Власа действительно был великолепен. Игдирцы загодя спускали ведро с бутылками лимонада в колодец, чтоб охладить напиток. А когда откупоривали и отхлебывали, так шибало в нос, что из ноздрей прямо дым шел, и они начинали икать от удовольствия. Даже дедушка Исабек, который изредка позволял себе подобную роскошь, не мог сдержать чувств и, к удивлению присутствующих, вытирая усы ладонью, кричал: «Помилуй господь твоего отца, Влас, и стук твой, и гудок – всё тебе прощаю».

Замечательный лимонад Власа готовили на вкуснейшей воде из прохладных родников Аргаджа, уже одно это гарантировало первоклассные достоинства напитка. К ней добавляли отборные фруктовые соки и получали лимонад нескольких сортов: вишневый, *тархунов*ый, лимонный, кофейный и другие. Продавали лимонад в особых магазинах и в собственных палатках Власа, в бочонках, обложенных льдом, и покупателей было без счета. Даже курды-езиды, приезжая в город, не отказывали себе в удовольствии немного поикать, выпив шипучки. Они предпочитали вишневый лимонад – густой, темно-красный, щекочущий газовыми пузырьками.

К слову, Влас был не единственным заводчиком в Игдыре. Здесь работал завод по очистке хлопка и отжиму хлопкового масла, принадлежащий Одабашенц Ерванду, который прославился не столько своим заводом, сколько невероятно красивой женой. И если не слишком щедрые на похвалу игдырцы находили её красоту совершенной, значит, так оно и было в самом деле.

В Игдыре действовал, и очень интенсивно, механический завод – большая мастерская, которая обслуживала не только нужды пограничного гарнизона, но и выполняла заказы шествующих через Сурмалу торговых караванов. Но, конечно, Игдыр был жив не благодаря лимонаду Власа или продукции других заводов, владельцы которых не были невесть какими богачами, разве что имели возможность нанять в летнюю жару дачный домик в Лори или в Нор-Баязете, либо приобрести билеты на Сирануйш в «Гамлете» и на Адамяна в «Отелло» да посещать время от времени «Илизон» тифлисца Нариманова.

Кормила Игдыр его земля – его сады, приусадебные огороды, бахчи, а ещё живность при каждом доме: корова, буйвол, коза или овца...

Всё пропитание и запасы на зиму игдырцу обеспечивала земля – отборная, плодородная, ибо, как заметил ещё достопочтенный Ной, здесь она жирная и рыхлая, хорошо держит влагу, а унавоженная, и вовсе сторицей воздаёт хозяину за его труды. А игдырец землю любил и понимал ее язык.

Что только не росло на полях и огородах Игдыра! Кунжут, конопля, фасоль, горох, чечевица, баклажаны, картофель, свекла, репа, топинамбур, называемый в наших краях «земляным яблоком», помидоры, перец... О, какие красавцы-перцы осенью пламенели всеми красками огня на низках, подвешенных к балкам в погребе, а вдоль стен, чинно выстроившись в ряд, желтели и рдели тыквы. В горных лугах собирали съедобную зелень – *мандак (бутень)*, *сибех (резак)*, *бохи (фенхель)*, щавель и круглый год ставили на стол. Даже в самом бедном доме зимой и летом готовили супы из пахты или мацуна – танапур, спас с пшеничной крупой, разнообразнейшие блюда из засушенных овощей и зелени, и надо верить Хоро-дадо, когда она с гордостью заявляла, что не променяет горшочек сушеной зеленой фасоли, зажаренной в масле, ни на какой «ихний» шашлык, не говоря уже о тыкве с сушеными абрикосами...

Самый большой сад был у Бадиленцев, а самый замечательный – несомненно сад Нарндженц Енока, похожий на ботанический музей своим неисчислимым разнообразием фруктовых деревьев. На рынке покупали в первую очередь фрукты из Енокова сада. Причем сам он не продавал, у него их закупали и перепродавали. А сад действительно был дивный. Там росли фруктовые деревья не только привычные для Араратской долины, а со всей Армении: из Мегри, из ущелья реки Воротан привезенные гранат, персики и медово-сладкий инжир, абрикосы разных сортов из Ордубада, даже ванские яблоки из Артамета. Садовником-кудесником был Нарндженц Енок...

Вообще излишков урожая из Игдыра не вывозили, всё без остатка потребляло местное население, которое достигало цифры десять тысяч человек.

Осенью игдырские погреба ломались от заготовленных плодов и разносолов. Чугунки с маслом и сыром, кувшины с растительным, кунжутным маслом, которое предпочитали топлёному, и карасы, полные вина из харджи и мовуза, дышащие пьянящими ароматами, в сумраке погреба выглядели сказочными богатырями, что улеглись под стеной и заснули.

Чего Игдыру всегда было мало, так это вина. Игдырцы знали толк в вине и делали его не для продажи. Но дотягивали едва до февраля. Отправлялись за вином в Ошакан, Аштарак, Эчмиадзин, Камарлу. А лимонад Власа был настолько

хорош, что игдырцы стали пить его, смешивая с вином. Совсем как римские цезари, которые считали варварами всех, кто пил вино неразбавленным. Однако, в отличие от цезарей, игдырцы пили разбавленное лимонадом вино только в летнюю жару, а осенью и зимой оставались «варварами». И даже придумали этой смеси особое имя – «Мавро».

Для себя на зиму подвешивали под потолки погребов – *маранов* связки винограда и груш, нитки сладкого шуджуха, в маленьких бочонках стояла ванская сельдь и севанский когак в рассоле, а в самом центре марана висела качающаяся доска со стопкой высушенного лаваша.

В субботние, воскресные дни игдырцы, придя с работы, бывало, и не поднимались в дом, а усаживались с друзьями в углу марана за низенький круглый столик, на котором раскатывают лаваш, осторожно, чтоб «не побеспокоить вино» отливали в тыквенную бутылку – «гогру» немного вина из караса и запивали соленый когак и деревенский сыр с зеленью искрящимся, крепким красным вином из мовуза, после каждой кружки вздыхая блаженно-расслабленно и благословляя всевышнего...

Ты, любимый мой Игдыр, лучше меня знаешь о житье-бытье своих горожан, об их привычках, и, если что не так, сам что-то добавь или убери лишнее, но ведь так они и жили – таким я тебя видел и запомнил. С рождения они жили в союзе с землей, были земледельцами, садоводами, а дом земледельца пуст не бывает.

Однако в связи с неуёмным стремлением Игдыра к тому, чтобы стать городом, множество новых забот легло на плечи его жителей.

«Глава» города, градоначальник в Игдыре избирался, а пристава, как водится, назначал губернатор, он сам выбирал его для каждого города. Правда, для игдырцев не имело никакого значения, кто там выбранный, кто назначенный, – срок ему определяли сами игдырцы.

Главу действительно выбирали, и чаще всего те родовые группы, кланы, которые были наиболее влиятельными, «пробивными». Но поскольку, как правило, кандидатов было всего двое (нечто похожее на «демократию»), наш зять Влас находил, что это ничтожно мало для Игдыра, где действовало несчётное количество партий и группировок (ни в одной из которых сам он, правда, не состоял). И кандидатуры, ясное дело, принадлежали к разным партиям, что облегчало дело наших «суровых» игдырцев: они могли выбрать, что называется, меньшее из зол, даже вопреки воле главенствующего клана.

Те, у кого ещё осталась какая-никакая память, вспомнят, какой прекрасный выбор предложили однажды народу Игдыра, когда были выдвинуты два кандидата – от дашнакской партии и от «гнчакистов». И дашнакским кандидатом был не кто иной, как отец лидера этой партии, Мартирос. Вот где достойным избирателям нужно было не забывать, кто он, этот «лидер», и кому и кем приходится. Поскольку даже губернатор, услышав его имя, неизвестно почему лишней раз пересчитывал пуговицы своего мундира...

При всем при том игдырцы сумели «кинуть черные шары» и «забаллотировать» отца «лидера», Мартироса, предпочтя ему Епрема, брата Исабека. Они и не думали считаться с тем, кого «завалили».

Но для них самих разница в выборе была весьма ощутимой, поскольку, хотя Мартирос так и рвался вновь стать главой, игдырцам уже были знакомы его стиль и манера. Они не желали ошибаться второй раз. «Неправильный был человек, всех ссорил-баламутил...», – говорили они.

А Епрем, младший брат Исабека, которого предложили «гнчакяны», был его полной противоположностью. Но Епрем был «ничейный», то бишь ни в какой партии не состоял. Как и его деды, возделывал землю, уважал порядок, соблюдал законы, был честен со всеми и почитал старших. Про него говорили «русакан», то есть сторонник русской государственности, «консерватор», сторонник порядка, а для такого городка, как Игдыр, кишашего партиями и кланами, «порядок» означал необходимость противопоставить себя всем кланам и партиям, и в первую очередь «крайним революционерам».

Но потом и те, кто выдвигал Епрема, поймут, что оказали ему этим медвежьё услугу.

Я не видел его, не мог видеть – он ушел из жизни молодым, вернее, его «ушли»... Может ты, милый мой Игдыр, сам скажешь своё нелицеприятное слово о нем?

– О, Епрем... Второго такого Игдыр уже не родит.

Эта фотография на твоём столе – ничто! Надо было видеть его самого, когда он восседал верхом на белом коне, а рядом – телохранители, два брата-карабахца. Когда он появлялся на рынке, самые горячие из игдырцев, готовые наставить кинжалы друг на друга, смиряли свои страсти и опускали головы от стыда....

Он не издавал ни звука. Выслушивал людей, не снимая правой руки с серебряной рукояти плётки, слушал и примирял, укрощая людей двумя-тремя словами. Споры и ссоры между игдырцами, а также наши – с соседними

курдскими и турецкими деревнями при нём утихали. Бывало даже, он приводил вора и разбойника, турка или курда, и в Игдыр-маве выделял ему землю, предоставлял дом. Те, кто не очень одобрял эти его «странности», впоследствии убеждались в дальновидности Епрема, который даже башибузуков превращал в людей, давая им землю и работу.

– Но горяч был!.. Честный, справедливый, но горячий, вспыльчивый. Не надо было ему поднимать руку на Мартироса на рынке, на виду у всех. Конечно, Мартирос, как всегда, смошенничал: этот шарлатан взял у курда двух баранов для каурмы и отказывался платить за них, уверяя, что торговец просто не помнит и деньги с него уже взял. Не надо было бить Мартироса. Нехорошо, да и не в привычках Епрема, но что тут сделаешь, кровь взыграла...

С нашей фотографии на меня смотрит мужчина с задумчивым взглядом, как у Брута с полотна Микеланджело, немного мечтательный, немного грустный, с большими миндалевидными глазами, с едва заметной улыбкой под усами, загибающимися чуть книзу над твердо сжатым ртом. Большой круглый медальон висит на груди на массивной золотой цепи. Наверное, сфотографировался в бытность свою «главой». Молод, но как серьёзен... Даже фотография внушает уважение, такую надежность и доверие излучает даже этот неживой снимок. Как удивительны и печальны они, эти старые фотографии.

Ты слышал, что цедил сквозь зубы Мартирос, поднимая с земли упавшую шапку?

– Ладно, Епрем, ты ещё пожалеешь...

Как же ты, Епрем, не побоялся, ведь он тоже игдырец! Каким бы плохим ни был, но – игдырец! Да известно вдобавок, чей отец! Пускай не сам он, так его сын разве мог бы забыть, мог снести такое бесчестье?

Но и Епрем не мог быть другим. В этом городе у всех кровь была как огонь, а разве горячий человек станет осторожничать?..

К нему пришли поздно вечером, когда он сидел за вечерним чаем вместе с детьми. На большом столе лежали тетради, учебники, дети молча готовили уроки: кто пишет, кто читает, изредка нарушая тишину вопросами. Висевшая над столом большая лампа со стёклышками-подвесками озаряла мягким, тёплым светом светлые детские головки, склоненные над тетрадками и книжками, чайные стаканы с серебряными ложками, стеклянные вазочки с абрикосовым вареньем, – непередаваемо добрый, спокойный свет, дарующий покой, в то время как остальная часть столовой пряталась в синеватом полумраке.

В приоткрытую дверь беззвучно вошли двое с наброшенными на лицо башлыками, никто на них внимания не обратил – может, думали, это Маин-дзало... От выстрелов в спину Епрем повалился на стол и уперся в него руками, потом медленно повернулся к двери и поднялся с места. Ещё не чувствуя боли, он отбросил стул, метнулся к двери, с кинжалом в руке добежал до середины двора и... распостёрся на земле. Дети, которые онемели, окаменели от звука выстрелов, только тут подняли крик, на стрельбу и на шум из хлева, от коровы, выбежала Маин-дзало с молочником в руках. Увидев распостертое тело Епрема, она уронила молочник, и кровь смешалась с молоком...

Для убийц всё складывалось на редкость удачно в этот день.

Своих телохранителей, которые жили здесь же, в доме, в специально отведенной комнате, Епрем накануне отправил к Хачатуру-ага в Синчанлу с важным заданием (надо было переправить через границу группу фидаинов). Они вернулись бы только к утру. Непонятно, как это стало известно убийцам, хотя знал об этом только сам глава.

Епрем, каким бы «ничейным» или, как говорили, «русаканом» ни был, не мог остаться непричастным, полностью обособиться от беспокойной, «кипучей» политической жизни Игдыра. Да такого и не выбрали бы главой его «глядящие исподлобья» сограждане: кому он был нужен «ничей»! Так говорили его противники, а Епрем был такой же, как они, игдырец со всеми присущими им недостатками, но уважающий законы и порядок и в каком-то смысле осмотрительный, что для легковозбудимого игдырца, пожалуй, большая редкость. Так что его «ничейность» была мнимой.

У него были свои люди всюду: в губернаторском окружении, под самым носом у Богуславского, в пограничном гарнизоне – везде, от них ему становилось известно об ожидаемых строгостях, предстоящих арестах, и он успевал предупредить кого следовало и предотвратить неприятности. И Епрем предотвращал... Причем умудрялся перехитрить самого Богуславского, к примеру, при разделе принадлежащих Игдыру земель и в результате вернуть отобранные богатыми турками-землевладельцами наделы...

Утром Игдыр был в страшном волнении. Все возбужденно обсуждали жестокое убийство Епрема. Игдырцы встревожились ещё и потому, что начали понимать, что и сами беззащитны перед натиском так называемых «комитетов», ибо им безразлично, кого убивать, Богуславского или Епрема.

На кладбище, которое находилось чуть дальше нашего дома, напротив Городского училища, построенного его стараниями, пришло все население Игдыра. Потрясённые стояли у его изголовья Хачатур-ага, Мелик Вртанес, Гарегин-ага, курдский и езидский шейхи Джангир-ага и Юсуб-бек, другие именитые и влиятельные лица, чиновники и представители власти. Окружённый своими пятью сыновьями, стоял Хачатур-ага, бессменный староста семи курдских и турецких деревень, жители которых его и боялись, и уважали. Он был ближайшим другом Епрема и стоял теперь, как статуя, окаменев от горя. Этот огромный, похожий на скалу человек с бронзовым лицом не мог сдержать слёз, капающих ему на грудь, скатывающихся на серебряный пояс и разбивающихся в брызги о рукоятку свисающего кинжала.

Стоял и Исабек, без слёз, мрачный, потемневший от горя, и все наши. В чёрном, окаменевшем лице Исабека не было грусти – только гнев, решимость и еле сдерживаемая ярость. Говорят, Исабек очень любил своего младшего брата и, хотя не одобрял этих его «дел», да и не мог одобрять, будучи человеком совершенно иного склада, но вмешиваться привычки не имел. Только пару раз с досадой и болью говорил ему:

– Ну скажи ты мне, какого черта ты с ними якшаешься? Твоё дело сад, огород, твой дом, поле, земля...

Тер-Месроп, растерянный, оторопелый, словно не понимал, что ему делать, с чего начать. И только услышав пение дьячка, казалось, пришел в себя и присоединил к его сишлому голосу свой – упавший, срывающийся. А ведь другой раз молнии метал своим мощным басом... Горе согнуло его. Однако к концу отходной голос его окреп от гнева, и, подняв крест к небесам, он произнес свое проклятие «Иуде», продажному убийце, достойному адовых мук. Что недосказал отец Месроп, дополнит нараспев безутешная в своем страдании Хоро-дадо, упав на колени у гроба и раскинув горестные руки:

– Пусть дома лишится и от тысячи пуль издохнет тот, кто в тебя стрелял, Как джан... Чтоб и горсти земли ему не нашлось, когда хоронить станут...

Так окончилось двенадцатилетнее правление Епрема на посту «главы» Игдыра – нелепой, бессмысленной и неразумной смертью...

Дома, поднимая первую поминальную стопку, Нарндженц Енок скажет: «Будь проклят этот самый сад, да разве из-за сада такого человека, как Епрем, убивают?» Енок думал, что из-за возвращённого ему сада убили Епрема, но много было других причин...

До поздней ночи будут сидеть мужчины в доме, а женщины на балконе, и, раскачиваясь вперед-назад от боли, как при работе с ручным жёрновом, будут рассказывать, перебираль-перемалывать все события последних дней. И Хородадо, поминутно вытирая кончиком головного платка слёзы, льющиеся из глаз, при каждом слове будет бить себя по коленям и повторять нескончаемую историю этих нескольких дней...

И так до поздней ночи будут они вспоминать, говорить, рассказывать про то, каким главой был Епрем, как дальновидно и с умом он упорядочил распределение земли и подачу воды между армянскими и турецкими селами, положив конец вечным спорам и войнам, которые без крови не заканчивались. Как осушил болота, образованные водой, без пользы вытекающей из мельничной запруды и из ключей Аргаджа, и тем избавил Игдыр от комариных полчищ, а на месте осушенных болот поднялись тучные луга, которые он раздал безземельным крестьянам под выгоны для скота...

Так, скорбно и горестно, вспоминали они и на седьмой день, и на сороковины, и в годовщину...

Таким был этот замечательный игдырец, который, не состоял ни в одной группировке, и тем не менее считал, что не помешало бы и в Игдыре навести порядок и законность.

После Епрема произошли изменения, и в первую очередь в его, Исабековом роду. Большой род Исабека распался, раскололся. Его среднего сына Айваза за строптивый нрав называли «Безумцем Ево» или «Разрывающим цепи», в память о том, как он порвал железную цепь, которой его в наказание за шалости приковали к дереву по приказу Исабека, и убежал. Так вот сыновья этого буяна Ево оказались на редкость трусливыми. Люди, принадлежащие к одному роду, тоже бывают разными. Напуганные всесильной «тайфой» Канаенцев, они, в доказательство своей «лояльности», сменили единственный признак принадлежности к роду Исабека – свою фамилию.

Однако может быть, потеря Епрема оказалась не единственным горем Игдыра.

Самые ожесточенные распри и грызня между кланами-тайфами до сих пор никогда не заканчивались кровью. Для Игдыра такая расправа была новостью, так сказать, очередной стадией развития «общественных отношений», «новым качеством», которое возникло в хаосе смутного времени на почве деятельности расплодившихся, как грибы после дождя, многочисленных «комитетов» с их бестолковой деятельностью. Её продолжение могло иметь гораздо более

печальные последствия, ибо «глядящие исподлобья» игдырцы – народ строптивый и неуступчивый. И если бы твоё столь «многообещающее» начало не свернулось так неожиданно и непредсказуемо, какие ужасы могли ожидать тебя, дорогой мой Игдыр, начни твои жители утолять мщение кровью!

Но как ни перемутилось бы всё вокруг, пусть с вдесятеро худшими «непредсказуемыми последствиями», – муть бы всё равно когда-нибудь осела и всё снова очистилось. А хоть бы и не очистилось – пусть! Лишь бы поливальщики, вскинув лопату на плечо, рано утром шли в поля... и колокола Сурб Геворга мягко звонили после вечерни... и рёв гудка лимонадного завода Власа продолжал возвещать о рассвете...

Лишь бы в тени Большой Горы, под её заступничеством, над крышами твоих садоводов всегда струился дымок, поднимался по холмам и, уходя ввысь, ложился на склоны Масиса...

И ты, родной мой, наверняка согласишься со мной, что с тех пор действительно что-то расшаталось, что-то сломалось для твоих земледельцев, садоводов и ремесленников. Для добывающих свой святой хлеб и вино игдырцев...

\*\*\*

***Исабек родил Айваза, Йордухана, Амбарцума.***

***Айваз родил Вардана, Самсона, Геворга, Саака.***

***Вардан родил Акопа, Варда, Паруйра, Хорена.***

***Самсон родил Амазаспа, Мехака, Гегамы, Ованеса, Мкртича, Мамикона.***

***Геворг родил Абесалома, Арутюна.***

***Саак родил Саркиса, Бабкена.***

***Йордухан родил Исабека, Амбарцума, Епрема.***

***Исабек родил Аветиса, Арменака, Амаяка.***

***Амбарцум родил Акопа.***

***Епрем родил Гарегина, Ваагна, Амасию, Завена.***

***Аветис родил Айрапета.***

***Амаяк родил Грайра, Гургена, Эдварда.***

***Акоп родил Амбарцума.***

***Ваагн родил Гарегина.***

***Амасия родил Рубена, Артавазда.***

***Айрапет родил Рубена.***

***И Мехак родил семерых сыновей.***

***От Гегамы... не помню и не хочу вспоминать...***

***От Мамикона остался один сын...***

Гарегин не родил наследника – был убит в Айтахте, под Сардарапатом.

Единственный сын Айро, Рубик, погиб на подступах к Днепру, ему едва исполнилось восемнадцать.

И ещё больше двух десятков сыновей, и это не считая дочерей-смуглянок. Их, по какому-то неведомому закону, тогда не считали и сейчас не считают. А если сосчитать и дочерей, и наших тётушек, и сестёр, их перечень превратил бы древо патриарха Исабека в могучий, буйно разросшийся дуб.

И это, дорогой, только древо, «посаженное» Исабеком. А были роды и семьи, чьи раскидистые дубы не уступали Исабекову и, вместе взятые, превратили бы Игдыр в хороший лес, молодой и густой. И почему из него надо исключить дочерей Банавши: Овсанну, верную жену Власа, или тётушку Нуне, и тётушку Мане, которая удостоилась чести стать невесткой Лысого Кяспара. Или дочерей отцовых братьев, или десятирех дочек Арзуманенц Тиграна, который рождение каждой по-рыцарски отмечал с зурна-доолом, с застольем и весельем, на радость всему кварталу Пос.

Так ты рос и разрастался. И если Тер-Месроп со своими двумя дьячками, налегая на шустовский коньяк, мучился вопросом, где достать мирры для крестин, то католикос, сидящий в Эчмиадзине, ему ничем помочь не мог: мирра тебе не вино из мовуза, чтоб ее карасами заготовливать...

И не удивляйся, как бы это поделикатнее сказать... «прилежанию» твоих горожан: они без дела сидеть не любили, и то ли ещё было бы, если б не суббота и воскресенье... Твои горожане жили как в сказке, но *три яблока* с неба не упали, а сказка оказалась недолгой и сменилась безобразной гримасой судьбы.

И в ереванской жизни постоянное ожидание и надежда на возвращение постепенно иссякли даже у самых «упёртых». Размякли и растворились, как сахар в стакане чая, как соль в воде, как снег весной. Люди извелись, истаяли от страданий и сделались ереванцами – тихими, «без упёртости», ереванцами...

Так и получилось. Епрема тогда уже не было. Гарегин не оставил, не успел оставить наследника. Его мобилизовали в восемнадцать. Он погиб в Сардарапатской битве, у деревни Айтахт, когда оттуда выбивали турок. Ваагн,

брат, был рядом, его ранило, а Гарегина убило... И не нашёл потом Ваагн место, где похоронил брата. Никто тогда не помнил, кого где в землю положили...

Гарегин был офицером. С лычками поручика окончил Краснодарскую школу офицеров и сразу был направлен на фронт под Карсом. После падения Карса вместе с другими армянскими офицерами прибыл в Ереван с орденом – «Св. Анной», а из Еревана был откомандирован в Каракилису, обеспечивать воинский призыв. Забирать в армию мальчишек, ещё не достигших призывного возраста и не оторвавшихся от матери.

Тяжёлая, очень трудная была обязанность, гораздо тяжелей, чем война. Невзлюбили армянские матери этого офицера – высокого и красивого, строгого и подтянутого, забывшего, что такое улыбка. Но что он мог сделать, как объяснить обливающимся беззвучными слезами лорийским дзало и их детям, что так надо, необходимо, что выбора нет! Нам нужно стать войском или хотя бы чем-то, похожим на войско, – только не оставаться сбродом и шантрапой, научиться хотя бы держать в руках винтовку. Его прошения об отзыве с этой мучительной должности не помогали – оставались считанные дни до жестоких боёв под Каракилисой...

Наконец его отозвали, чтобы отправить в Сардарapat. Там он и погиб. Выбил турок из Айтахта, но – погиб.

Ваагн был ранен в руку и в полубреду, с разрывающимся от горя сердцем, оставил тело брата, а позднее не вспомнил, где засыпал его землёй. Привез с собой офицерскую фуражку, бумажник и портупею, чтоб Маин-дзало было над чем плакать, причитать и молиться, ещё и хвалу возносить нашему армянскому Богу за то, что хоть Ваагн вернулся живым, пусть с рукой на перевязи. И никто позднее не нашел своих, погибших в Сардарapatской битве. Хоть бы братские могилы остались, какая-нибудь насыпь, холмик... Нет, будто и не было в Сардарapatе войны, будто не гибли там тысячи. Одни пески и солончаки на том месте, заросшие репьем и терниями, и ни следа от тех могил... Где похоронили столько погибших? Боже, ты тоже не знаешь?..

Какой до ужаса вместительной оказалась эта земля, что зовется Араратской долиной! Сколько, сколько уже раз она становилась мёртвой пустошью! Здесь нет цветов – не растут они на этих землях, горьких от соли и крови...

Наверное, и на поле Аварайра не растут цветы, да и откуда им быть на такой солёной от крови земле. Только жучки червеца, кошенили облюбовали эти просоленные пески и живут колониями на стеблях и листьях редких кустов,

похожих на крапиву. Никто не знает, чем питаются эти жучки. Ведь ничего и никого не найти под этим палящим солнцем, среди солонцов и колючек. Только и встретишь случайно заплутавшего зайца или какую-нибудь змею – гюрзу... или скорпиона...

Гарегин не оставил наследника, не успел, погиб в восемнадцать лет.

\*\*\*

И тем не менее всё, и что началось, когда-то кончается. Но до твоего конца, до моста Маргары, ты ещё некоторое время рос и стремился стать городом, не обращая внимания на то, что рухнуло и продолжает рушиться вокруг ...

Удивительный твой народ как бы забыл или утратил понятие времени, и это при том, что караваны переселенцев шли и шли к Аразу через Игдыр. А он мнил себя непоколебимым и вечным.

Удивительно это их простодушное, крестьянское ощущение неосознанного счастья бытия, порождённое особым, очень цельным восприятием жизни – всей сутью своей бесхитростной души и тела. Они умели получать удовольствие от жизни как таковой, ничего в ней не меняя и не искажая, доверчиво прилепившись к земле, рядом с нею от рассвета до заката – и назавтра опять, и так – каждый Божий день.

Ты, мой любимый Игдыр, развивался несравнимо быстрее других поселков городского типа в Ереванской губернии.

Было что-то лихорадочное в твоём торопливом расцвете, чего не наблюдалось, скажем, в Александрополе или в Ереване. И отчего ты так спешил, кто тебя торопил? – никто сейчас не даст ответа, но ты развивался, и развивался не по дням, а по часам. И посети тебя незадолго до переселения ещё один господин Еприкян, он был бы несказанно удивлён твоей «изобретательностью и прытью». Да, да, именно прытью, когда увидел бы тебя выросшим вдвое, да что там, втрое! – и это за неполные двадцать лет.

Твой город ширился. С одной стороны – к Игдир-маве, которая уже не была той отдельной от него деревней, которую упоминал Алишан, и турки и курды давно её покинули. С другой стороны он простерся к Аликамару, и холм был уже готов войти в черту города. Ты уже подтягивался к царской дороге, ведущей в Эчмиадзин, и к Эвджилару – тому самому Эвджилару, что на игдырском берегу Араза. Но время пошло наперекор твоим желаниям, ибо так же спешно, как рос и развивался, ты вдруг остановился – внезапно, как телега со сломавшейся осью...

Никому и в голову не приходило тебя «развивать», в особенности губернским властям, которые от тебя и прежде были не в восторге, только помешать тебе ничем не могли. Они тоже не знали-не ведали, что время и для них уже шагреновая кожа и конец их так близок. Но ты успел приобрести все необходимые качества, которые сделали бы тебя настоящим городом.

Даже твои игдырские вывески – правда, не все, но многие – продолжали служить своему назначению в Ереване.

А жестяной щит с именем нашего «коммерческого предприятия» вместе с прибитыми к нему подручными досками и кусками фанеры образовал навес, продолжающий балкон со стороны двора. Под навесом соорудили полки для хранения лаваша и разной лишней утвари. Каждый раз, приходя сюда за куском хлеба, мы читали надпись: «Торговый домъ Исабекянов. Игдыр».

Не знаю, как сказывалось ежедневное напоминание об этом предприятии на нервной системе его бывшего хозяина, но вывеска оставалась на месте до тех пор, пока с неё не слезла вся краска. Что указывало на то, что его нервы восприняли крах «торгового дома» как историческую необходимость, я бы даже сказал – с безразличием, и мою мать это нисколько не удивляло, ибо ей как никому другому были известны «коммерческие» таланты мужа.

...«Генеральным директором» этого торгового дома был сам дед Исабек, а «управляющим» – мой отец Амаяк, Амо.

«Торговых домов», магазинов в Игдыре было много, были налажены связи с коммерческими домами в других больших городах, откуда игдырцы получали и перепродавали всё что угодно: гвозди, ситец, готовую одежду, бочки с костромским маслом, икру из Керчи и Саратова, отборные копчености, различные напитки, коньяки, ликёры из Амстердама... Одним словом, всё, что можно было найти в Тифлисе, Баку, в Армавире, Ростове и, особенно, в Ереване. В магазине Амаяка царило такое же изобилие. Однако магазин Амаяка особенно выделялся среди всех других лавок Игдыра. Он не имел себе равных, и наверное, не только в Игдыре. В отцовском магазине делали все покупки военные и большая часть чиновных людей, которые уносили товар со словами: «Амаяк, дорогой, до получки!», а такое не каждый игдырский магазин мог себе позволить. Этот магазин обслуживал и «высшую знать» Игдыра. Захаживал сюда и сам Исабек.

Раз в неделю или в две он приходил, усаживался на стул перед магазином, специально для него поставленный и сидел, перебирая четки, приветствовал проходящих и отвечал на приветствия, а заодно проверял счета, изучал книгу так

называемых «кредитов», осматривал и ощупывал прибывший товар, давал указания про поводу хранения тареха или вина и молча качал головой, когда его взгляд останавливался на ликёрах и печеньях «Жорж Борман» и коробках с конфетами и шоколадом. Затем садился у прилавка и как бы между прочим произносил:

– Ну неси, поглядим...

Амаяк открывал конторскую книгу долгов, чтобы вдвоём их «обсудить»...

И происходил непередаваемый диалог между старшим Исабекином, настоящим владельцем «Торгового дома», и младшим, моим отцом, – диалог, от которого товарам, разложенным на полках, пузатым бочонкам и кувшинам, расставленным под стенами, впору было лопнуть со смеху.

Итак:

**Исабек:** Неси, неси, поглядим...

**Отец:** Что нести? (Будто понятия не имеет, о чем разговор.)

**Исабек:** А то ты сам не знаешь...

При этих словах отец, с притворной обидой отводя глаза, придвигал давно ожидавшую на прилавке конторскую книгу поближе к деду.

**Исабек:** Читай, читай... (Дед, как и большинство стариков в Игдыре, грамоты не знал.)

И отец начинал читать, значительную часть пропускавая, притом делал это так неумело (будучи всю жизнь торговцем, он так и не научился ни обманывать, ни хоть чуточку мухлевать), что дед обо всём догадывался и недовольно качал головой:

– Читай, читай, от меня скроешь – от него-то (палец к небу!) не утаишь, он всё видит...

И Амаяк, судорожно сглатывая, запинаясь и лепеча, как школьник, не выучивший урок, зачитывал:

– Нарнджец Еноку фунт сахару, два фунта риса, четверть табаку.

– Он заплатил?

– За сахар и рис заплатил.

**Исабек:** Табак вычеркни.

Дед велит, но почему, не объясняет. Отец молча вычеркивает.

**Амаяк:** Анушка. Полфунта конфет.

**Исабек:** Анушка? Это кто такая?

**Амаяк:** Дочь Хоро-дадо...

**Исабек:** Ишь, у самих на хлеб не хватает – так им конфет подавай!.. Вычеркивай, так-растак отца её... (Заметим, что отец Анушки приходился Исабеку сыном.)

Здесь в разговор мог бы вмешаться бочонок с тарехом, чтобы сообщить, что Анушка, не взвесив, унесла вдобавок несколько рыбин, но Амаяк, пользуясь благодушным настроением отца, заодно вычеркивает и тарех.

**Амаяк:** Шабоенц Асатур, одна бутылка Шустовского коньяка, один фунт конфет, два фунта сыру.

**Исабек:** Заплатил за всё?

**Амаяк:** Сыр остался...

**Исабек:** Пах-пах-пах! Коньяк пьёт, вино ему уже не по чину... А в доме куса сыра нет. Позор на твою голову, Шабо, с каких пор ты сыр в магазине покупаешь!.. Вычеркивай!

Но Амаяк почему-то не вычеркивает.

**Амаяк:** Канаенц Мартирос... Три фунта макарон, два фунта сахару, две бутылки коньяка, два куса мыла...

Здесь Исабек явно начинал волноваться, что было видно по нервным движениям пальцев правой руки. (Эта привычка перейдет потом по наследству ко многим его потомкам.) И волнение его можно понять, поскольку Канаенцы, и тем паче Мартирос, не имели привычки отовариваться в нашем магазине. Дед продолжает с деланным равнодушием.

**Исабек:** Ну, и за что он уплатил?

**Амаяк:** Только за мыло не отдал...

**Исабек:** Вычеркни, вычеркни, чтоб его отца... Пусть свою немытую рожу нашим мылом моет, все одно не отмоеся...

Амаяк не перечит, с удовольствием вычеркивает.

**Амаяк:** Аваговенц Никогос, пять бутылок Шустовского коньяка...

**Исабек:** Пьёт опять? Ногу отрезали, а он всё пьёт?

**Амаяк:** Нет, не пьёт, может, гости у него. Он больше не пьёт.

**Исабек:** Ладно, ладно, за что заплатил?

**Амаяк:** Ни за что. Я коньяк с мальчишкой отослал. Он принесёт, не думай...

А Исабек и не озабочен нисколько, отдаст или не отдаст Никогос деньги за пять бутылок коньяка, – это не тот случай. Он молчит и думает о чем-то другом, и Амаяк не мешает его молчанию...

Никогос был на редкость умелым, лучшим оружейником в Игдыре и вообще в округе. В Игдыре не могло не быть оружейников, поскольку любителей поиграть с оружием было предостаточно, не говоря уже о военных, и Никогос со своими тремя помощниками еле управлялся с заказами. Немногословный, с крепко сжатым ртом, Никогос, о котором ходила слава как о человеке чуть ли не жестоком, в своей жизни не сделал ни одного выстрела. Вероятно, в силу непререкаемой истины что у сапожника не бывает приличной обуви, у *заргяра* не бывает кольца на своем пальце, а оружейник не должен стрелять... Единственным исключением из правила, наверно, был мой дядя, старший сын Исабека, портной-устабаши Аветис, который всегда был одет с безупречным вкусом, являя собой живое доказательство своего столь же безупречного ремесла.

Никогос понимал язык оружия куда лучше, чем все его заказчики. Он сам мог бы придумать новый вид оружия, более устрашающий, чем немецкий маузер, чем знаменитая «десятка» – «тасноц», как ее называли в народе. Но, как уже говорилось, из-за случайного выстрела Никогос лишился левой ноги...

Амаяк ещё долго продолжал бы свое чтение, но голова Исабека устало склонялась к плечу, а кончик уса ритмично вздымался и опадал...

Вот так вот. И неимущему долг «вычеркни», и состоятельному «вычеркни»... С какой стати? Чем ещё это могло закончиться? Как бы долго ни протянул торговый дом «Игдыр», при таком раскладе его ждал поистине грустный конец, хотя пока всё это выглядело всего лишь комичным.

И вычеркивание Анушкиного долга было не случайно. Что стоила пара рыбин в сравнении с двумя корзинами тареха, которые Никогос, приходящийся мужем сестре моего отца, взял «для перепродажи», а Амаяк в конторской книге пометил только большим вопросительным знаком. Потому что моя тётушка Нуне уже сообщила младшему братцу, что продажа тареха успеха не возымела и рыбу просто-напросто съели... Таких «хитростей» у Амаяка было множество, и хотя он прекрасно сознавал, что обманывать отца нехорошо, но дело велось в таком «стиле» с самого дня основания этого «торгового дома».

А Никогос, взявшийся доказать исключительные вкусовые свойства тареха, с раннего утра вместе с тётушкой Нуне и всеми своими соседями был занят дегустированием ванской сельди в разном кулинарном исполнении: запеченной на открытом огне и в тундре, жаренной на сковороде с румяной яичной корочкой, – и так неполных три дня подряд – на завтрак, на обед и на ужин ...

И что же мог поделаться Амаяк, когда он и сам знал, что рыба эта под названием «ванский тарех» невообразимо вкусна, особенно приготовленная в тони́ре. Знал и про аппетит зятя, не требующий доказательств, и не его одного, но и всех его детей – ребят здоровых и подвижных, которые всем пошли в отца и могли эту рыбу в два счета и без соседей прикончить. Одним словом, Никогос, который со своим высшим инженерным образованием пока не имел постоянного занятия, убедился, что торговля – и в особенности торговля съестным товаром – не его призвание...

Самым упрямым из всех оказался Амаяк. Но вряд ли это было упрямством.

До дня исхода, когда он в последний раз затворил ворота и ставни своего магазина, два раза повернув ключ в замке, Амаяку и в голову не приходило, что он неправильно торгует. От дяди Аршалуйса он знал, что должен «принимать меры», чтобы прибыль его была ощутимой хотя бы настолько, чтобы, как говорится, овчинка стоила выделки и торговля имела смысл. Нужно было хитрить, обманывать... А единственным человеком, которого ему удавалось объегорить, был Исабек, ещё более наивный, чем сам Амаяк.

Но и такой неприбыльный магазин был нужен Игдыру, может, даже более нужен, чем остальные магазины и торговые дома. Без магазина «Игдырь», как бы его ни брали в кавычки, туго пришлось бы Хоро-дадо и ей подобным или её зятю Никогосу. Да что говорить, даже самому игдырскому приставу, который покрывал свои долги «от получки до получки»...

Так ведь было, и ты согласишься со мной, что игдырец Амаяк не мог поступать иным образом, действовать «иным образом» было бы неправильно, и ты не только не смеешь возражать, но просто-таки обязан гордиться тем, что Амаяк удостоил твоё имя на вывеске такой высокой чести...

– Я, дорогой, не понимаю и уж тем более не разделяю твоё недоумение и иронию по отношению к деду и отцу. Больше того, даже нахожу их неприличными, если хочешь знать... Ты что же, хотел бы, чтоб они вели свою торговлю как Айвазенц Гегам – с обманом и жульничеством?

Если твой дядя Аршалуйс – царствие ему небесное! – стыдливо, несмело укорял твоего отца, украдкой посмеиваясь над его простодушием, так он хоть что-то понимал в торговле, а ты... Зачем Амаяку прибыль, богатство! Твоя бабка Банашва одна могла целый дом содержать. А Исабек и Исабеков сад! Надо было видеть этот сад, чтобы оценить его талант. Правда, его сад был не такой роскошный, как у Нарндженц Енока, и уж совсем не походил на огромный сад

Бадиленцев, который также славился в Игдыре. Но такого урожая, как у Исабека, ни в одном саду Игдыра не собирали. Помощники ему только мешали, и никто в дело не вмешивался, он и близко никого не подпускал. Исабек сам решал, когда укрыть лозу, когда её «откопать», сам устанавливал ширину гряд и их глубину, время полива и подрезания. А уж подрезание винограда никому не доверял. Для остальных дел нанимали работников, причем их отбирали с пристрастием.

Точно так он сам определял день сбора винограда. Когда Исабек говорил: «Сад больше не поливать!», это означало, что через семнадцать-двадцать дней виноград надо уже убирать, а за эти двадцать дней без полива ягоды нальются сладостью. Не то, что ваши сегодняшние виноградари, которые перед сбором вволю поливают лозы «для утяжеления гроздьев»... Дед понимал язык виноградной лозы, разговаривал с нею, как с живым существом.

Подрезая лозу, дед поднимал с земли отросшую виноградную плеть и журил её:

– Что пригнулась? Сейчас уши подрежу, сразу за ум возьмёшься...

И лоза к осени покрывалась гроздьями и сгибалась под их тяжестью, ломая подпорки-рогатины. Он поворачивался к персиковому дереву, что скудно плодоносило, и, пряча улыбку под усами, бормотал:

– Ну, тебе, я гляжу, жизнь наскучила?

Обрезая веточки ачабаша, ворчал:

– Ну, теперь посмотрим, как на этот раз будет. Чтоб ты мне тут прошлогодних фокусов не устраивал, а то пожалеешь... (Видно, плохой был урожай.)

А кусты харджи грозно осматривал со всех сторон, как полководец – своих храбрых солдат, и признавался:

– Да если б не вы, кому он нужен, этот сад!

Действительно, без винограда харджи не было бы никакого смысла держать сад.

Уходя домой, дед подходил к своему старому вороному коню, освобождал его ноги от пут и, массируя следы от веревок, восклицал:

– Обжора! Понятно, сено не твое, но брюхо-то не чужое – ведь лопнешь!

И, взяв за узду, медленно шагал с ним рядом, пока конь привыкнет к свободе, и только потом садился в седло, но не переставал с ним разговаривать, а тот, кивая головой, соглашался с хозяином, одновременно фырча и отгоняя надоедливую мошкарку...

– Таким он был, твой дед: с людьми молчалив, чаще в роли слушателя, но и болтунов-пустобрёхов не выносил. Когда ваш зять Влас заводился по какому-нибудь поводу, беззлобно вворачивал:

– Ну всё, сел на любимого конька!..

Но время от времени и сам вставлял что-нибудь, и не только «красного словца» ради. Давал совет тому, кто в этом нуждался, и не от себя, а от имени своего отца, Йордухана, причем всегда соблюдал «авторское право», ссылаясь на него:

– Покойный отец, царство ему небесное, говорил: у кого хлеба на день, тот хлеба боится...

Кому-то, кто, видимо, жаловался на жену, в утешение сказал:

– Не бери в голову, женщины все такие: самая прямая – что твой серп...

И наверное в душе посмеялся над неудачником, ибо сказанное к его Банавше несколько не относилось. И то ли дед придумывал за Йордухана, то ли тот и вправду говорил такое, только Исабек ничего не объяснял, предоставляя слушателю самому «выпрямлять неровности» своей жены...

Кому-то помоложе мог сказать:

– Тому, кто не посадил дерева, придётся сидеть в тени своей лопаты...

Так участвовал в беседах Исабек – с шуткой-прибауткой, пряча в усы ироническую улыбку и не комментируя сказанное...

Мой дед Исабек, старший из троих сыновей Йордухана, наверняка познал истинную суть зыбкого и грустного человеческого счастья, которое он видел в сиянии солнца, в синеве неба, в студёных родниках Зора, в деревьях и лозах в своём саду, в застенчивой улыбке своей Банавши. Когда гладил огрубелой ладонью бархатные бока своего вороного или набивал огромные карманы своего бешмета яблоками и маленькими дыньками, чтоб оделить ими снох и любимых внуков.

О, Исабек был из тех счастливцев, что жили в согласии с мудрой природой, став её частицей, как пшат или орех, как абрикосовое дерево, как вороной конь или наша бурёнка Цагик, как аисты, выющие гнёзда на высоких тополях и осинах. Он мог беседовать с чугуном и с косой, с дверью хлева и то находил о чём поговорить... Для него не было разницы между тяпкой и человеком. И когда замечал прислоненные к стене щербатые грабли, он без труда угадывал, что не кто иной, как его сын Амаяк попользовался ими в саду, и, усмехаясь в усы, спрашивал у грабель:

– Кто это вас так отделал, а? Зубья через один, точь-в-точь как у Лысого Кяспара. Когда только успели повыпасть?.. – И улыбался лукаво, сверкая из-под усов крупными, белыми, как перламутр, зубами без единого изъяна.

Таков был Исабек и его ровесники игдырцы – все они, подобно абрикосовым и ореховым деревьям, раскинув ветви, прочно пустили корни в твою землю.

\*\*\*

В том, что мой отец Амаяк среди торговцев Игдира был «явлением исключительным», был совершенно уверен дядя Аршалуйс, брат моей матери, отдавший родную сестру за этого «уникума». А каким было мнение на этот счет других игдырцев, значения не имело, поскольку одной Хоро-дадо было достаточно, чтоб всему Игдыру стало ясно, что место Амаяка ни много ни мало рядом ... с самим Всевышним. И как ни пристрастна была Хоро-дадо, в силу вполне понятных обстоятельств, – однако нельзя не признать, что Амаяк действительно в сфере торговли был уникальным человеческим экземпляром. И хотя люди уникальные достойны всяческого подражания, но в некоторых случаях лучше от этого воздержаться, особенно когда речь идёт о торговле. Однако жизнь редко обходится без повторений, иначе она продолжаться не может, и даже самые неподражаемые «уникумы» не в силах их избежать...

Самый любимый племянник Исабека Ваагн, средний сын Епрема-Како, который был вторым лицом в Амаяковом магазине и вместе со своим отцом помогал ему «облегчить» хотя бы долговую конторскую книгу, однажды неопровержимо и бесповоротно доказал всем, что Йордуханов род и торговля так же далеки друг от друга, как Игдыр и луна.

В Ереване Ваагн, на пару со своим *норкским* другом, таким же, как он, умником и недавним переселенцем, решил заняться торговлей мяса. «Мясными хозяевами» в то время были сыновья его дядьки по отцу братья Айвазенк (Айвазовы), поменявшие свою фамилию на «Мсенк» (Мясниковы)...

Вместе с этим другом, который ровно ничего не терял, недолго думая (видимо, за неимением времени), они позаимствовали несколько золотых вещей из приданого жены Ваагна, арендовали помещение и на Царской улице в центре Еревана (а не на мясном рынке) открыли магазин. Однажды утром, купив у курдов ни много ни мало пятнадцать штук овец и больше половины их освежевав, новоявленный мясоторговец Ваагн распахнул двери перед горожанами, выставив на вкус любителей бозбаша и долмы отборные куски парной баранины и ягнятины, развесив жирные курдюки на железных крюках. Сам он и его партнер,

облаченные в белые халаты, встали за прилавок с новенькими весами, ожидая наплыва покупателей.

Прошло утро. Близился полдень. Покупателей не было... На товар стали слетаться мухи, продавцы принялись их отгонять и провели весь день за этим занятием. Пара-тройка заблудившихся ереванцев с сомнением заглянули внутрь и ушли восвояси. Кто-то купил что-то по мелочи – на том их торговля и закончилась...

Всего два дня продлилась коммерческая деятельность сего «прямого наследника» Амаяка по торговой части. На третий день всё оставшееся мясо, заветренное, обсиженное мухами и гниющее от ереванской жары, было сдано мыловаренному заводу – ванским переселенцам в Зарабихане.

\*\*\*

Магазин Амаяка, помимо своего прямого назначения, служил также местом встреч для его многочисленных друзей и, надо сказать, в этом был гораздо успешнее. Мой дядя очень не любил эти несвоевременные вторжения, считал их опаснее налетов саранчи. А Исабек...

Он и корил их, и стыдил, но положить этому конец никак не мог. А те уже отлично знали, когда приходить, чтобы не застать Исабека.

И однажды, когда гости ввалились шумной компанией, не приметив сидящего в глубине магазина Исабека, не замечая предупредительных знаков Амаяка, Исабек спокойно, не повышая голоса, произнёс:

– Милые вы мои, вы как раз вовремя. Бочонок аштаракского вина ещё не откупорили. Амаяк, накрывай на стол, что стоишь столбом!

Так как друзья Амаяка почти все приходились друг другу родней и чужаков среди них не было, то, как бы ни ворчал Исабек, он не мог не признать эти сборища меньшим из возможных зол. Ведь сын его, по натуре безнадёжно, неисправимо доверчивый, мог попасть в дурную компанию, мог, в конце концов, как некоторые, стать завсегдатаем казино Кукули и проигрывать там деньги или, по примеру многих, заделаться «комитетчиком»... Нет, Исабек был не так уж и недоволен сыном, и строгость напускал скорее для порядка, «на всякий случай», бдительности ради. И заключал своё брюзжание назидательно:

– Вот безбожники, что у вас другого места нету, дома нету? Что вам здесь, клуб Кукули, что ли?

И думаю, вам не покажется странным, что с этими же самыми словами (весьма нелюбезными, за что прошу прощения, дорогой мой Игдыр), я не раз обращался к

твоим почтенным горожанам во время их неурочных посещений, превращающих мою спальню в тот же отцовский магазин – место своих сборищ...

Друзья Амаяка в полном составе заявлялись и к нам домой на все праздники и рождения, с нами справляли все тринадцать дней Нового года. Да по любому поводу, каких в нашем доме всегда хватало.

Бывали особые «приемы», на которых присутствовали военные чины высокого ранга, офицеры, известные игдырцы, такие как Хачатур-ага, Гарегин-ага, Джангир-ага (если был в это время в Игдыре) и многие другие влиятельные люди: тот же Влас с заранее заготовленной речью на русском языке и, конечно, Тер-Месроп и брат отца Аветис, наш бессменный тамада (в отсутствие Аветиса Тер-Месроп его замещал). Рассаживались в нашей просторной столовой «зале», какую считал необходимым иметь у себя в доме каждый уважающий себя игдырец. Говорили и на армянском, и на русском, а когда надо, то и на курдском языке...

В такие дни друзья отца были одновременно и гостями, и заправилами, и помощниками во всем – все на ногах, все в трудах, как и сам Амаяк. Только дядя Аветис, старший по праву после деда Исабека, в эти их дела вовлечен не был – он развлекал гостей, и с каким блеском и пышностью, с каким достоинством, ничуть при этом не напрягаясь, без малейшего видимого усилия!

Воистину, врожденный ум и талант – это божий дар, и никакое высшее образование, никакое обучение или муштра не сделают человека мудрым, если это не дано ему свыше.

К слову сказать, мое имя, единственное «неармянское» в роду, родилось в ходе такого вот застолья, по воле одного из гостей, русского офицера Неверта, который попросил, чтобы меня нарекли именем его брата, геройски погибшего в войну. Просьбу гостя уважили, несмотря на очевидное недовольство Тер-Месропа таким вмешательством в дела его епархии.

– Я думаю, тебе не на что жаловаться. Имя как имя, не хуже других игдырских имен, то ли персидских, то ли ещё неизвестно чьих...

Ты прав, я тоже быстро привык к своему имени, особенно к его сокращенной форме – Эдо, Эдик. А вот Арзуманенц Тигран, хозяин магазина готового платья, куда меня отвели примерять матроску, завернул покупку и, давая мне в руки сверток, назвал меня на игдырский манер: «Носи на здоровье, Эдуйг!»

– Ну, с именами-то игдырцы вообще никогда не церемонились. Мое имя, к примеру, и так недлинное, они сократили до минимума: «Идр»...

И первым этим сокращениям удивился, как это ни странно, старший сын Тер-Месропа, когда приехал на каникулы из Германии, где учился в семинарии, встретил первого попавшегося знакомого и в ответ на приветствие услышал:

– Здравствуй, тысячу раз здравствуй, добро пожаловать в Идр...

И дома молодой семинарист поделился с отцом своим «неодобрением» касательно грубости игдырского диалекта и обилия в нём «неблагозвучных» сочетаний согласных...

– На что это похоже! Что за языком здесь изъясняются, и разве возможно на этом языке читать стихи!..

Тер-Месроп, который знал и древнеармянский язык – *грабар*, и современный литературный (ашхарабар), при его известной слабости к «ученым сынам» Игдыра, оторопел, в изумлении уставился на своего «ученого сына» и, еле сдерживая возмущение и обиду, после долгого молчания нашел в себе силы изречь:

– Что поделаешь, диалект, такой же, как другие... Что тебя удивляет? Когда ребенком лепетал на этом диалекте, согласные звуки не мешали?

Молодой семинарист опомнился, но ... было уже поздно.

Слова Тер-Месропа не походили на отповедь. Он сказал грустно, очень грустно, не поднимая головы:

– Придёт время – искать станешь и не найдёшь никого, кто сказал бы тебе на родном диалекте: «Здравствуй, тысячу раз здравствуй, добро пожаловать»...

Будто прозревая будущее, сам с собой говорил священник, сраженный словами сына...

– Ты уже не чувствуешь вкус и аромат этого «грубого» диалекта, вобравшего в себя запах душицы и нунофара в отцовском саду. Как много в нем жизни и молодости, сколько смысла! Как давно он существует, и как разнятся его наречия в Ване, Шираке, Тароне. Они растут из одного корня, такие же древние, как земля и вода, как солнце и синева неба. Это наше богатство, россыпь драгоценных камней – один другого краше, все разные, непохожие, как цвета радуги, но из их красок сплетается арка в небе над головой. И пишутся стихи... Ты их забыл, наверное? *Варданет* Комитас приезжал, когда ты ещё в Германии был. Слышал бы ты... Он собирал песни Кохба, Игдыра, спел для нас несколько наших песен...

И Тер-Месроп запел сам – глухим, хриловатым голосом, от которого весёлая песня сделалась грустной, протяжной и очень нежной...

Долму сварю овощную,  
Джан ле-ле-ле, ле-ле...

Сын признал, что ошибался, был смущён и одновременно тронут, потрясён бесконечным очарованием песни. Он был готов преклонить голову, обнять колени отца, припасть к его руке...

– А как ты «Раны Армении» Хачатура Абовяна проглотил за одну ночь, проглотил? До самого рассвета читал... Считал согласные? Хачатур ведь на диалекте писал, верно? И на каком диалекте! Кто бы стал читать эту книгу, если бы... – и отец Месроп замолчал, чтоб не сказать лишнего. – Ты ещё вспомнишь его слова о языке, о народном языке, ох, вспомнишь... Скольких семинарий стоят его «Раны» – не сосчитать. Ты не виноват, виновато человеческое невежество, которое укоренилось в людях гораздо глубже, чем знание. У знания нет таких корней, но и границ нет...

\*\*\*

Однако, дорогой мой Игдыр, моё «отчуждение» от тебя искажением моего имени не ограничилось.

После моего появления на свет 8 ноября 1914 года, то бишь моего посильного вклада в число растущего не по дням, а по часам населения Игдыра, прошло два-три месяца, когда заболела моя мать. И парон Асланян распорядился отлучить меня от материнской груди и передать на попечение кормилицы, которую нашли неподалёку.

Эта женщина, немка по рождению, с мужем – русским офицером Невертом, по происхождению поляком, квартировали у моего «бицло», совсем рядом с нашим домом. Эта добрая «бюргерша», которая кормила своего двухлетнего сына, но её молока хватило бы ещё на двоих таких, как я, с готовностью согласилась удовлетворять мой растущий аппетит. Как видишь, дорогой мой, случайная ошибка может иметь продолжение, и моё «отчуждение» я впитал, что называется, с грудным молоком...

– Не скажи... даже этих трёх месяцев достаточно, чтоб считать, что тебя взрастили «воды Араза». Да и что осталось немецкого в этой «немке», когда её сын в свои два годика на отменном игдырском наречии рапортовал отцовскому денщику Храбрый, закончив свои дела на горшке:

– Храбрый, я давно сделал...

И увидев, как хлопает глазами не знающий армянского денщик, тут же добавлял по-русски:

– Храбрый, готово!

Вот, дорогой мой, что значит - сын офицера! И уже командовал на нашем, игдырском языке...

\*\*\*

Тер-Месроп до рукоположения в сан преподавал в церковно-приходской школе в Игдыре армянский язык, религию и географию и года два работал в Нор-Баязете (в Кяваре), где и родился его старший сын – будущий преподаватель семинарии. Человек он был прямолинейный, даже сверх меры, всё что думал, в лоб высказывал, за что его все уважали. А то и прикрывались его именем в случаях опасных «откровений»: «Вот был бы здесь Тер-Месроп, прямо в лицо тебя вором бы назвал!» А собеседник, не теряясь, парировал: «Зато тебя Тер-Месроп назвал бы мошенником!»

Утренние службы Тер-Месроп отправлял редко, поскольку по утрам в церковь приходили в основном благопристойные старики и старушки, потому заутреню он поручал вести дьяку, а вот вечерню служил сам, особенно в праздники, в Новый год, в дни крестин и на Пасху. В такие дни оба придела церкви Сурб Геворга в Игдир-маве были полны народа, и даже из других районов города люди приходили сюда.

Прихожане стояли, скрестив руки на животе, зажав шляпы («шлавки») под мышками, и дожидались, когда Тер-Месроп поднимет вверх указательный палец, требуя тишины и внимания. И слушали странные проповеди Тер-Месропа, не имеющие отношения к Священному Писанию и в большей степени относящиеся к ним самим. И шли домой вспотевшие и недовольные, ворча и сплетничая между собой, когда проповедь оказывалась просто неслыханной, превосходя их самые смелые ожидания. В таких случаях они говорили друг другу: «Поддал, не иначе...» Пьяный не пьяный, но без того, чтобы «поддать», Тер-Месроп к богослужению не приступал. Токмо вдохновения ради...

И в один из таких дней – точнее в день ангела Месропов и Сааков, когда речь с амвона должна была касаться, ясное дело, не Клав-Саргисова Месропа и не его самого, Тер-Месропа, а, как тому и надлежит, великого Месропа Маштоца, святой отец начал проповедь с вопроса, ответа на который ждать не стал и сам же на него потом ответил:

– Кто вы есть?

Какой-нибудь подвыпивший игдырец либо записной острослов, может, и сказал бы что-нибудь в ответ, но и они, застигнутые врасплох, онемели. Мёртвая тишина! Все стали ждать, как станет Тер-Месроп выпутываться из своего же

заковыристого вопроса, зная на опыте, что торопиться смысла нет, да, собственно, и некуда. Накрытый к обеду домашний стол никуда не убежит, и ни для кого из присутствующих не новость, что они армяне, а если уж на то пошло, армяне необычные, может статься, даже больше армяне, чем восседающий в Эчмиадзине католикос Геворг...

А Тер-Месроп, в свою очередь, хорошо знал свою «аудиторию», которая становилась иной, когда, к примеру, на службе присутствовал кто-то из именитых горожан Игдыра. Тогда Тер-Месроп старался не выходить за рамки официальной церемонии. Однако случалось, он и их благополучно игнорировал, и религиозное «действие» обретало куда более богатое содержание... То он вдруг объявит свою паству не армянами вовсе, а идолопоклонниками, язычниками, и станет доказывать это на примере царя Трдата, который, как известно, был женолюб, чревоугодник и имел слабость к питию. И ведь докажет, тыча перстом то в одного, то в другого своего прихожанина, зная их всех как облупленных. Затем выразит сожаление по поводу того, что, к прискорбию своему, не обладает божественным даром Просветителя, то есть не сможет даже попытаться обратить всех присутствующих в свиней (!). И закончит проповедь наставлением о том, что только и только исполнением заветов Просветителя и послушанием своим могут они сохранить за собой право и честь именоваться армянами. И, придав голосу особо внушительный тон, перейдет к перечислению главных заповедей, невзирая на глухой и невнятный ропот, которого не может не быть... Женщины станут креститься в испуге, а мужчины, вытирая потные лица и шеи гигантских размеров носовыми платками, подтвердят друг другу, что Тер-Месроп явно «поддал», даже похоже, что хватил лишку, ибо в своей проповеди ни словом не помянул Саака, Месропа или Вардана... Но что они могут поделать? Разве что уйти, однако на такое никто бы не осмелился. К тому же всем хотелось послушать перечень заповедей Просветителя, который прихожанам слышать не впервой, но у Тер-Месропа он всякий раз новый и никогда не повторяется...

Да и куда им спешить? Тер-Месроп хорошо изучил свою паству. Поглаживая свою чёрную, широкую и плоскую, как лопата, бороду и не скрывая удовлетворения от прочитанной речи, он ждёт, пока прихожане утихомятятся. И они замолкают, когда он снова поднимает палец.

Тогда священник берёт в руки Евангелие и, переворачивая страницу за страницей, словно переводя с листа, возглашает:

– Заклинаю вас, возлюбленный мой народ, не погрязнуть в грехе, как соседи ваши, живущие в скверне многожёнства и кровосмешения, пагубной для потомства... Ищите, и обряцете свою половину, с коей объединитесь, составите семью, домашний очаг, чтоб познать рождение детей, как и они познают вас... В еде и питье будьте воздержанны и неприхотливы, соблюдайте пост, не забивайте скот зимой и знайте меру в употреблении горячительных напитков... Чтобы в грязи на улице не валяться, подобно свинье... вот как прошлогодний пристав, который от стыда великого сбежал из Игдыра...

Тут хмурые лица прихожан смягчались, на губах появлялась улыбка, тем более радостная, что на сей раз тирада насчет «горячительных напитков» относилась не к ним.

– Запрещаю любой союз между родственниками, чтобы нацию мою не обезобразили кровосмешением, рожая убудков, слабых и недужных...

– Желая старшим мудрости, а младшим послушания, чтоб главное слово оставалось за старшими, но не токмо в силу возраста, а по их мудрости и рассудительности...

– Наставляю вас быть великодушными и щедрыми, да поделится имущий с неимущим и нуждающимся. Не становитесь торгашами и мошенниками, не будьте алчными и ненасытными... как некоторые... – на миг перст Тер-Месропа застывал в воздухе, глядя прямо вверх и ни на кого не указывая, хотя бы по той причине, что этих «некоторых» в храме не было, да и не могло быть. А слушатели многозначительно поводили головами, как лошади, отмахивающиеся от мух, всем своим видом показывая, что прекрасно понимают, кого имеет в виду Тер-Месроп...

С нескрываемым удовлетворением от собственных наставлений, а также от того, как живо они восприняты, пастырь уже от своего имени продолжал:

– И скажу вам, пожелаю, чтоб были вы богобоязненны и богопослушны, любили вашу письменность и ваш язык. А кто дал вам эту письменность и язык, чтоб отличить вас от окружившего вас разноязыкого сброда, чтоб могли вы глаголить нежно, как журчит ручей, и грозно, как грохочет гром?

И добавлял:

– Только не ваше корявое наречие, которое вы принесли с собой из страны огнепоклонников, говоря на котором, одни вы себя понимаете... (Речь о языке Хоя и Салмаста, уже давно непонятном для присутствующих, и все замирали с недовольными, кислыми минами, не веря в искренность Тер-Месропа.)

– Его дал вам муж мудрейший, нареченный Месропом Маштоцем... – здесь одобрение наконец становилось всеобщим, поскольку впереди уже брезжил финал затянувшейся тягомотины. А он повторял с ударением на каждом слове, тем самым заставляя вновь умолкнуть толпу прихожан:

– Дал вам муж мудрейший, Месропом Маштоцем нареченный, с бодрствующей душой и мыслью, самый большой армянин среди армян, безгранично любящий свою нацию, свой народ. Долгие годы он корпел, он трудился для вас. Изучил и сопоставил сотни языков и письмен, когда-либо созданных человечеством. И подарил вам письменность и язык прозрачной родниковой воды и многогранной кристалла, чтобы через века и годы без числа язык наш оставался неизменным и жизнестойким.

Проповедь Тер-Месроп, как правило, завершал на грабаре, чтобы придать ей особую торжественность и величие, и, слог за слогом, по нарастающей возвращая голосу ликование, возглашал:

– Господне благословение и молитвы Просветителя, Святого Карапета и всех святых да пребудут вечно над вами...

И, торопливо сокращая на ходу:

– Господи, спаси меня от всяческого зла, от грядущих грехов, и защити от мнимых друзей и братьев, от нечестивых и неправедных, от лукавых и льстивых, а также избави от гордыни и зависти, от лени и алчбы, от распутства и пьянства... Аммен!

Аминь!

И только тут, после заключительного «Аминь!» Тер-Месроп, наконец, замолкал, испытующим взглядом поверх очков окидывая свою паству, с непередаваемым выражением на лице, в котором читалась и нескрываемая гордость за блистательную проповедь, и детское лукавство, и грусть, которая означала: «Знаю, знаю, что сказанное мной побежит прочь от ваших ушей, едва вы сядете за стол, уставленный всем тем, от чего остерегал вас Просветитель»...

Если проповедь заканчивалась не слишком поздно, Тер-Месроп переходил ко второму пункту «повестки дня» – таинству крещения, к которому из присутствующих приглашались только родные ребенка. К святому отцу подводили и подносили малышей разного возраста, вплоть до младенцев с едва прорезавшимися зубками. Надо сказать, совать палец в рот этим крошкам было совсем не безопасно. Чуть зазеваешься, как слюнявые ангелочки стискивают зубки – все два или три, имеющиеся в наличии. Однако Тер-Месроп давно знал,

как с этим бороться: другой рукой он легонько похлопывал младенца по лобик и высвобождал палец изо рта ошарашенного дитяти. Мало кто знал, что содержимым чаши-мироносицы был самый обыкновенный... шустовский коньяк, коим отец Месроп пользовался всего-навсего «в целях профилактики», дабы не разносить возможную заразу.

Да, наш духовный пастырь был не чужд юмора, а доктор Игдыр-мавы, к тому же по совместительству ещё и единственный в городе педиатр, парон Асланян, посвященный в «тайну мирры», не уставал повторять: «Море, ну просто море ума у нашего священника!». Если родитель крестника был именитым человеком в Игдыре, Тер-Месроп совершал ритуал, обращая свою речь исключительно к взрослому, словно причащал его самого, а не малолетнего отпрыска. Обмакнув пальцы в мироносицу, проводил по лбу и глазам ребенка со словами: «С открытым челом и ясным взором гляди на мир и людей!». Потом по груди, рядом с сердцем, чтоб был бесстрашным и беззлобным, с добрым сердцем. Дальше мазал плечи и спину – чтоб не боялся тягот, под ними не гнулся ... Потом руки, ладони – чтобы рос щедрым и помогал обделённым... И живот – чтобы не был обжорой-чревоугодником... И все эти напутствия громко отчеканивал, неотрывно глядя в глаза родителю.

Этакий краткий педагогический план, программа по воспитанию ребенка, полусерьёз-полушутливо декларируемая в присутствии свидетелей: дьячка и близких ребенка.

После проповеди отбоя не было от желающих пригласить Тер-Месропа к трапезе – тех самых «идолопоклонников» и «чревоугодников», ибо поднять вместе с ним чарку считалось высочайшей честью, какую только мог вообразить себе всякий почтенный игдырец.

Сам пристав и отец Мефодий – настоятель русской церкви Игдыра, часто звали его в гости: видимо, и они испытывали потребность в беседе с этим прямодушным человеком, быть может, чтобы встряхнуться, отрешиться от оступляющей монотонности будней. В эти дни он не шёл домой, печально поминая старую истину о том, что нет священнику благословения в своём доме.

Ближайшим к церкви Сурб Геворга был его собственный, дом, а следующим – наш, где его всегда ждало «изобилие яств», вступающее в противоречие как с заповедями великого Григора Просветителя, так и с сутью его долгой проповеди. Эта дилемма была для отца Месропа отнюдь не внове и решалась просто: выбирался кратчайший путь между двумя точками, тем более, что после долгих

словоизлияний его мучила жажда и на ум приходило «божественное» содержимое карасов Исабека (вино из винограда мовуз не могло быть иным!). Исабек, как и большинство игдырцев его поколения, вино для домашнего употребления готовил собственноручно и того «пойла», что завозили в магазин Амаяка для продажи, в рот бы не взял, даже если бы собственные винные запасы закончились. Он отхлёбывал пару глотков, но лишь для того, чтоб оценить вкус и качество товара, и безошибочно определял не только крепость вина и сорт винограда, но даже место его рождения, равно как и порядок хранения напитка, чтобы оно ненароком не скисло, и прочее.

После службы Тер-Месроп довольно быстро разрешал свою «дилемму», вспомнив про Исабеково красное искристое вино из мовуза, а наши домашние не садились за стол, терпеливо дожидаясь, чтобы святой отец благословил «хлеб их насущный» и можно было приняться за трапезу со спокойной совестью.

Чего только не стояло на большом столе, накрытом белоснежной скатертью! Икра всех сортов, копченые свиные ребрышки, в огромной сковороде ванский тарех, запеченный с яйцом, соленья бабушки Банавши: горьковатый бохи, *гяндлан*, *авелук*, *дандур* ... молодой барашек или козлёнок в большом противне – на свежее испеченном лаваше – только что из тонира...

После ритуала благословения Банавша робко целовала протянутый к ней крест и, имея в виду прежде всего изобилие на столе, с виноватой покорностью шептала одну и ту же просьбу к Создателю: «Господи, не сочти за излишек».

Раньше всех из-за стола вставал Исабек. Он мало ел и мало пил, но быстро уставал от шума и многоречивых тостов и уходил, наказав остальным продолжать веселье. А Банавша, любившая застолье и гостей, уложив мужа в постель, возвращалась и садилась послушать своего сына устабаши Аветиса, если тот был в родительском доме, а уж он умел говорить! Даже нетерпеливый Тер-Месроп не перебивал, когда Аветис принимался о чем-то рассказывать.

В такие дни отец Месроп приходил домой поздно, когда все уже спали, с зажженной свечой бесшумно обходил комнаты, одну за другой освещая их тусклым, колеблющимся огоньком свечи и шепча привычные молитвы. Кто знает, какие слова таил он в себе для своих беспокойных детей, темноголовых и золотоволосых, разметавших кудри на белых подушках в безмятежном детском сне...

Аршавир, Вергине, Шаварш, Хорен, Норайр, Арамо... Из всех из них одному Аршавиру, старшему, доведётся стать единственным утешением для отца...

Такая жизнь Игдыру не с неба досталась. Старожилы помнили времена, когда они не обладали правом выбирать главу города, и Игдыром управлял назначенный губернатором курд Гасан-бек Шамшадинов, а в Дашбуруни – турок Рашид-хан со своей сворой стражников, которые наводили ужас на жителей окрестных армянских деревень. Вот что писал в газету «Мшак» 9 июля 1905 года местный житель:

*Письмо из Игдыра*

*«Из 226 сёл в Сурмалу всего 23 армянские, из них 6 изолированы от остальных и раскиданы по разным уголкам уезда. Это Абас-гёл, Гюлиджан, Мола гамар, Азигзлу, Дашбурун и Кохб.*

*Остальные 17 сёл (подробно перечисляются), в их числе Блур, Игдыр и Игдыр-мава, (последние сейчас объединились), почти в центральной части Сурмалу образуют группу, окруженную с юга курдскими деревнями, а с севера – многочисленными турецкими.*

*Их нынешнее положение – с одной стороны персидская граница, с другой турецкая – создаёт очень тяжелые условия проживания для армянского народа. Полевые работы почти забыты, и армянское население занято только обеспечением своей безопасности...»*

Вот какое «соседство» терпел Игдыр, и доподлинно известно, что турецкое и курдское население ни в Игдыре, ни во всём Сурмалу никто никогда не беспокоил, а вот чтобы «держать в узде» беззащитных армян сюда направляли специально отобранных армянофобов типа Богуславского. И тот же Исабек, или Лысый Кяспар, или Влас дивились подобной непостижимой логике «христианского» русского царя.

Более чем странно, милый мой Игдыр, не так ли? В чём же заключался смысл миссии этого христианского «спасителя», если во имя такого спасения он приносил в жертву лучших своих сынов? Вспомним хотя бы трагическую гибель Грибоедова, который приходился родственником «графу Эриванскому» Паскевичу, и тем не менее знатный родич смиренно проглотил это бесчестье и не стал наказывать персов, удовлетворившись всего лишь тем, что сумел выцарапать военную контрибуцию...ну, что скажешь?

– Что сказать... У Шах-Аббаса отобрал – и бросил на произвол судьбы. Кто их поймет, этих русских царей... Для меня они загадка.

Но, думаю, у твоих «глядящих исподлобья» горожан на подобные размышления времени не было, и уж точно просчитались те, кто думал мерить армян на свой аршин...

Ошибку русского царя пришлось исправлять, как ни было это неприятно для царских наместников. Была и кровь, много крови. Игдырцы сами истребили турецких и курдских беков и ханов, а заодно и богуславских, рыщущих вокруг. Что до «средств и методов самообороны», заботу о них взяли на себя расплодившиеся здесь в изобилии разнообразные «комитеты», действующие предельно добросовестно и «на высшем уровне». Причём известными методами...

Игдырцы не писали больше слезливых корреспонденций в «Мшак», «Тараз» или «Нор дар», с мольбами о помощи и о спасении. И Игдыр зажил так, как ему хотелось, – со своими выборными старостами и «главой», и даже с собственными полицейскими приставами.

Но пришли времена, когда некоторым твоим горожанам, даже из числа выдающихся, ты стал «тесен» и они предпочли тебе Эчмиадзин, Ереван и даже места, более отдаленные. Выпускники «Городского училища» получали право учительствовать где им заблагорассудится. Иные уезжали, устав от «разборок» между кланами-тайфами, от вздрагивания по ночам, от непрерывной пальбы и уличных перестрелок, таких же частых, как свадьбы, именины и общие праздники.

Бессонница не щадила даже пристава: в случаях, когда его инстанцию неосмотрительно «игнорировали», он, среди ночи разбуженный канонадой, садился на постели и громко матерился, с завистью поглядывая на преспокойно похрапывающую рядом неохватных форм супругу, затем вставал и, с жадностью проглотив стакан рассола, продолжал в уме перечислять посулы, которые выскажет завтра этим неуёмным стрелкам, а попутно прикидывал, кто стрелял и из какого квартала...

– Ну, Нисанов, сукин сын армяшка, ты у меня завтра попляшешь! Не удосужился меня, «вашсиятельство», с собой пригласить, а ведь мне известно, что дома у тебя целый склад запрещённого оружия!..

А утром Нисанов, ну, или какой-нибудь Погос, держа под мышкой «четвер», то есть солидную бутылку отборной виноградной водки, а также объёмистый пакет с «закуской», торчал у дверей пристава, с «виноватой» улыбочкой склоняя к плечу голову...

– Ага-а, явился! И что прикажешь делать, в лоб тебя поцеловать или штаны спустить?

Но дело до штанов не доходило, и кончалось всё, конечно, миром.

Вот так и повелось в Игдыре: одни уходили, а те, кто остался, вставали утром и принимались за обычные дела.

Среди ушедших немало было и тех, кто стали уже признанными «национальными» деятелями, радеющими за спасение своего народа теперь уже в Ереване и Тифлисе, и даже дальше – в Москве и Петрограде.

Правда, в твоей жизни с их уходом особо ничего не изменилось, и твоя и без того хлопотная жизнь стала, пожалуй, ещё более беспокойной. Изменилось время.

С каждым днём учащались нарушения границы, росло число перебежчиков в Турцию и Иран и обратно, вооружение и военные формирования перемещались во всех направлениях: из Еревана в Игдыр, из Игдыра в Ван, Баязет и бог его знает куда. Как ни старались сохранить в тайне эти передвижения, их невозможно было скрыть, особенно когда позиции меняла артиллерия с ее пушками и снарядами.

В один из таких дней, уже ставших привычными, когда тяжелая пушка завязла в трясине знаменитого Игдырского «озера» и обессиленные лошади не могли её вывезти, к делу привлекли знаменитого Калаша – буйвола, принадлежащего Шабо, и сильное животное чуть не на четвереньках, надрывая жилы, вытащило орудие из болота. Потрясенные и восхищенные офицеры-канониры в награду за это беспрецедентное геройство повесили Калашу на шею медаль – в согласии с русским обычаем отмечать любое мало-мальски значительное событие каким-нибудь значком или железякой. Правда, Калаш, не подозревавший о том, какой чести удостоен, медаль носил недолго: сын Шабо присвоил её и носил сам, пыжась от гордости...

\*\*\*

В Игдыре многие держали буйволов – и тягловых самцов, и буйволиц, из молока которых готовили мацун, масло и, в особенности, *тан*, спасительный в игдырскую жару. Держали и бычков – для боёв, наравне с баранами. Буйволов выводили на поединки во время весеннего праздника *Царзардара* (Вербное воскресенье) – здесь его называли «*гяшт*», все ждали и готовились к нему с нетерпением. Проходил он очень пышно, весело и шумно.

В «гяшт» приходили пахлеваны – странствующие канатоходцы и борцы, стравливали бойцовых баранов, устраивали петушиные бои, тут же объявлялись

«боша» – цыгане со своими плетеными корзинами, ситами и «горной жвачкой» (*сари цамон*). Даже устраивали фейерверки – «*фршанги*», одним словом, смотреть-дивиться было чему, а уж заколотой в жертву скотине и выпитым бутылкам вина числа не было.

В кулачных боях – *гюляш*– участвовали многие игдырские парни, из них самый знаменитым и любимым был Хондкаренц Корюн, которого никто не мог одолеть.

Если на буйволиных боях почти не слышно было громких голосов, то на Корюновых поединках стоял сплошной рёв. А когда Корюн приближал к сопернику свою маленькую голову (наверное, она казалась такой из-за мощного торса и могучих плеч) и из-под его густых бровей сверкали только белки глаз, устремлённых противнику в лоб, рёв мгновенно прекращался и все, затаив дыхание, ждали, зная, что в следующую минуту тот перевернётся в воздухе и шлёпнется на «тарт» – утрамбованную смесь кизяка с соломой, – распластавшись на спине под сильным коленом Корюна. И рёв зрителей делался оглушительным.

Буйволиные бои – дело совсем другое. Много позже я видел бой быков в Испании, в Толедо. Целый спектакль, театрализованное действие, которое, с какой бы пышностью и торжественностью его ни обставляли, конец имело очень грустный – кровожадный тореро последним ударом приканчивал обессиленное, сбитое с толку, отупевшее и недоумевающее животное, исколотое сотнями кинжалов. Великолепного, могучего быка! И рёв трибун, и летящие на арену цветы, и радость... Какая же это радость? Самая настоящая дикость и варварство! Я не мог смотреть на это и после первого же боя ушел, твёрдо решив, что больше никогда не стану ходить на эти бесчестные кровавые поединки с заведомо приговорённым животным.

Буйволиные бои не нуждались в человеческом вмешательстве, чтобы стать театральным спектаклем. Буйволов приводили на площадь, расположенную между нашим домом и церковью Сурб Геворга. Их расставляли друг против друга по разным сторонам площади и отбегали с веревками в руках. Несколько минут животные, грозно ворча, топтались на месте, рыли землю копытом и смотрели друг на друга, мотая массивными головами. Потом разбегались вразвалку и молнией кидались друг на друга. Первый удар лоб в лоб сопровождался непередаваемым глухим треском, и на какой-то миг они замирали, увязая в земле копытами. Затем начинались стычки с короткими перебежками. Буйволы не замечали зрителей, кольцо которых по ходу поединка то расширялось, то

сужалось. Внимание животных концентрировалось на боках противника, куда целили их рога. После особенно сильных ударов у них, бывало, глаза вылезали из орбит, из ноздрей текла кровь, изо рта брызгала пена. При каждом ударе затаившие дыхание зрители не могли сдержаться, и толпа выдыхала единодушное «Вах!..»

Животным не позволяли «портить» друг друга. Победленного угадывали легко – он затравленно озирался, и его мужские придатки безжизненно повисали. И тут раздавался пронзительный звук полицейского свистка: в него дул пристав, почётный судья поединка, и группа мужчин с верёвками окружала буйволов и растаскивала их.

В это же время на других площадках натравливали друг на дружку жертвенных баранов, воинственные петухи с налитыми кровью гребешками выклевывали друг другу глаза, а рядом «распевали» перепелов. Перепелиные турниры начиналась и кончались песней, замолчавший «певец» считался побежденным, и хозяин был обязан свернуть ему шею.

Этот замечательный весенний праздник длился целую неделю, с утра до позднего вечера: пир и веселье, песни и пляски. Со всех сторон съезжались народные певцы-*ашуги* разных национальностей, и их поединок, подобно перепелиному, длился до изнеможения, и горе умолкнувшему! Шею, конечно, не сворачивали, но проигравший уходил с поникшей головой.

Если «гяшт» был праздником весны и радости, то часовня близ Аргаджа, возведённая в честь евангелиста Марка, была местом паломничества, и шествие народа к богомолью в день поминовения- *Србхеч* приходилось на канун сбора урожая в садах и созревания винограда. Всё население Игдыра участвовало в паломничестве. Аргадж находился недалеко от Игдыра и славился вкуснейшей водой своих родников, образующих маленькое озерцо, которое игдырцы называли «гёлом» – лужей, вероятно, из-за размера.

Паломники резали жертвенных овец, опять же пировали, плясали и пели, и это паломничество растягивалось на несколько дней...

Но люди ощущали неясную тревогу, какое-то тяжёлое дыхание, что-то непонятное витало в воздухе и лихорадило, что-то необъяснимое, и объяснить его было некому. Совсем не вязалось это ощущение с твоим народом, с его удивительным... хладнокровием ли сказать, или, может, безразличием... Но ни эта тревога, ни «тяжёлое дыхание» не могли помешать тому же Арзуманенц Тиграну с его десятью дочерьми или нашему зятю Власу сидеть вечером на балконе,

наслаждаться сбегающей с Масиса прохладой, пить чай с любимым вареньем и, в отсутствие реального собеседника, произносить мысленные монологи.

14-й год Игдыр перевалил как-то незаметно, несмотря на то, что беженцев и переселенцев стало больше, участились столкновения на границе, колокола русской церкви трезвонили громче, больше стало казаков, которыми игдырцы неизменно восхищались (возможно, их присутствие и было причиной столь уверенного безразличия твоих гоорожан). «Комитеты» было не узнать – все просто с ума посходили... А Влас сидел на своём балконе, и пил чай с обожаемым тыквенным вареньем, и из его длинных монологов тётушка Овсанна заключала, что её Влас поддерживает какие-то связи с... Лондоном, Нью-Йорком, Петербургом, с какими-то неизвестными ей людьми, – с такой страстью он говорил обо всех, в том числе о самодержце Николае, в особенности когда потягивал «Мавро» – смесь холодного лимонада и домашнего вина...

Тётушка Овсанна детей не имела и уже не ждала. Нет детей, и не те её годы, чтобы рожать. И это простое «нет детей», отсутствие единственного счастья, дарованного человеку Всевышним, становилось грустным, безутешным рефреном всей её прожитой и предстоящей жизни. И Влас мог сколько угодно сердиться, когда она твердила: «мой Аветис, мой Амаяк...», но далеко не заходил, так как жена до сумасшествия любила племянников. Нуне, Мане, старшие сестры, больше пошли в отца, Исабека, а тётушка Овсанна была копией бабушки Банавши – чуть более изящной, но всей своей сутью – вылитая Банавша. Как и та, в беспрестанном движении, в заботах и хлопотах. С раннего утра, задолго до гудка Власовского завода, тетушка Овсанна уже была на ногах и вся в делах, и не только по своему дому – дома-то один Влас, и «несделанных» дел в своём доме у неё днём с огнём не сыщешь. Его черные сюртуки были всегда наглажены, черные «штиблеты» сверкали, рубахи белые как снег, а уж что он ел!.. Дочь Банавши знала, как накормить Власа, чтоб он, подремав часок после обеда, был готов к словесным баталиям, то бишь мог толкать речи даже без «аудитории», что чаще всего и случалось. И тогда единственной его слушательницей оставалась сама Овсанна, которая собирала, мыла, вытирала посуду и, между делом, вставляя всего лишь одно-два словечка, становилась полноправной участницей разговора.

Скажем, речь идет об Англии, о её позиции в новой войне, о её отношении к нам, армянам, и Влас называет какое-то имя турецкого паши или английского дипломата.

– А это, прости господи, кто такой? – спрашивает Овсанна, просто чтобы что-нибудь сказать.

– Какая разница! Англичанин...

– Англичанин, и что?

– Да ничего! Англичанин и всё!

– Как это – всё? – так же спокойно спрашивает тётушка, прополаскивая посуду.

– Англичанин, чёрт его поberi, и всё! – тут Влас багровеет и сердито бьёт рукой по столу.

– Ладно, ладно, пусть по-твоему будет... На что он мне нужен, этот твой англичанин!

При всём при том уступал всегда всё же Влас, отлично понимая, что его тонкие политические замечания всё равно до Овсанны не дойдут, и продолжение речи уже бормотал себе под нос, чтоб она не слышала и не задавала новых вопросов.

И потому, что у Овсанны было много свободного времени, она одна или вместе с Власом часто бывала у нас дома, приходила помочь Банавше в её нескончаемых хлопотах по хозяйству или просто поболтать и пообщаться с нами, детьми, взбить шерсть для тюфяков и одеял Сатеник, которую она очень любила, посидеть со своими «сладкими племянниками» или зайти к Аветису, брату, чтоб помочь невестке Вардуи в тех же нехитрых домашних делах. Единственной мздой за всё это была возможность весь день до вечера обласкивать – обцеловывать нас, детей, звучными, смачными поцелуями, а под конец уложить в постель, укутывая сшитыми ею же мягкими, пахнущими солнцем одеялами, сесть рядом и рассказать сказку...

Я всегда избегал энергичных изъявлений любви наших родичей, но тетушке Овсанне кидался на шею, чтобы с каждым поцелуем слышать: «красавец мой, сладкий мой».

То же самое моя любимая тетушка повторяла в Ереване, когда и помогать-то стало не в чем: ни тебе когак– тарех солить, ни шуджух– алани сушить. Но тюфяки и одеяла еще взбивали по-прежнему, а мы, дети, всегда любили её и ждали...

\*\*\*

Тер-Месроп как всегда, когда крестил детей, возводил очи к небу, но стал забывать свой указательный палец между их зубками, даже боли не чувствовал, ибо мысли его витали совсем в другом месте...

Тер-Месроп и отец Мефодий каждый день провожали призывников на немецкий фронт, на турецкий фронт, и если отец Мефодий порой целую речь закатывал, держа крест над головами полуголых, стоящих в одних брюках призывников, то Тер-Месроп только молча осенял их крестом.

Ах, откуда мог знать приходский священник, что обрушится на голову его народа!..

Тер-Месроп только всякий раз вспоминал вдову Шогакат, которая на коленях умоляла пристава не отнимать у неё единственного сына, не забирать в солдаты. И слова пристава вспоминал, с безгливостью произнесённые: «Пашол, пашол вон...» Как в Игдыре привыкли говорить собакам (почему-то с собаками здесь принято было общаться по-русски).

Так и прошёл 1914-й год над Игдыром, над нашей головой – пашол вон...

Игдырцы в одном были совершенно уверены – пока в Игдыре стоят казаки, они могут на своих балконах спокойно распивать чай с вареньем.

И сколько бы ни думали-гадали, даже предствить себе не могли, что этот казак может однажды плюнуть и бросить и их Игдыр, и Ван, Карс, Алашкерт и уйти восвояси, чтобы себе жить-поживать да печь свой хлеб-каравай. Но и до хлеба-каравая их не допустили – не вышло. Никому даже присесть времени не дали, никому...

Уже заканчивалось строительство водовода, подводящего питьевую воду родников Зора к Игдыру. Жизнь удивительным образом оживилась, заказы из гарнизонов увеличились, хрустящие «николаевские» сотенные, пятисотенные бумажки с портретами Екатерины и Петра Великого складывали друг на дружку стопочкой... Это потом, в Ереване, они станут игрушками в руках детей, но тогда аккуратно складывались и ценились дороже золота. Однако кто поумнее, всё-таки предпочтёт золото. А хозяин торгового дома «Игдырь» Амаяк Исабекович, как и следовало ожидать, поступит как раз наоборот. Перед переселением все золотые монеты он превратит в бумажные деньги, завернув в тряпицу, привяжет их к спине, чтоб легче было везти, и без звона, без шума. А в Ереване развяжет стопку новеньких, хрустящих пятисотенных и долго будет растерянно тарашить красные невидящие глаза, ничего не понимая, впадая в столбняк и путаясь в мыслях, окаменев от горечи и удивления...

Росло число беженцев, Игдыр принимал и провожал их, и двери горожан всегда были открыты каждому. Расплодились многочисленные «комитеты» помощи беженцам, в которых главными действующими лицами стали твои

женщины, и надо сказать, их энтузиазм в поощрении не нуждался. Стало больше подразделений, охраняющих границы, и ты, любимый мой Игдыр, вместе со своими жителями чувствовал себя в полной безопасности под крылами русского двуглавого орла. Самому недоверчивому, самому трусливому из твоих горожан не пришло бы в голову, что турок может очутиться по эту сторону Оргова, поскольку такого не бывало никогда. Некоторые из твоих парней присоединились к добровольческим отрядам, и бедствия 14-го и 15-го годов прошли мимо тебя. Боль была не твоей или армян Еревана или Тифлиса, Ростова или Армавира...

Много стало сочинителей патриотических песен – и слов, и музыки к ним. И у тебя родились свои песни, не менее плаксивые, вышибающие слезу. Но аисты на толстоствольных твоих тополях не бросили своих гнёзд, урожай в садах был так же хорош, и с первыми лучами солнца твои поливальщики уже были в полях и в садах. Но больше стало и тех, кто был осмотрительнее, и наиболее прозорливые из них незаметно, без паники, покидали тебя. Правда, уходившие не были людьми «от земли». Разве человек, связанный с землей, когда-нибудь оставит её? Разве что нож к горлу приставят... Нет, уходившие были не «от земли».

\*\*\*

Пожилые люди в Игдыре пёстрой одежды не носили. Зимой и летом это была длинная шерстяная чуха чёрного цвета, снизу синие сатиновые бешметы, а в холода сверху накидывали большие домотканые шали и укутывали головы башлыками. Одежда молодых тоже не отличалась разнообразием: те же чухи или военного покроя куртки-«френч» из тонкой фланели, шаровары, заправленные в сапоги, а зимой добавлялись сшитые по моде «венгерки» из толстого сукна.

Моя бабушка Банавша носила черные или темно-синие цвета, голову тоже повязывала черным платком, и только под ним белела косынка, концами которой она прикрывала рот и подбородок, когда разговаривала с мужчиной. И вообще в Игдыре женщины не привыкли ходить в пух и прах разодетыми – это было не принято, наряжались только отправляясь в гости или в церковь. Это был молчаливый уговор, своего рода общественное соглашение, которое шло из древности, ещё из Хоя и Салмаста, и никто не смел нарушить его даже среди молодёжи.

Бабушка моя была маленького роста, крепко сбитая, подвижная женщина со смуглым лицом, с бровями вразлет, сходящимися у переносицы, с черными глазами, которые всегда светились доброй улыбкой, – полная противоположность деду Исабеку с его вечно хмурым лицом. Бабушка была из рода Ордоенц,

носившего прозвище «сверчки». Кто знает, может, какой-то видный представитель этого рода, человек привередливый, бурчал и ворчал по всякому поводу – одним словом, «сверещал». Однако бабушку ворчащей, делающей кому-то замечание, да просто болтающей попусту никто не видел. Её речи начинались и кончались ласковым «джан» и «умереть мне за тебя». И то сказать, ворчуном может быть человек праздный – по крайней мере, тот, у кого есть время и на то, чтобы приметить, и на то, чтобы побрюзжать по поводу того, что ему не по душе. У моей бабушки свободного времени не было, хотя вставала она раным-рано, ещё затемно, и никто никогда не видел, когда она одевается. Наконец, став женой Исабека, у него словоохотливости научиться не могла. И это правда, что супруги за годы долгой совместной жизни становятся похожи друг на друга.

Но как ни была малоречива, Банавша, подобно всем женщинам, любила поговорить с невестками, с взрослыми уже дочерьми, с соседями. Особенно охотно садилась передохнуть, когда домой приходил старший сын, устабаши Аветис. Наверное, Аветис был её любимым сыном, но со временем к материнской любви добавилось ещё и безмерное уважение и почитание. Все сказанное Аветисом было законом для бабушки, и того же она требовала от окружающих. Точно так же Аветиса почитала моя мать, готовая для него таскать зубами угли из тонира... Банавша всюду успевала: солила ванский тарех и когак, топила масло, закладывала разнообразные соленья, готовила алани, нанизывала шуджух, развешивала под потолком погреба виноград. А её сыры! И волокнистый «*телпанир*», и брынза, и козий сыр, и, конечно, «*хорац панир*» – деревенский сыр, прессованный с пряной зеленью. Но помимо всего этого Банавша была знахаркой, и знахаркой замечательной. Не скажу – врачом, ибо у Игдыра был один врач – парон Асланян, получивший образование в Петербурге. Доктор Асланян распознал главную причину всех немощей и недугов игдырцев: это лихорадка, или, как говорили игдырцы, «трясучка».

Но было известно также, что неизлечённых доктором Асланяном больных с успехом долечивала моя бабушка вместе со своим «ассистентом» Геворгом. Друг другу они не мешали. Таблетки доктора Асланяна – в основном хинин, или «кинакина», как называли его в Игдыре, – дети глотали со слезами и с вареньем, а взрослые «полоскали рот» водкой, чтоб «перебить горечь» лекарства. В аптеке доктора на прилавке всегда стоял большой чан с концентрированным раствором хинина, а рядом стакан, и если игдырец чувствовал приближение трясучки, он бросался в аптеку, опрокидывал в рот стакан раствора, как это делали посетители

харчевни «Капек Акопа» со стопкой водки, и так же, как они, морщась, успокоенно брёл домой, не забыв оставить на прилавке копеечку....

В отличие от господина доктора, который лечил, в основном, готовыми лекарствами, бабушка сама придумывала целебные настои и мази, была «сама себе фармацевт». Она приготавливала свои снадобья от бесчисленных ран и недугов из корешков, цветов и плодов растений. И от больных отбою не было, и излеченных не сосчитать. От рези в животе и от сердечной колики, от камней в почках и от боли в глазу – от всего, даже от неизлечимых язв, у неё находились мази и примочки. Научилась она этому у своей матери, а та, наверно, у своей. Но ни одна из её дочерей, к сожалению, не проявила интереса к этому чудодейственному искусству. А жаль, очень жаль...

Никто не мешал её «практике», не ставил ей запретов, поскольку сам Исабек был не против. У него на этот счёт были свои соображения, и весьма дальновидные. Самыми злостными язвами страдали в большинстве курды-езиды из соседних деревень, которые не знали мыла и горячей бани. Подхватив какую-нибудь болячку, они торопились в Игдыр, а после избавления никогда не забывали свою спасительницу, благодарили, чем могли и как умели. «Клиникой» служил отдельный флигелёк во дворе, рядом с дровяным сараем, и нам туда ходить строжайше запрещалось. Единственным «ассистентом» бабушки был Геворг, паренёк-сирота из Турецкой Армении, которого бабушка почти что усыновила, и «хирургические вмешательства» она доверяла только ему. Позднее этого Геворга бабушка женила на славной девушке, подарила им хорошее приданое, и они уехали в Тифлис.

\*\*\*

Накрывала Исабеку на стол всегда только бабушка. Когда тот возвращался из сада или с прогулки по городу, моя мать набирала свежей воды из колодца и с полотенцем на плече шла встречать свекра. Исабек кряхтел и фыркал от удовольствия, умываясь ледяной водой, потом вытирался, одарив невестку подобием улыбки, а если шёл из сада, предупреждал, что в корзине есть кое-что для детей, – это означало, что он сорвал для нас лучшие фрукты в саду, – только он знал, где их найти. Затем дед вынимал из кармана бешмета ароматную дыньку-шамам:

– А это тебе!

Наверное, моя мать была деду по сердцу.

В летние и осенние месяцы все собирались в *ацатуне* – маленькой пекарне, где в небольшом тонтуре томился *бозбаш* или каждодневная еда игдырца – *шорва* с пшеничной крупой, а на голубой скатерти выстраивались в ряд миски с печёными баклажанами и помидорами, авелуком и *гяндлой*, и непременно деревенский сыр, приправленный разнообразными пряными травами, свежая зелень и лук с огорода...

– Сатеник, душа моя, налей-ка да поднеси мне чарочку... – говорил он матери. Случалось одну чарочку, случалось две – в зависимости от настроения Исабека. Но меру свою дед знал хорошо: не больше двух «чарок» вина, и только из особого караса, который берёт для себя.

Они ели, предлагая друг другу лучшие кусочки, и Банавша то подавала мужу лаваш, то придвигала блюдо с авелуком, то доливала стопку. И вела неторопливую беседу. Они понимали друг друга с полуслова, перебрасывались короткими незаконченными фразами о доме, о детях, о бахче, о «духане»...

– Лоби пора собирать... – скажет Исабек, и бабушка кивает головой – это значит, что завтра лоби будет собрано.

– Аветис говорил, на виноград покупатели есть... – тихо сообщает Банавша, и теперь уже Исабек соглашается кивком и добавляет: – Пусть приходят, посмотрю...

Потом, не поворачивая головы, спрашивает:

– А что это стоит там, на балконе?

– «Шкаф» называется, купили, чтобы одежду складывать, – но, зная нелюбовь Исабека ко всяким «нововведениям», Банавша поспешно добавляет:

– Твои чухи и пальто не знаю, где повесить... В сундуке не помещается...

Исабек доволен аргументацией и тему шкафа больше не продолжает.

– Усабегов слуга приходил? Сыр принёс?

– Не волнуйся, принесёт. Ты скажи, как спина сегодня, болит?

– Малость получше, сегодня снова намажь той мазью на ночь.

– Да разве твоё это дело колесо в телеге менять? Там Абас, там Айро, молодые-то на что? Не мальчик уже, не те твои годы...

– Из Кохба никто не приходил?

– Нет, а что?

– Дайте там знать, чтоб Аршалуйс пришёл, пока не поздно...

Это означало, что состояние счетов в магазине ему не нравится и нужен дядя Аршалуйс, чтобы привести их в порядок.

И так каждый божий день...

Затем, так же согнувшись, Исабек откинется на подушки и, склонив голову на грудь, дремлет, негромко посапывая, отчего кончики усов у него то приподымаются, то опадают.

А Банавша беззвучно соберёт посуду со стола, домотканым ковриком укроет колени мужа и перекрестит его лицо, шепча:

– Господи, велика слава твоя и всё, что ты нам даёшь...

Исабек не знал, что такое болезнь. Захворал лишь однажды, свалился в горячке – наверное, это было сильное воспаление лёгких, и ни таблетки доктора Асланяна, ни даже чудодейственные бабушкины лекарства не помогли...

Банавша, со смиренным хладнокровием поправив чёрную с проседью голову мужа на подушке, бережным движением своей маленькой ладони закрыла ему глаза и жестом дала понять собравшимся, чтобы удалились. Потом села у его изголовья и тихо, вперемешку со слезами, стала, как обычно, рассказывать Исабеку обо всём происшедшем за день, о том, что сделано и что надо будет сделать... Казалось, Исабек, откинув на подушки гордую голову в обрамлении вьющихся серебристых волос, слушает, как она говорит и говорит, время от времени дрожащими пальцами поправляя прядь, спадающую ему на лоб...

Потом она встала, выпрямив многострадальную спину, и с непонятной суровостью произнесла последнее, что хотела сообщить мужу:

– Я тебя долго ждать не заставлю, седмины пройдут – приду...

Банавша с Аветисом искупали Исабека, облачили его в новую белую рубаху, одели в праздничную чуху, синий бешмет, черные чакмы. И Исабек лежал, словно спал. Красивый, гордый, отрешённый от всего, далёкий, недостижимый, каким и был всегда...

Потом, к неудовольствию Банавши, все заплакали-заголосили. Сама Банавша не плакала, сидела как оглушённая, поражённая тем, что случилось так неожиданно и скоро, ушедшая в свои мысли и затерявшаяся в них. Остановившимися, невидящими глазами Банавша смотрела в неведомые дали, крепко сжимая в руке Исабековы чётки ...

Купала Исабека Банавша. В Игдыре были бани, но наши любили мыться дома.

В субботний вечер, когда Исабек возвращался из сада, всё уже было готово к купанию. Самая большая кастрюля, в которой на зиму готовили каурму, полная до краев, грелась над большим тониром, над малым, в котелках поменьше, – вода

для ополаскивания. У нас в кухне было много разнообразных горшков, котелков, казанов, и у каждого своё место и предназначение. А в доме на полках стояла отменная фарфоровая посуда, которую ставили на стол, когда приходили гости.

Когда, отведав в хлев скотину и задав ей корму, Исабек входил в дом, его уже ждало большое корыто. Он садился в него, раздетый до нижнего белья, белотелый, пряча в усы что-то вроде улыбки, слегка поёживаясь и почесывая волосатую грудь...

И Банавша приступала к действию. Раза три мылила и своими твердыми пальцами так тёрла и скребла его многострадальную голову, что Исабек покряхтывал от удовольствия и бормотал под нос что-то, как видно, приятное, потому что лицо Банавши на протяжении всего ритуала светилось нежной и чуть лукавой улыбкой – просто от сознания, что всё, что она делает, доставляет удовольствие мужу.

Затем вещь за вещь она подавала мужу нагретое над тониром чистое бельё и носки, и Исабек, не в силах скрыть удовлетворение, шутя говорил жене:

– Помилуй Господь покойного отца твоего за то, что такую девушку мне отдал, Фиалка-Манушак... (то же, что по-персидски Банавша).

В эти дни он сидел со всеми за столом умиротворенный, с разгладившимися морщинами, неспешно ел обед и улыбался невестке и внукам, – и так каждую субботу или воскресенье. А Банавша, счастливая и довольная, не забывала поблагодарить Бога и старалась умилоствовать его, чтобы Всевышнему «много не показалось».

Но Всевышнему, который, как видно, не слишком осведомлен о том, что делается в этом мире, всё же «показалось много»...

Бабушка была ещё довольно здоровой, крепкой женщиной, «звонкой», как говорят игдырцы. Но слово своё сдержала. Правда, чуть задержалась – на месяц или около того, но без своего Исабека жить не захотела и всё!

Скажи, дорогой мой Игдыр, разве это дело? Куда это годится, чтобы человек не мог посетить могилы своих близких и любимых людей? Может, ты знаешь, что с ними случилось? Поросли колючками и крапивой? Целы ли надгробья или их сровняли с землёй? Что осталось от кладбища Сурб Геворга? Ведь это очень нужно, человеку просто необходимо навещать родные могилы. Это против всех человеческих правил! И кто как не я должен бы каждой весной приносить букетики фиалок на могилу моей бабушки Банавши...

Молчишь? Не знаешь... Всего и всех тебе не упомянуть, понимаю. Их нет... Но что значит «нет»? Ведь они были, и сто, и тысячу лет были, ведь были же!.. Странное это слово – «нет»...

\*\*\*

Выехав из Еревана в «Жигулях» – этой, с позволения сказать, машине, за какой-нибудь час можно доехать до выкрашенных рыже-красной, как здешняя земля, краской ворот нашего дома – «дарвазов». Пекарня-ацатун находится по правую сторону от дарваза, дальше идёт хлев, откуда весь день слышалось фырканье нашего Джейрана, беспокойно цокающего копытами по деревянному полу, или молодое ржанье Васьки, которое означало, что он хочет, чтоб кто-нибудь заглянул в хлев с ведром холодной воды или со свежей охапкой сена, пахнущего цветами.

Однажды я обидел Ваську. Зашёл в хлев погладить мою любимицу, тёлочку Цагик, и, увидев, что перед ней сена мало, а у Васьки большая охапка, отобрал у него немного, отнёс телочке и вернулся. А когда шёл мимо Васьки, он потянулся мордой и прихватил губами мою щёку... На мой крик прибежал кто-то из взрослых, но никаких следов у меня на лице не нашли, и боли тоже не было, – видимо, вопил я всего-навсего от испуга. Васька просто решил на свой, лошадиный манер пожурить меня за дурной поступок, наподобие того, как, бывает, треплют за ухо или щиплют за щёку. За неимением рук он сделал это своими толстыми, мягкими губами. И что удивительно, больше полувека прошло с того дня, а ноздри мои помнят чудесный травяной дух, исходящий от Васькиной морды, и мягкое-мягкое прикосновение его морды к лицу...

– Э, милый, будь у Васьки язык, он сказал бы ещё кое-что... Мало того, что ты, как слепой щенок, не заметил копну сена рядом с хлевом. Он сказал бы тебе, что настоящий игдырец в жизни не отобрал бы сено у коня, чтоб отдать его сопливой телушке...

Лошадей у нас было больше, чем наездников в семье. «Джигитов», кроме деда, в доме не было, да и тот своего «давреша» брал с собой, скорее, чтобы иметь собеседника, не ездить одному в сады. Мой старший брат учился в Алекполе в Коммерческом училище, вероятно, чтоб стать достойным продолжателем торгового дела Исабека. На Ваське в случае нужды ездил наш слуга, езид Аббас.

Число наших лошадей часто зависело от должников моего отца, офицеров, которые, покидая Игдыр, в счёт долга оставляли ему коня и вообще всё, в чём больше не имели надобности, даже оружие. Во дворе стояли без дела две брички,

которые пригодились лишь в дни переселения. Покупателей на них не нашлось, и на них только куры рассаживались да время от времени мать любила подразнить ими отца по поводу его торговых «достижений».

Так вот, значит, на «Жигулях», если ехать по шоссе, которое раньше называли царским, я за час мог бы оказаться в Игдыре. Прошёл бы двухэтажное здание почты, впереди по правой стороне – Игдырский бульвар, в конце которого видна русская церковь со своим кладбищем. Церковь сложена из черного туфа, с двумя куполами – большим и маленьким, и с колокольней. Голубей там больше нет, улетели вслед за своим хозяином, отцом Мефодием. Даже они догадались, что турок голубей не шибко жалует. Слева от почты, через несколько домов – наш магазин, на перекрестке, а оттуда наш дом и Игдыр-мава всего в двух шагах. Вывески над магазином нет, её мы взяли с собой, наверно, думали вернуться назад вместе с ней. Назад не вернулись, и вывеска осталась в Ереване, стала навесом на балконе, над импровизированным шкафом, куда складывали лаваш. В Игдыре ели только лаваш, а в единственной пекарне в городе выпекали «соми» – буханки для живущих там русских. От нашего магазина шла улица, ведущая в Игдыр-маву, напрямик к нашему дому. Широкая улица, не похожая на кривые и узкие улочки в Игдыре... Новая улица, которая со временем, может, стала бы проспектом имени какого-нибудь выдающегося здешнего жителя или военачальника. Скорее военачальника, поскольку почтенные игдырцы питали особое расположение к людям, проявившим себя на этом поприще...

Мысленно отсчитываю домá от магазина до нашего дóма, тороплюсь и от спешки ошибаюсь. Красная краска на наших воротах сильно поблекла, их давно не красили, но створки целы, на месте. Железного молоточка нету, на его месте зияет дыра, но наковаленка под ним сохранилась. Молодые тополя вдоль ручья, что течет рядом с домом, срубили, одни пеньки торчат. А какие грибы выростали в тени их стволов – шляпки величиной с лопату! Я помню, как вкусно было есть их зажаренными на углях! Стучать нет нужды, я тихонько толкаю дверь, и она поддается с глухим ржавым стоном... Никого нет во дворе, неужели после нас здесь никто не жил? Прямо передо мной зияет черный зев колодца, рядом тутовое дерево, непомерно разросшееся, со стволом в три обхвата. За ним видна бабушкина «клиника», с выбитыми стёклами окон.

Направо, вдоль дома ацатун, тонратун – летняя кухня, впритык к ней – дровяной сарай и саманник, но ни на крыше саманника, ни рядом нет стожков сена, а большой длинный хлев стоит целёхонек. Дверь открыта настежь, и, если

очень захотеть, можно услышать громкий всхрип Джейрана и счастливое ржанье Васьки, который не в силах скрыть свою радость при звуке человеческих шагов.

Вокруг мёртвая тишина. И если эта тишина продлится ещё немного, кажется, заскулишь, как бездомная собака. Поворачиваю голову налево, где стоит недостроенный, «без головы», наш погреб-маран: отец хотел пристроить второй этаж, но не успел. Турку, новому хозяину нашего дома, не понадобился второй этаж, так необходимый нашей растущей семье. Ничего удивительного, турок на чужой земле даже шалаш строить не станет, если не уверен, что шалаш этот останется его собственностью. И удивительно, что же могло их остановить, когда уже целых полвека всё здесь принадлежит им? А то, что никогда, слышите, никогда, ни в какие времена Сурмалинская земля не была «их» собственностью! Кто же, какой из наших предков так «расщедрился», что вот так взял да и, как говорится, на подносе преподнёс прекрасную, цветущую губернию этим вшивым кочевникам? И даже закон давности как работал, так и работает на них сейчас, ибо сохраняет свою силу договор, заключенный во имя сохранения «добрососедских» отношений двух народов (!), и каждые десять-двадцать лет этот договор возобновляется с завидной пунктуальностью и трогательной заботой. Пускай бы уж и имя тебе сменили, что ли... как изменили название исполинской горы, что возвышается рядом с тобой. Той, которую в целом мире знают как гору Арарат. Теперь они её зовут «Атадагом» – Отец-горой, и это их прародитель Ной – вернее, его суннитский «тёзка», спустился с этой горы, и сыновей его звали не Сим, Хам и Иафет, а Гасан, Хусейн и Али.

Говорят, наглость – второе счастье. Это про них...

...Дверь марана полуоткрыта, но меня не интересует, что там внутри, в нашем маране. Да и что могло остаться в нашем погребе после налёта голодной саранчи? А ведь чего только не было в нашем маране! Разве что «птичьего молока»... Помню, были такие конфеты – сами игдырцы на них даже смотреть не хотели, зато их в невероятных количествах потребляли офицерские жены во время воскресных прогулок по бульвару под музыку гарнизонного оркестра... Наутро после этих концертов дворник при русской церкви – казак по прозвищу «Косой Пинчук» – выходил подметать бульвар и, махая метлой, в сложных многоэтажных формулировках выражал своё отношение к родительницам «этих окаянных сукиных котов», которые забросали весь бульвар фантиками от конфет и лузгой от семечек...

Но маран сейчас, конечно, пуст. И люлька для лаваша, которого в ней нет, тихо покачивается, пустая и лёгкая...

Турки, живущие бок о бок с нами, так и не узнали вкуса лаваша. Они с незапамятных времён ели что-то вроде лепёшек из бездрожжевого теста, которые выпекали на круглых железных листах – саджах, когда выпрашивая муку, а когда и добывая её грабежом. Ели в спешке, на коротких привалах в походах, когда гнали своих скакунов из бескрайних степей к Царьграду слабоумного Константина. Те же плоские лепёшки они ели, наверно, и когда мы оставили им Игдыр с нашими прекрасными тонирами...

К дальней стене погреба примыкает наш балкон, в этом месте мы всегда зарывали в землю кувшины с «хорац паниром». Его они, конечно, сожрали – и все дела! И «осквернённым» не сочли...

Я хочу идти дальше, но ноги не слушаются. Сажусь на пыльный сруб колодца и только теперь чувствую, до чего я устал.

Я любил заглядывать в наш колодец, где вода была прозрачной и чистой, наклоняясь, я, как в зеркале, видел в нём себя и кусочек синего-синего неба...

Нет ни меня, ни синего неба. Колодец засыпан землёй и завален мусором, сырой, тепловатый дух гниения бьёт мне прямо в лицо, и я с омерзением отшатываюсь, чтобы не задохнуться...

Стекленеющими глазами смотрю в сторону двора и сада... Сад стоит пустой, редко где виднеется одинокое дерево.

Беседки посредине сада нет, но абрикосовое дерево стоит, ветки местами обломаны, но стоит. Абрикосовые деревья, особенно старые, очень выносливые, их даже поливать не надо – они всё выдерживают...

Фруктов на ветках нет, а ведь какие абрикосы поспевают на этом дереве! Просто из любопытства я тяну шею, чтоб рассмотреть его поближе и... чья-то рука вдруг ложится мне на плечо, удерживая на месте. Вздвогнув от ужаса, вскакиваю... Я в постели, кругом темно, лоб весь в холодном поту... Пытаюсь нащупать кнопку ночника и не нахожу её. Когда глаза привыкают к темноте, замечаю перед собой чей-то смутный силуэт. Вначале зыбкий, он постепенно проясняется, и я вижу бледное, светящееся во тьме лицо моего отца.

Он сегодня припозднился, если б пришел пораньше, не приснился бы мне этот кошмар – ох, лучше было мне его не видеть! Краем одеяла вытираю потный лоб, отец смотрит растерянно: «Никак напугал тебя?» Жестом объясняю: садись,

ничего не случилось. И наверное произношу это вслух, потому что он смотрит вопросительно:

– Как не случилось? А Джейрана, Ваську зачем в голос звал, меня звал?

– Говорю тебе, сядь, отец, дай в себя прийти. Я в Игдыре был...

Его белеющее во мраке бескровное лицо болезненно морщится, и отец с еле уловимой печальной улыбкой в глазах произносит, опустив на грудь седую голову и не глядя на меня:

– Во сне ты там был. Я тоже... несколько раз... вместе с аистами... Спи, сынок, поздно, я пойду...

И лицо его блекнет и гаснет во тьме, как свеча...

Но рядом со мной мать, и это уже не сон. Смотрит испуганно, в глазах тревога. Зажигает свет, и я тут же, обрадованный, прихожу в себя.

– Что случилось, сынок? Из комнаты слышно, как ты стонешь и с кем-то разговариваешь. С кем это ты?

И гладит меня по лбу своей чудодейственной ладонью.

– Что с тобой, ты весь в поту! Неужто заболел? А может... выпил лишку? Я ведь тебя просила...

– Нет, я не пьян и не болен. Просто я кое-где побывал...

– Где же ты был среди ночи-то?

– В Игдыре...

Она тоже смотрит на меня грустно-прегрустно.

– Видно, приснилось тебе...

– Какой там приснилось! В Игдыре я был, в нашем доме. Принеси мне водички, холодной, из нашего колодца...

Мать поводит головой:

– И колодец наш видел...

– Не осталось колодца, мать. Только грязь, земля и мусор...

– Вай, чтоб мне ослепнуть, как можно было такую вкусную воду испоганить? Когда твой дед её пил, так нахваливал, будто из студеных родников Зора напился. Такой воды, как в нашем колодце, во всём Игдыре не было...

И уже забыв, что увиденное мной – это сон, спрашивает:

– Расскажи, что ты ещё видел, Эдик джан?

И я сажусь в постели и в деталях описываю всё что видел, и даже кое-что добавляю от себя, словно в самом деле только что из Игдыра вернулся. Я

рассказываю, а мать хлопает себя по коленям, раскачиваясь взад и вперед, и молча вытирает слёзы кончиком головного платка.

– Вах, пусть в жизни счастья не увидит тот, кто наш дом разрушил. И пусть с его домом случится то же, что он с нашим сделал! Господи, почему ты так слеп? Разве этих людей тоже бог создал? Какая мать их родила? Чтобы такую воду в грязь превратить!.. Но... В твоей комнате будто кто-то был, ты с кем-то разговаривал, я на твой голос пришла. Никак опять этот неугомонный приходил?

Я рассказывал матери о моих ночных визитёрах, она знает, что чаще других приходит отец, и, святая простота, на полном серьёзе сердится:

– Что же это он ко мне не приходит, тебе надоедает, спать не даёт?

– Мать, о чём ты, как это «надоедает»? Знает, что тоскую, вот и приходит, а ты его не вспоминаешь...

– Ещё как вспоминаю, Эдик джан. Жалею очень. Ведь сколько ещё мог прожить, а вот что случилось... Ну кому он мешал? И Игдыр свой не увидел... Ни дня не проходило, чтоб не вспомнил, только и жил надеждой и так уверенно твердил, что снова его увидит...

Кряхтя, она встаёт и уходит с поникшей головой, уйдя в свои мысли, и кто знает, кого вспоминает, что видит перед глазами – Игдыр или свой Кохб...

– Гляжу я на вас, игдырцев, и не перестаю удивляться. Ни одна турецкая мать или жена не стала бы отчитывать своих щенков за то, что они, дундуки, оскверняют воду, рушат тониры. Да эти жёны и матери, может, сами выбрасывали в них свой ежедневный мусор. А твоя великодушная матушка бьёт себя по коленям: «Чтоб мне ослепнуть»... Нет бы сказать: «Пусть ослепнут глаза у тех, кто турка в наш дом привёл-поселил»... Воистину удивительно...

Да, Игдыр, наверное, для того мы и родились на свет, чтобы всех удивлять. И даже сами того не осознаём, до какой степени. Мы просто живём себе да ещё и чужим поступкам удивляемся. Многие смотрели на нас, примерно как Гулливер на лилипутов. И где они теперь? От них остался один песок, только пыль и тернии, но до того, как стать пылью, они топтали и истребляли нас, ровняли с землёй и, довольные собой, облегченно вздыхали: дескать, вот и нет их больше, кончились... А оглянувшись, поражались тому, что видели...

Сам Создатель по сей день не устаёт на нас удивляться, ибо сам пытался временами избавиться от нас, как от головной боли, но понял, что это невозможно. Как позднее дитя-поскрёбыш, мы не давали покоя нашему престарелому, утомлённому Создателю. Да только он сам виноват – пусть бы не

создавал... Но раз уж создал, так присматривай, как за всеми! А мы росли без его «пригляда» и участия и никому не обязаны тем, что мы есть. И потому «с молодых ногтей» чувствуем себя независимыми, свободными, даже беспечными. Но, как младшие в семье, считаем себя в долгу перед «старшими», только в чём этот долг заключается и насколько велик, чтобы нам расплатиться и навсегда освободить себя, – этого мы не знаем. Потому что «кредиторов» всегда хватало, и по сию пору отдаём и ещё ни разу не сказали получателям: «Довольно! Всю душу нам вымотали, замордовали, осточертели вы все, дайте, наконец, спокойно пожить»... Пробовали не отдавать – отбирали силой, уговорами, до нитки обирали. Единственный способ избавиться от вымогателя – не платить, но мы всегда платили, отдавали даже тем, кто не просил. Сами звали к себе и отдавали, как глупая жена из «*Барекендана*»... О, хотя бы раз отказали, захлопнули дверь перед самым носом просителя или сказали: «Хватит, Бог подаст, убирайтесь!»...

– Нет, не скажете... И как же вы намерены жить дальше с этим вашим добросердечием в жестоком сегодняшнем мире – ума не приложу. Твой необычный визит, милый мой, просто фантазия твоего утомлённого мозга. Мне жаль, что боль не даёт тебе покоя. А то, что выпало мне... Я ведь был, верно? И сейчас есть, и буду, на ваших картах – величиной с булавочную головку, с горошину или просяное зёрнышко, но я есть и буду всегда, и я видел эти стада свиней и своры шакалов, которые хлынули в город после вашего ухода. И что они творили, как разворошили каждый дом, как всё вверх дном перевернули...

Войско не осталось в Игдыре, отошло к Аразу, к Маргаре, и Сурмари наводнили турки и курды из деревень – сброд, спустившийся с гор и увязавшийся за войском. Вооружившись железными прутьями, кирками и лопатами, с утра и допоздна ломали и крушили, ни одного дома не пропустили, отодрали доски полов, забросали мусором тониры и опоганили колодцы, даже могилы разрыли. Все три церкви, хорошенько обшарили и превратили в хлев, оборвали все плоды и разорили огороды, школу тоже конюшной сделали. Но не насытились... Перерыли все дворы, и если находили что-нибудь припрятанное, дрались за добычу и резали глотки друг другу...

Неделю, две громили и грабили. Потом часть отползла, убралась восвояси, а те, кто успели отхватить себе ваши дома, притихли. Жили как голодные собаки – с собой-то ничего не принесли, а ваши припасы кончились. Что было делать? На какое-то время Игдыр опустел и стал похож на то, что ты видел. Но пришли другие чужаки, и Игдыр стал меняться на глазах. Земля у нас, сам знаешь, была

отменная, ухоженная, виноградники, цветники, фруктовые деревья – все привитые, плодоносящие. Набежали из соседних деревень, вселились и стали жить. Что издалека, что вблизи ни на что не похожие. Друг друга и то сторонились: буркнут «салам» и идут стороной, как прокаженные. Воровато жили, с вечным страхом внутри, как грабитель, который ходит в чужой одежде и боится, что придёт когда-нибудь хозяин и спросит:

– Ты чью это чуху надел, а?

Но никто не приходит и не спрашивает... Не вернулись вы, ах, не вернулись...

В вашем доме больше года жил ваш сосед Муса Малим, ты должен его помнить. Так и его прогнали, в сторону Ирана ушел... О, не спрашивай, ради Бога, не бери душу, думаешь, я не болею? Но кто меня спрашивает!.. Да, тот самый Муса Малим, ты его помнишь, он говорил, что слово дал стеречь дом до вашего возвращения, но вы не вернулись...

А Муса перед самым нашим исходом успокаивал мою мать рассудительными, неспешными речами (армянский он знал хорошо):

– Не волнуйся, сестрица Сатеник, с домом ничего не случится, я постерегу, не беспокойтесь... *Фалаг* это, фалаг – судьба от вас отвернулась. Вот снова лицом повернется – и вернетесь...

Даже этот человек не верил, что наш уход навсегда.

Когда дядя Аветис приходил к нам на «семейный шашлык», обязательно посылал за Мусой, который, видимо, когда-то был учителем («маалимом»). При нас он уже занимался ремеслом, мастерил замечательные седла. Во время наших шашлычных пиров он выпивал стакан-другой виноградного вина, запрещенного Кораном, для маскировки называя его «шербетом», и нараспев декламировал на фарси Хайяма, Хафиза, Руми. Никто из нас фарси не знал, но язык этот звучал так ласково, так нежно, что казался нам родным. Потом для нас переводил на армянский. Глаза устабаши Аветиса грустнели, он ничего не мог выговорить, только под нос повторял: «*Машалла!*»

И Муса Малим с наслаждением «осквернял» желудок в нашем доме, вкушая шашлык из свинины и запивая его вином, а после, обнаружив свой грех, покаянно махал рукой:

– Что случилось, то случилось. Ничего, Устабаши, отмолю, *хода* простит...

Но, видно, его молитвы тоже до места не дошли... ихний ходан тоже был так себе, ничего особенного...

\*\*\*

Есть такая странная болезнь, которая даже и не болезнь вовсе. Ни лекарством не лечится, ни хирургией. Но человек от неё теряет сон и покой, себе места не находит, одним словом, как говорится, чахнет. При этой болезни ни голова не болит, ни суставы, но где-то внутри в человеке поселяется боль, и врачи до сих пор не могут обнаружить, где именно. Древний недуг, известный еще во времена Одиссея: говорят, его воины заболели им, когда вспоминали свою далёкую Итаку. Греки назвали эту болезнь ностальгией, и европейцы в наши дни часто употребляют это слово, правда, не совсем понятно почему, ибо ностальгия поражает только тех, кто потерял родину и тоскует по ней, и от этой тоски и потери у человека болит душа.

В лучшей парижской клинике для душевнобольных за двадцать лет так и не смогли исцелить истерзанную этим недугом душу *Вардапета*. Не нашли от неё лекарства. Нашему Вардапету хотел помочь его друг детства, уроженец Вана. Он проник в эту замечательную больницу, но так и не сумел уговорить пациента оставить клинику и уйти вместе с ним.

Вардапет узнал друга, бросился к нему и обнял, но спросил:

– Куда нам идти, Панос?..

И, помолчав, добавил:

– Куда ты пойдёшь, Панос? Оставайся и ты... – и умолк.

И почему эту боль «европеизировали», непонятно. Сам посуди, милый Игдыр, у какого это европейца родной дом находится в часе езды на «Жигулях», но за тремя рядами колючей проволоки, чтобы ему ежедневно задыхаться от тоски, чахнуть и заболеть неизлечимо!..

...В одно обычное утро, не сказав ни слова домашним, старшая дочь моей уже покойной тётушки Нуне, – женщина лет восьмидесяти с лишним, бабушка нескольких внуков, ещё затемно, до рассвета, села в автобус, вышла у деревни Маргара и задумчиво, неспешно направилась в сторону моста, по которому в тот страшный день мы ушли, «покинув» тебя. Как случилось, что она, никем не замеченная, дошла до него, одному Богу известно. Сами пограничники остоленели, когда увидели старушку, как ни в чем не бывало бредущую к мосту. Конечно, немедленно объявили тревогу, мою двоюродную сестричку остановили и с беспокойством и недоумением стали допытываться, куда идёт, почему идёт, и так далее...и тому подобное. Прибыл и начальник погранзаставы, и в ответ на его вопросы наша любимая сестричка Амалия объяснила на простом и понятном русском языке (в своё время она окончила женскую гимназию), что, дескать, так

мол и так, истосковалась очень, скучает по своей родине – Игдыру, и хочет пойти взглянуть на свой дом. А что, нельзя?..

А начальник на столь же хорошем русском стал объяснять ей, что это невозможно (хорошо, что не сказал – неслыханно), что здесь граница, а там чужое государство, турки... А ещё этот начальник понял, что имеет дело не с выжившей из ума старухой, а с непостижимой, беспримерной человеческой наивностью. И этот понимающий начальник приказал принести ей стул и поставить его у самой кромки моста Маргары, «и пусть уважаемая мамаша глядит, сколько пожелает, в направлении своей родины, которую с моста не видать, но пусть смотрит в её сторону». В твою сторону, милый мой Игдыр, как видишь, смотреть не запрещается.

И Амалия смотрела невидящими, полными слёз глазами в сторону Игдыра...

С Араза дул лёгкий, прохладный ветерок, и, сидя с непокрытой седой головой и время от времени роняя её на грудь, она то долго смотрела вдаль, то беззвучно плакала. Наверное, точно так же, как тот сурмалинский сановник, что тоже страдал этой «европейской болезнью»... Потом уважаемую «мамашу» по-царски накормили обедом, посадили в армейский «виллис» и с почётом доставили домой, в Ереван, где поведали всю эту историю переполошившимся родственникам.

Оказалось, что за несколько дней до этого их бабушка Амалия стала вести себя более чем странно. Была очень беспокойной и рассеянной, забывала слова, бросала на середине обычные свои дела, и взгляд у неё стал какой-то невидящий: уставится в одну точку и застывает... и чаще всего, когда смотрит в окно... За обедом захотела попить. Ей сказали, чай сейчас будет готов. Потом пожаловалась на сердце и попросила валидол. Стала мёрзнуть, хотя стояла летняя жара, и те из родных, кто укрывал её одеялом, переглянулись и покрутили пальцами у висков.

Сквозь сон они слышали, как она стонет и ходит по комнате... Но не знали, что этой ночью она разговаривала с матерью, с моей покойной тётушкой Нуне, которая сказала ей:

– Слушай, Амалия, что ты всех переполошила! То мёрзнешь, то тебе жарко, лекарства пьёшь. Вставай-ка ты и утром отправляйся в Игдыр...

Амалия хотела спросить: «Мамочка, как мне туда дойти, по какой дороге, на чём ехать?» Тетущка Нуне, наверное, услышала незаданный вопрос и неопределённым жестом указала на окно, а потом, как и мои ночные визитёры, растворилась во мраке...

Ну вот, а теперь она дома. Здесь прямо какое-то столпотворение, яблоку негде упасть! Все близкие склоняются к ней вопросительным знаком и ждут объяснений. Какие там объяснения! Амалия молчала, умиротворенная, с блаженной улыбкой на губах. Что-то лукавое и вместе с тем довольное было у неё в лице, как у озорного малыша, который добился своего наперекор взрослым. И, наверное, ей по душе ещё и то, что все так встревожились: значит, она чего-то стоит для родственников. Потом тот, кто давал ей валидол, скажет: «А говорила, бабуль, что неважно себя чувствуешь...» Укрывавшие одеялом напомнят: «А ещё говорила «мёрзну», «сердце»... Как же ты дошла до Маргарья?»

– Какая ещё Маргарья? Маргара, Мар-гара!! И мост, от которого нужно было свернуть налево, в Игдыр...

– Ну, бабуль, опять ты заладила – «Игдыр, Игдыр»...– встрял ненароком кто-то из внуков.

– Молчи, паршивец! – и в её тёмных, как чёрные виноградины, глазах сверкнул огонь, а в голосе зазвучали грозные, приказные нотки. – Больше про Игдыр ни слова! Не вашего ума это дело, ох! не вашего ума...

И это её «Ох!» такое оглушительное, точно рухнула стена...

– Чтоб вы больше не смели даже имя Игдыра называть! Что вы понимаете! Вон у вас теперь Черемушки, Бангладеш, этот массив, тот массив... Вашими немытыми ртами ЕГО имя не смейте произносить! Товарищ генерал и тот меня понял, вошёл в моё положение, а вы словно турки... – и тут же перекрестила рот, как это было принято у наших женщин, когда произносили что-то неприличное.

Затем она повернулась к дочери:

– Вардуш, приготовь нам чаю.

И пока готовили чай, усталая, измученная Амалия прилегла на подушку прямо в пыльной своей одежде, и заснула после стольких бессонных ночей.

Тихо, на цыпочках все ушли из комнаты, рядом осталась лишь старшая дочь и всю ночь слушала, как мать во сне разговаривает со своей матерью:

– Пошла я, мама, и дошла, и увидела... и дом, наш дом...– улыбалась Амалия во сне, и стонала вместе с улыбкой. – И бахчу... бахчу нашу тоже видела, мам...

Ну, что скажешь, любимый мой Игдыр, излечилась наша старшая сестричка, когда сидела, обливаясь слезами, на «генеральском» стуле, глядя ничего не видящими, стекленеющими глазами в твою сторону? Единственно что было дано ей ощутить – нежную прохладу, идущую от Араза, тихий плеск волн о ржавые

устой моста – того самого моста Маргары, по которому в тот проклятый день тебя «покинули»...

Нет, дорогой мой, это неизлечимо, не существует лекарства, которое выпьешь – и здоров. И вообще неясно, что это такое. Знаю лишь, что это связано с душой человека и с его кровью, которая не желает застывать. Это наша, армянская болезнь – тоска, боль души, и когда она переполняет душу, её трудно вынести одному...

Учитывая красноречивый пример нашей старшей сестры Амалии, дорогой Игдыр, следует подумать и о том, что твоё почтенное население состояло не из одних только мужчин, которые лишились сна и не находили себе места. Просто никому из твоих мужчин в голову не приходило заглянуть этим Амалиям в их бездонные души. Кто-нибудь хоть раз спросил их о силе их тоски по тебе, о её глубине и тяжести? О, если б их кто-то спрашивал, быть может, они не дали бы игдырцам покинуть тебя...

Кто знает, какие расчудесные воспоминания и нерасказанные истории уносят они с собой безвозвратно, какие невысказанные желания прячут в тайниках души игдырки – девушки с толстыми косами, выросшие под твоими земляными крышами и ставшие матерями и бабушками, которые к старости усыхают и делаются маленькими, как осенние перепёлочки. Опрятные и милые, они занимают на тахте место с горсточку, неспешно считывают четки, и не знаешь, что они считывают и перебирают – прошлое, или то, что осталось?

Я узнал, что недавно похоронили одну нашу дальнюю родственницу (игдырцы все приходится друг другу родственниками с какой-либо стороны), одну из твоих игдырских долгожительниц – Парандзем-дзало. После похорон стали убирать постель умершей, и из-под матраса, выскользнуло что-то тёмное, завернутое в старую, ещё игдырскую тряпку. На испуганный крик невестки прибежал сын Парандзем-дзало и поднял это «что-то»: это оказался заряженный маузер с серебряной рукояткой. Дрожащими руками держал он это тяжёлое угрожающее оружие. А ведь сколько раз этот матрас выносили на солнце, вытряхивали и выбивали... Боже правый, куда же она умудрялась прятать его, чтоб не тронули, не нашли?..

Кто из твоих мужчин пробовал заглянуть им в душу, кто спросил их об этой тяжелой, безмерной тоске, а ещё об их боли и гневе?.. Сама величиной с осеннюю

перепёлочку, дзало прятала маузер, к тому же заряженный, стоило лишь нажать на курок!

Но почему, почему так и не родился кто-то горячий сердцем и пускай даже немного «не в своём уме», кто, однако, сложил бы песню о твоих смуглянках с толстыми косами – до того, как они станут маленькими, с перепёлочку, и займут на тахте своё место размером с вершок, до того, как их положат в гроб, такой легкий, что его двоим нести не трудно. Никто не сложил песню: «О девы армянские, умереть мне за вас»...

Что ж, можете считать, что слова этой песни, рожденной страдающим от боли сердцем поэта, сложены и про вас, мои красавицы-невестки и бессловесные дзало, хотя она вам и не адресована. И не могла быть адресована, ибо ваша бессмысленная надежда вернуться своей силой створаживала грудное молоко и не оставляла места песне для тех, кого оно «кормило», и они сперва всё откладывали, а со временем и вовсе забыли, что в их жилах течёт кровь игдырцев и что они намеревались написать песню и про вас... Тёплую песню с ароматом лаваша, вынутого из тонира, прозрачную, как отстоявшееся вино из только что распечатанного караса, песню терпкую, как это тёмное вино, задиристую и нежную, пленительную, сводящую с ума...

Вы же и в мыслях не держали, что такое возможно, что про вас просто обязаны сложить такую песню. Да что там, вы в присутствии свёкра или деверя слово громко сказать не осмеливались. Брали нас, детей, в «посредники» и просили передать то, что нужно, вашим мужьям. Наклоняясь, тихо шептали нам в уши необходимые слова, а мы не в меру громко выкрикивали их, повторяя и часто перевирая, покуда смысл слов не доходил до адресата. И если сообщение, переданное в нашем «переводе», не сулило неприятностей, могли заработать двухкопеечную (шаи) или пятикопеечную монетку, чтобы на городской площади власть наесться козинаха или десять раз крутануть колесо – «фрик» Гехама в надежде на выигрыш, и вернуться домой несолоно хлебавши.

– Однако погоди, парень, зачем далеко ходить – тебе не приходило в голову, что ты и сам этой, по твоим словам, «европейской» болезнью слегка страдаешь? Чем ты лучше тех, про кого вёл рассказ?

Ну что сказать, и мне не сладко живется. Казалось бы, всё у меня в порядке, жив-здоров, вот только после визитов твоих почтенных горожан просто постельным больным становлюсь. С головой что-то творится, сердце, как мельница Власа, стучит с перебоями. Случается, я закрываю глаза и «включаю»

воображение, чтобы вернуть их, продолжить беседу и хотя бы так ночь скоротать, да ничего не выходит. Глупо получается: они приходят когда хотят, а мои желания никто в грош не ставит, а ведь я всегда думал, что они, так сказать, плод моего воображения... Превратили мой дом в казино Кукули, или, как сейчас говорят, в клуб! Придут на время, прояснят для себя «кое-какие вопросы» – и привет! А я для них вроде как завклубом...

Конечно, я и вправду болен, и, скорее всего, неизлечимо. Чувствую, что стал похож на старух-пациенток доктора Асланяна, которые отнимали у него время, даже не зная толком, где и что у них болит...

– Доктор, скажу тебе, что-то у меня с сердцем не то. И то ли спину прихватило, то ли ещё что...

А бедный парон Асланян их терпеливо выслушивал, осматривал и с улыбкой заключал:

– С сердцем всё в порядке, со спиной тоже.

Однако для порядка всё же выписывал испытанное средство – горькие таблетки хинина. А дома зурначи «блдух Оганес», узнав о визите жены к доктору, пару раз ощутимо тыкал свою старуху пальцем в спину, в грудь, в бока, приговаривая:

– Тут болит? А тут? А здесь не болит? Ах, дурья твоя голова!..

Вот и я, так же как они, не знаю, где у меня болит, но что болит-дымится моя рана, как сырое полено, это уж несомненно. И бумагу мараю, скорее всего, от этой же боли...

Говорят, если можешь не писать, значит, и начинать не стоит. Но не писать, наверное, ещё труднее, и я знаю, что пишу не из «самообольщения» или от нечего делать. Мне есть чем заняться, а пишу я, просто чтобы отделаться от твоих достопочтенных граждан – моих «непрощеных гостей», чтоб прекратили по ночам пугать меня своими вопросами и напоминаниями: «Эй, ты часом не забыл? Не то смотри...»

– Хочешь сказать, что то, что ты делаешь, никому не нужно? Тогда зачем ты, как сам говорил, «мараешь» бумагу?

Не ты, так какой-нибудь другой умник непременно задал бы мне этот вопрос. Но не тебе об этом спрашивать, ведь это тебя, дорогой мой Игдыр, укрыли семидесятилетней пылью забвения все эти «умники». Целый город со своей, особенной жизнью и укладом, с крестинами и свадьбами, со славными родами и династиями, со смертями и любовями...

В Игдыре, как я упоминал, было много искусных ремесленников, которые держали мастерские с подручными-подмастерьями и учениками. Таким умельцем был и кузнец Аветис, внук которого, Паруйр, как раз и «свёл счёты» с Богуславским. Кузнец обучил сыновей и внуков всем тонкостям своего искусства, кроме, пожалуй, стрельбы «глядя в зеркало».

Секоенк, помимо постоянного двора, держали мастерскую по ремонту гужевого транспорта, повозок, телег. Главным мастером там был уста Мухаил, известный во всём Сурмалу. Какие бесподобные кареты он мастерил! Прочные, разукрашенные узорами, красивые: «Одно слово – картинка!», – с гордостью говорили игдырцы. Были, как мы уже знаем, и другие мастерские: оружейника Аваковенц Никогоса, ювелирные, гончарные, жестянщиков, красильщиков и всё такое прочее.

Ряды игдырских мастеровых пополнили землекопы, роющие колодцы, лучшими среди «водоискателей» были выходцы из Вана. Исключительно редко они ошибались в вопросе обнаружения во дворах артезианских вод, на разных глубинах бьющих из-под земли. У них промашки случались крайне редко. Копатели и строители колодца могли быть разными, однако, чтобы определить точное место артезианской скважины, звали всегда уста Парнака. Но и ему случалось ошибаться. Как и Тер-Месропу, который наотрез отказался звать мастера. Может, из-за стесненности в финансах, большая семья, большие заботы... но факт остаётся фактом, что Тер- Месроп два раза рыл скважину и всё-таки воду нашёл. И даже вырыл он свой колодец без помощи своих сыновей, в свободное время, поскольку, как он говорил, в своём доме нет благословения...

Как бы то ни было, артезианские колодцы, вкуче с горькими таблетками доктора Асланяна, немало способствовали защите игдырцев от лихорадки.

И вскорости игдырцы перестали пить «мутную воду из ручья», попутно доказав, что парон Еприкян не ошибся, назвав жителей Игдыра «деловитыми и изобретательными». Добавим ко всему, что колодцем соседа могли пользоваться все, у кого их не было, никому это не возбранялось и не запрещалось.

Самым выдающимся из усташей Игдыра должно считать старшего сына Исабека, Аветиса, который вместе со своими помощниками-учениками прославился как лучший мастер по пошиву мужской одежды. Они «наряжали» и генералов, и полковников, и Джангира-агу, и Юсуб-бека с их прислужниками и телохранителями. А также всё офицерское общество Игдыра и Оргова и, конечно же, в первую очередь – самих игдырцев, которые, что скрывать, любили

приодеться. Приезжали турецкие, курдские беки, люди из Еревана и других мест. Однажды я присутствовал при том, как какой-то высокопоставленный военный из Еревана примерял заказанную им роскошную кавказскую парадную форму. Это была черкеска из белого шёлка, тёмно-красный бешмет, белая косматая папаха, жилет и «чакмы» – их принёс сапожник из мастерской по соседству. По гордому, довольному лицу заказчика можно было догадаться, что, глядясь в большое зеркало магазина, он сам себе очень нравится. Надо думать, что и портным он тоже был чрезвычайно доволен, так как щедро наградил его и подмастерьев. И даже мне достался «магарыч» – свисток.

Особенно хороши были так называемые «шубы», шитые Аветисом «по венгерской моде» и заменявшие игдырцам зимние пальто. Красивые, сильно зауженные в талии и не требующие пояса. Полы «шуб» были оторочены тёмным каракулем. В такой одежде немисливо было ходить неаккуратной, расхристанной походкой, человек волей-неволей подтягивался, выпячивал грудь и ступал горделиво-степенно, точь-в-точь как индюки Лысого Кяспара. А каретные кучера зимой наряжались в щегольскую униформу, тоже суженную в поясе, с роскошными фалдами и широкими рукавами, и они выглядели не менее импозантно, чем те же кяспаровские индюки, когда распушив перья, надуваются, готовые заклекотать. Пожилые игдырцы носили длинную чёрную чуху с синим бешметом, подвязанные тонким кожаным пояском, инкрустированным серебром, с непременно кинжалом в дорогах ножнах.

Велика была слава устабаши Аветиса, всюду оказывали ему почёт и уважение. Жил устабаши в старом дедовском доме с его чудесным садом, в центре которого стояла беседка, как в нашем новом доме в Игдыр-маве, и в этой беседке летом и осенью не прекращались застолья и пирушки. Уста Аветис, несмотря на строгую, почти суровую повадку, любил повеселиться и всегда становился центром всеобщего внимания и у себя за столом, и в гостях. Произносил изумительные тосты, с шутками-прибаутками, остроумными анекдотами, причем говорил всегда сдержанно и неспешно, безраздельно владея общим вниманием и заставляя умолкнуть весь стол.

А красив был! Высокий, как молодой тополь, высоколобый – в отличие от младшего брата, лоб которого (так же, как и мой) кончался на высоте двух-трех пальцев от бровей. В его серьёзном взгляде, который мог даже казаться холодным, сквозила необычайная доброта. В своё время Аветис считался самым завидным женихом в Игдыре, образцом благопристойности. Невесту ему выбирали Исабек и

Банавша, и до свадьбы он видел невесту всего один раз. Особой красотой Вардудзало не отличалась, но была стройной, миниатюрной и невероятно трудолюбивой, чем очень напоминала Банавшу. У них было двое детей – сын и дочь. Сын, Айрапет (Айро), пошёл в мать – такой же стройный и тонкий в кости. Но этот тоненький юноша нрав имел твёрдый, как алмаз, обладал сильной волей, был не по годам зрелым и серьёзным, и стальной взгляд сына даже Аветиса приводил в смятение и заставлял задуматься.

Однако исходя из черт лица можно порой составить неверное представление о человеке. Этот юноша, у которого едва появился пушок под носом, становился неузнаваемым, если что-то оказывалось ему не по нраву. И наоборот, холодный, стальной блеск глаз мог вдруг смениться застенчивой и ясной детской улыбкой. Однако смеяться он не умел... Это было, вероятно, проявлением природной сдержанности, изначально присущей этому роду. Я так никогда и не услышал, чтобы кто-то из его представителей смеялся громко, от души. А откуда у меня это умение, в кого я пошёл – не знаю...

Все драки и «каменетательные» войны в квартале Пос начинались и заканчивались по слову Айро. «Тактическими действиями» при всех столкновениях, случавшихся в Игдыр-маве, всегда руководил он. Когда он садился на коня, его невозможно было остановить, это было не под силу ни Сатеник-дзало, ни даже Амаяку, у которого любовь и почтение к брату распространялись и на его сына.

Бойцы «воюющих» сторон носили «погоны» и «оружие» таких же размеров, что и настоящие маузер, винтовка или наган – всё это выпиливалось из фанеры и раскрашивалось с поразительным сходством, и мастером этого дела был мой старший брат Гро, Грайр. Тактическая военная игра начиналась с приветствия военачальника боевому строю армии. Его Айро произносил, конечно, на русском языке. «Бойцы» вместо никому не понятного и слишком длинного ответа несколько раз звонко выкрикивали «Гей, гей, гей!» и возвращались домой с песней, в точности повторяя действия солдат пограничного гарнизона, идущих в баню и из бани, громко топя ногами, как они, и оставляя за собой облако игдырской пыли, более густое, чем от настоящего войска...

О, я синел от зависти и желания стать его воином, и, когда моя нижняя губа предательски отвисала и угрожала испортить весь парад, придавая ему комический оттенок, а может, просто чтобы я не болтал лишнего при взрослых, Айро сажал меня перед собой в седло...

Одному Богу известно, кем мог стать этот юноша. Но он успел побывать и в Апаране. Да и кто из твоих молодых парней не побывал там, кроме таких молокососов, как я, которые выросли уже в Ереване. Кто только не говорит сейчас о Сардарапате, Апаране... А ведь эти имена произносились с той же опаской, что и твоё, любимый мой Игдыр, почти наравне со словом «маузери́ст», которое вызывало подозрение у мнительных ереванцев. И слово «Сардарапат» трудно было выговорить, труднее даже, чем это немецкое слово, обозначающее оружие, названное именем его создателя, дошедшее до Вана, Алашкерта, Игдыра, Еревана и имеющее, если его читать по-армянски, зловещий, пугающий смысл: «мах узер» – что-то вроде «желающий смерти»... И именно так понимали его те, кто действительно носил это оружие, им такое толкование было близко, ибо для них «желание смерти» было равнозначно желанию сохранить землю – хотя бы тот кусочек земли, который после битв при Сардарапате и Апаране должен был остаться нам и остался...

\*\*\*

Дядя Аветис, знаменитый устабаши Игдыра, несмотря на почтенный возраст, головы ни перед кем не склонял, разве что перед своей швейной машинкой. В Ереване у него была маленькая фанерная будка, где еле умещались машинка, клиент и сам мастер. А заказчиков у него осталось немного, все такие же пожилые, как он сам, бывшие твои горожане из числа старых друзей и курдов-езидов, сохранивших прежние вкусы в одежде, да пара-тройка мелких заказов перепала от бывших учеников.

Будка стояла на большой площади, напротив мечети Гёй, недалеко от нашего дома. Во дворе мечети был родник, и я каждый день носил оттуда для дядиного магазина холодную воду в кувшине. Ходил я к нему ещё и чтобы «чему-нибудь научиться» – по настоянию отца, крайне огорченного моей явной неохотой к школьной учёбе. Мой средний палец согнули и прибинтовали к ладони, чтоб приучить к правильному положению во время шитья, но однажды я на полдороге разбил кувшин, и повязка размоталась...

Так рухнула надежда отца сделать из меня портного, но, к моему удивлению, он не стал ругать меня, не сказал ни слова. Наверное, дядя убедил его, что мой средний палец не создан для иглы. Спрашиваешь, что было потом? «Потом» для твоих жителей в те времена становилось всё безрадостнее. Потом он наберёт немного денег, чтобы съездить в Россию, в далёкую Сибирь, и привезти припрятанную доброй русской женщиной одежду своего несчастного

единственного сына Айро, Айрапета, чтоб Вардуи-дзало смогла поплакать над ней...

Наверное, Айро была предначертана совсем иная судьба, как и многим молодым игдырцам. Он недолго прожил в Ереване, не остался его жителем. Не дали... Но он успел закончить гимназию и поработать бухгалтером в недавно открывшемся Государственном театре. У дяди уже и будки не было, он работал дома, от случая к случаю, хотя в этом уже особой нужды не было – Айро содержал дом и семью. Он женился, приобрел уважение и авторитет в новом окружении, да иначе и быть не могло при его врожденном уме и обхождении, при его обаянии.

Помню его свадьбу. В доме дяди, в его ереванском доме, все три комнаты были заполнены приглашёнными, в большинстве своём игдырцами, но были и новые друзья Айро. Свадьба была «восточной», с *тар-доолом*, и вина было вдоволь, потому и тостов произносили много, шумели, словом, пировали на славу.

В конце стола, рядом с Айро, сидел мужчина такого же, как у Айро, некрупного телосложения, про которого собравшиеся говорили меж собой, что это знаменитый писатель. У знаменитого писателя был весьма выдающийся нос, и шумел гость больше всех, хотя игдырцы всегда были мастера пошуметь. И когда пир был в самом разгаре, этот носатый мужчина заявил, что желает станцевать на столе, и, не дожидаясь разрешения, смачно прилепил к потному лбу *доолчи* мятую ассигнацию, с невероятной ловкостью вскочил на стол и стал выплясывать «*Таракяму*», расчищая ногами место между бутылками, бокалами и тарелками с угощением...

Никто не удивился неожиданному поступку этого «большого писателя», поскольку для игдырцев танец на столе давно был «обязательным номером программы», и приглашённая публика развеселилась ещё больше и зааплодировала от изумления и восторга. Если чего и не хватало на этой свадьбе, то это рассветных выстрелов из маузера, но этого быть не могло и не случилось.

Айро был немного бледен, но доволен, даже прищелкивал двумя пальцами в такт *доолчи*, к тому же он, видимо, гордился «игдырскими» замашками своего знаменитого друга. Этот человек с внушительным носом, который уже успел ошарашить благопристойных ереванцев своим неординарным поведением, каким-то необъяснимым образом сразу сблизился с Айро и другими игдырскими парнями. Он фланировал по улице Астафьян, щеголяя маленькой папахой, которую сшил мой дядя, и носил её набекрень, чтобы густой чуб- (*кякул!*) свешивался на лоб... Быть может, такая была тогда мода среди молодых, а может,

кровь Хоя или старого Маку тянула его к игдырцам, что было не совсем разумно с его стороны, так как само имя Игдыра уже было под подозрением...

Наверное, они сблизилась в гостеатре, где Айро работал бухгалтером, а этот беспокойный и общительный человек с непривычным подходом ко всему, не признающий условностей, был желанным гостем и завсегдатаем театральных спектаклей.

Чем кончилась дружба Айро и этого «большого писателя», мы не знаем. Да и чем она могла закончиться? Арестовали и сослали нашего Айро, а вместе с ним тысячи других молодых парней, игдырцев и не игдырцев, и не только сослали...

Гимназия, которую успел закончить Айро, была основана ещё при жизни Хачатура Абовяна, в 1832-1868 годах действовала как начальное учебное заведение – Ереванское уездное училище, затем, с 1868 по 1881 год, – как прогимназия и, наконец, в 1881-1920 годах – стала Эриванской классической гимназией.

В этой самой классической гимназии, которую закончил Айро, преподавали латынь, два иностранных языка – французский и немецкий, высшую математику, физику. Большинство выпускников этой гимназии, продолжив впоследствии учёбу в Москве, стали знаменитыми людьми, полезными своему народу. Арарат Гарибян, Каро Мелик-Оганджян, Жанполадян, Паргев Маркарян, Вардан Авагян. И множество других, и русских, и грузин. Директором гимназии был грузин, Чокошвили, инспектором – русский по фамилии Рождественский. Преподавание велось на русском языке, и часть учителей были русские. Армянским учащимся «в виде исключения» преподавали ещё и армянский язык и религию.

Уроки закона Божия вёл Тер-Хачванкян. К этому же роду Хачванкянов принадлежал видный художник Тачат Хачванкян, получивший высшее полиграфическое образование. В тридцатых годах он под руководством Чаренца положил в Армении начало новому книгопечатанию и книжному оформлению, причем сразу же – на высочайшем уровне, пригласив к сотрудничеству вернувшегося из Тавриза Акопа Коджояна.

Сейчас уже мало кого можно найти из учащихся этой гимназии, тем более после репрессий 30-х годов... С одним таким человеком, коренным аштаракцем Суреном Сукиасяном, я совершенно случайно познакомился в его родном городе. Он учился в той же гимназии и сослан был, может, годом раньше, может, позже, чем Айро, а может, в один год с ним. Восьмидесятипятилетний старик,

переживший тридцать лет ссылки, «амнистированный», «оправданный», вернувшийся... Этот невысокий, жилистый человек, вкусивший горечь многих испытаний, вынес всё и при этом сумел сохранить удивительную ясность ума, силу духа и так необходимый человеку юмор – грустный, смешанный с печалью.

О, эти мелкотелые, жилистые армяне! Какая необъяснимая сила позволяет им не согнуться под гнётом жизненных невзгод и, более того, принимать жестокие удары судьбы с непередаваемой иронией. Что это, сила воли или негибкость духа? Вероятно, и то, и другое. И воистину, хранила и давала им силу эта их любовь к родной земле, не знающая границ.

Господи, что скрыто в этом слове? Что заложил ты в него, что оно способно творить такое с человеческим сердцем, с душой, со всем его существом? Как случается, что человек, едва начиная догадываться о смысле этого слова, не имеющем объяснения, уже понимает, что смысл этот выше всего самого дорогого – даже любви к матери, к самым близким для тебя людям... Особенно для сына народа, которому Господь ниспослал самую горькую чашу бедствий...

Но Айро не вынес. Он был бы сейчас в тех же годах, что Сурен, но когда его «взяли», Айро уже был болен, и когда он отправился в ссылку, болезнь уже запустила когти в его лёгкие...

Дядюшка Сурен заметно волновался, с воодушевлением вспоминал обо всем, что касалось Айро, но память о школьной дружбе, о прошлом наполнила его тоскливые черные глаза грустной теплотой.

– Были игдырцы у нас в гимназии, к примеру, преподаватель армянского языка, Мелик-Степанян, который с особенным уважением относился к Айро, во-первых, за то, что он учился на «пятерки с плюсом», а во-вторых, потому что воевал под Апараном. А мы, соученики, были просто влюблены в Айро, и все, даже гимназисты старше него, с почтением называли его «Керы»... Я, конечно, был тогда не такой, как сейчас. Сам понимаешь – парень, выросший в деревне, коренастый, крепкий. А вот Айро выглядел хрупким, казался моложе своих лет. Но в нём чувствовалось что-то необычное, особенное – за этой хрупкостью скрывался стальной характер: он сказанного второй раз не повторял...

Боже милосердный, и этого тщедушного девятнадцатилетнего юношу звали «Керы»?.. Даже отдаленно не был похож на «керы» наш Айро! Но в те жестокие времена нам были нужны «керы», и было их немало, а вот про того «Керы» уже при жизни слагали легенды.

– Да, мы звали его «Керы», у нас был свой штаб здесь, в Аштараке, в этом самом доме, вон в той комнате – там теперь другие люди живут. Отсюда до Апарана рукой подать, и мы выполняли особые поручения под его руководством. Ну, словом... делали что могли. Что было делать семнадцатилетнему юноше, разве могли мы усидеть дома в такое время? Что бы ожидало Ереван, если бы все отсиживались по домам, а турки через Апаран прошли с тыла в Сардарапат? Нет, даже думать об этом мы считали предательством...

Да, так и было. В Апаране у Дро воевало немало бойцов, которые ещё бритвы не знали.

– Зайдешь в класс, – продолжал дядюшка Сурен, – если не у всех, то у многих было оружие – в кармане или заткнуто за пояс. Однажды на уроке закона Божьего один из учащихся достал револьвер, разобрал его и стал чистить. Тер-Хачванкян раз-другой покосился в его сторону, потом не выдержал, и отведя полы своей рясы, под которой за поясом торчали два маузера, рассерженно обратился к этому ученику:

– Послушай, сынок, кого ты решил удивить? Спрячь это своё имущество, пока я тебе уши не оторвал!

Да, так и было. И грузин директор школы, и русский инспектор Рождественский прекрасно знали об этом, но что они могли сделать, если у этих «воjak» был свой «штаб», свой «керы», хоть совсем на керы и не похожий. О, этот хрупкий «керы», какая тайна жила в его душе, что таило его неокрепшее сердце? Но он успел блестяще окончить гимназию на пятерки с плюсом, чтоб вернуться и снова служить своему народу. В живых остались те из его соучеников, кто уехал продолжать учёбу и затерялся в российских просторах. А ведь и он мог продолжить учёбу, и кто знает, может, всё сложилось бы иначе, имело бы другое продолжение, не такое беспощадное, немилосердное, жестокое...

Он стал работать бухгалтером в недавно открывшемся Государственном театре, женился и успел увидеть своего первенца – такого же хрупкого, мелкотелого, как сам Айро. Он даже сумел вернуть меня в школу, тогда как домашним это не удавалось.

Я не желал учиться, при одном упоминании о школе покрывался мурашками от ужаса и гнева, а настойчивое желание всех взрослых (начиная с отца) сделать из меня школьника считал несправедливым и бессовестным посягательством на мою свободу.

Однажды утром в дом вошел этот бывший «керы», приветливо улыбнувшись, поздоровался со всеми, затем уставился на меня. И я обреченно оглядел родных, обступивших меня со всех сторон, – этих коварных предателей...

– Пойдем, дорогой.

Изучив меня с головы до ног, Айро повернулся к матери:

– У него есть какая-нибудь другая одежда?

– Нет, Айро джан, больше ничего нету... Только то, что на нём...

– Ладно, пошли, с одеждой потом разберемся. Давай шевелись, Эдо джан, «Храбрый Андраник лишь вперед идёт»...

Под эту песню я почти что с воодушевлением зашагал к школе.

Так было всегда. То, что велел Айро, нельзя было не исполнить.

\*\*\*

Осенний дождь нудно моросил над Ереваном, изумрудный купол мечети Гёй блестел, умытый дождем.

Мы, всей семьёй, с раннего утра заняли «позиции» вокруг мечети, заранее зная, что арестованных в этот день поведут в баню, правда, не знали, в какую из трёх, расположенных поблизости, поэтому установили пост на полпути между улицей Сундукяна и мечетью и стали ждать, так как они могли свернуть в сторону «Инженерской» бани.

Наконец, показалась колонна арестантов в сопровождении конного офицера и пеших конвойных. Группа была довольно большая, человек сорок-пятьдесят, и непросто было сразу отыскать в ней нашего невысокого Айро. Все словно на одно лицо, небритые, хмурые и плохо одетые, в основном молодёжь. Но мы его увидели. Скорее, это он нас увидел и приветствовал взмахом руки. На нём была линиялая рубаха навывпуск, без ремня, под мышкой какой-то свёрток – наверное, смена белья... Он тоже был небрит, скорчился от холода, побледнел, и бледность особенно бросалась в глаза из-за черной щетины на лице. Но улыбался... Понятно, чтобы выглядеть беззаботным и весёлым. Исхудавший, и без того тонкий в кости, в мокрой рубахе, которая облепила торчащие ключицы, он казался таким беспомощным и юным, младше своих двадцати пяти лет. На ногах у него были его собственные сапоги, но от их прежнего вида ничего не осталось: обычно начищенные до блеска, они ладно сидели на ногах, с заправленными в них галифе. Он шёл, не отставая от колонны, не теряя ритма, не замечая лужиц, вытянув худую шею в нашу сторону, с застывшей, но неизменной улыбкой на лице...

О, сколько ещё пришлось шагать по грязным дорогам бескрайней России ему, этому «опасному политическому преступнику», единственной виной которого было то, что он родился и стал юношей в суровые годы и не сидел, как другие, дома, сложа руки и дожидаясь турка-аскера в Ереване. Он встретил их под Апараном...

Мы бежали рядом с колонной и плакали навзрыд, и не мы одни – все бежали и плакали, но нам не дали даже подойти, даже передать приготовленный свёрток с гатой, которую пекли всю ночь, с табаком, спичками и парой теплых носков. Как кстати пришлось бы всё это нашему Айро, бледному, замёрзшему...

А я мысленно перенёсся в Игдыр, и перед моими глазами был Айро, скачущий на коне: меня он посадил перед собой, и мы возвращались с «тактических занятий» по пыльным дорогам Игдыр-мавы, вызывая восхищение игдырских дзало и ловя завистливые взгляды сопливых мальчишек. Где его «бравые солдаты», отчего не поют с нами?

Храбрый Андраник  
А в руке – шашлык...

Какой там шашлык! – без огня сожгли нам сердце...

Айро ещё несколько раз оборачивался, выворачивая худенькую шею в нашу сторону, но уже не улыбался, не старался казаться беспечным. В его ввалившихся глазах была тоска, и нетрудно было заметить капельки слёз, выкатившиеся из его застывших глаз. Слёзы Айро, которых никто никогда не видел, которых не видела даже его мать, Вардуи-дзало...

Колонна свернула к «Инженерской» бане, и мы в расстроенных чувствах вернулись домой.

Да, Айро больше не оборачивался... Какая безмерная тоска была в его последнем взгляде, в распахнутых, недоумевающих глазах, как у беспомощного ребёнка, наивного, сбитого с толку и ничего не понимающего, который уже не может скрыть своё горе. И разве его скроешь? Как его спрятать, Господи боже мой, и куда?! В холодные пустые карманы, куда боишься сунуть руки, чтобышний раз не наткнуться на выступающие собственные мослы?.. И он шагал, автоматически подстраиваясь к общему ритму, чтобы ему не наступали на истёртые пятки и не ругались, что он мешает. Шагал, не зная уже, куда идёт и где, усталый, без сил, опустит свой крест, который так тяжёл!..

От Айро остался сын, такой же тонкий и стройный, последний наследник устабаши Аветиса. Он вырос и тоже погиб где-то под Киевом, при переправе через

Днепр, Днипро... Этот Днипро, милый мой Игдыр, не чета твоему Аразу – широкий как море, его одолеть во сто раз трудней, чем Араз, который мы не одолели, больше того, даже не попытались. Только не подумай, что мы не перешли границу, потому что испугались этих вшивых турок. Нет, дорогой мой Игдыр, просто-напросто ты был нам не нужен. Ты –такой крошечный на географической карте, со всем, что у тебя есть, – всего лишь с булавочную головку, в наши грандиозные планы не входил...

Некому было привезти одежду Рубика, сына Айро, да и плакать над ней было некому. Ни деда Аветиса уже не было в живых, ни бабушки, Вардуи-дзало, и Айро-Керы не было.

Мир полон боли и несправедливости. Но вовсе не обязательно, чтобы кому-то этого досталось так много, а другому – вообще ничего...

Айро и его ровесники, ставшие ссыльными, могли не испить эту чашу за несовершенные ими «тяжкие» грехи, но те, кто измеряли их грехи, мерили их на свой аршин, и никакой другой меры, кроме этого «нового» аршина, у них не было... Старая история с лесом, который рубят, и щепками...

Айро с двоюродным братом Амасией и со многими своими ровесниками ушел в Иран за несколько дней до вступления 11-й Красной армии в Ереван...

Потом вышел пресловутый «Декрет», дарующий амнистию всем «перебежчикам» и призывающий их вернуться. Вернулись почти все «беглецы». Возвратились и Айро и Амасия. И жили и трудились ровно столько, сколько этот декрет был в силе. (Кстати, это длилось недолго.) Потом Амасия стал убеждать Айро ехать вместе в Россию учиться и работать, но Айро не согласился, и Амасия поехал один. Айро остался... чтобы вскоре получить клеймо «опасного политического преступника» и тоже отправиться в Россию, но не затем, чтоб продолжить учёбу или работать, а в качестве неблагонадёжного гражданина, представляющего опасность для родины...

\*\*\*

Я смотрю в твою сторону с высокой деревянной сторожевой вышки. Мне тоже, как сестрице Амалии, «товарищ генерал» сказал:

– Пожалуйста, смотрите на свой Игдыр сколько пожелаете!

Очень благородно с его стороны, спасибо. Молоденький светловолосый сержант сопровождает меня, чтобы я не перепутал тебя с чем-то другим. Я знаю, куда смотреть, но разве на Араратской равнине что-нибудь разберёшь? Во-он те ряды зелёных тополей – ты это или не ты? Наверное ты... Жалко, ни одной из трёх

колоколен не видно. Может, их уже и нет... Что-то высокое видно повыше тополей, сержант говорит, это элеватор. Нате вам, вот новость, которая лишней раз свидетельствует о том, что этих бездельников просто-напросто содержат на чужих хлебах, тогда как твои десять тысяч населения своим выращенным кормились. Наверное, из Карса везут или из Алашкерта, потому что поля пшеницы – они лежали ближе к Аразу – сразу можно было бы угадать по жёлтому цвету...

Смотрю в бинокль... Ничего не вижу, стекла тут же влажнеют, и я с виноватой улыбкой беспомощно оглядываюсь на сержанта. А он удивлённый, показывает:

– Да вон же, вон, как на ладони.

Но и без бинокля мне видны заросшие болотца на том берегу, мелководные лужи, зеркалами поблёскивающие под солнцем, а на зелёных полянах важно прогуливаются аисты. Так задумчиво и торжественно переставляют длинные ноги, клацая клювами, задранными кверху (хоть мне и не слышно этих звуков), и такие серьёзные, будто не обыкновенных лягушек ищут. Конечно, может и змея попадётся – аисты их не боятся, ударят клювом – и к тебе летят, Игдыр. Я машу тебе рукой: может, ты видишь, на чьём тополе у них гнездо? А ты, ты меня видишь, родной? Не видишь. Откуда тебе знать, кто торчит на вышке, каких тут сотни... И этому светленькому сержанту не объяснишь, почему у бинокля стёкла мокрые, – засмеёт наверно, точно засмеёт. Что ты для него? Всего лишь «объект», подлежащий наблюдению, и даже не очень важный, с булавочную головку и величиной, и значением. На «их берегу» нет ни пограничников, ни застав, вокруг только поля, твои, «наши» земли. Фактически мы сторожим тебя, чтобы ты оставался на месте. То есть, не мы, вот он, этот вот сержант, а нам нельзя...

Вон ещё два аиста перелетели сюда. И в ус не дуют, что кругом колючая проволока в три ряда. У этих двоих, видно, гнёзда на нашей стороне. Летают то туда, то сюда... Правильно думаешь, что и я хотел бы стать аистом, – но нет, не хочу. И без того я могу мысленно перелететь на твою сторону, но зачем мне это? Я хочу сам босыми ногами зарыться в тёплую пыль на нашей улице в Игдыр-маве, чтобы ступни вобрали тепло этой рыжей земли. Потом я зашёл бы во двор и поднял ведро холодной воды из колодца, и напился прямо из ведра, и ничего, что вода потечёт мне на грудь и намочит одежду...

Я не хотел, чтоб этот молоденький сержант видел мои слёзы, но он увидел. Нехорошо, никуда не годится, когда старый человек плачет, а жалеть старого человека ещё ужасней. Но видно, что этот юноша жалеет меня. Осторожно

придерживая под руку, помогает мне спуститься с вышки. Я хочу придать лицу беззаботное выражение – не получается, говорю ему что-то на его языке, но опять невпопад. И он тоже совсем не то говорит: что-то про борщ и про стаканчик, который – чем чёрт не шутит – может, позволит нам товарищ майор. Да, может быть, и поможет, не борщ, конечно, а водка или, ещё лучше, спирт. «Не помешало бы» – стакан, полный доверху, чтоб *«черти ноги не мочили»*...

Майор старый солдат, знает, куда я глядел, на что брал разрешение. А вот я не знаю, зачем пришёл...

Зачем мне было нужно это бессмысленное ковыряние в старой ране, которая никак не закроется, не отболит!.. Но ты так близко, совсем рядом, как говорил молоденький сержант: «Да вот же, как на ладони!»... А что у меня на ладони? Тебя на ладони нет... и не знаю, будешь ли когда... У кого бы спросить?.. Разве тот юнец или майор ответят на мой «неразумный вопрос»?

Да ведь завтра-послезавтра в очередной раз явятся ко мне твои почтенные граждане – отец мой или тот же Влас, и будут маячить перед глазами со своим немым вопросом: «Ну, какие новости?» Когда-нибудь должен я ответить на их вопрос? Что мне сказать им, уважаемый товарищ майор? Да зачем я тебя спрашиваю, на что тебе сдался этот лоскуток земли размером с горошину, когда у тебя у самого земли – без конца, без края!..

Или что нам ответить тому обрезанному турку, который сказал нашему полководцу: «Землю хотите? Мы на этой земле кровь пролили. И вы пролейте!»...

Где же нам её пролить, уважаемый майор? Вон как нашу землю колючей проволокой обнесли, а в промежутке ещё и распахали да взрыхлили – мышь без следа не проскочит...

Да и кто это посчитал, сколько крови мы пролили, пока друзья Оганяна, Огана, Унана до Берлина дошли? Сами они не дошли... Каждый третий из горстки живущих на земле армян ушёл на войну, и крови там было пролито море. Но не за тебя. Нам сказали: «Это был ваш священный долг перед Родиной». А ты, родной, разве ты не родина? Нет, ты для этого майора всего лишь приграничный объект, который надо стеречь как зеницу ока. А мы... мы просто «доноры» – когда понадобится кровь, вспомнят о том, что есть мы.

– Да, вам не позавидуешь... А я грешным делом подумал, что вы забыли меня, совесть свою потеряли... Но смотреть на меня в бинокль с этого деревянного пугала... это просто оскорбительно! Что я вам, *тамаша*, что ли?

Ты прав, джан ты мой, не дело это, но как быть, если задыхаешься от тоски? Думаешь, это легко? Ведь скольким высокопоставленным особам пришлось в ножки кланяться, чтоб поспособствовали, чтоб снизошли, чтоб разрешили тебя повидать! Как заключённого в тюрьме строгого режима. И в самом деле, кто ты, как не заключенный? В лагере, за колючей проволокой. Так всё и кажется, когда разрешают «свидание». Я даже «передачу» взял, правда, не для тебя. Так, на случай, если повод найдётся посидеть, поговорить по душам с майором или ещё с кем из тех, кто тебя как зеницу ока берегут... Может, и о тебе, хотя стерегущие тебя не очень любят распространяться про свой «объект» ...

– И что? Надеешься что-нибудь путное от генералов услышать? Попробуй, но единственное путное уже давно сказано. Отец твой услышал это от Джангира, своего хорошего друга, на пути вашего исхода. У того тоже сердце кровью исходило, когда вспоминал, что оставил склоны Масиса, прохладные родники Зора. «Амаяк, не теряй надежды, – сказал он. – *хода ека, дардя хазаре*. И для нас однажды дверь откроется»...

Джангир-ага наверняка был оптимистом. Впрочем, дверь эту раза два даже открыли наполовину, но... так её, полуоткрытую, и захлопнули прямо перед его носом, чтоб не входил. И сказали: «Э, нет, друг, тебе нельзя, ты что, никак запомнил, что был в Сардарапате, таким как ты, вход воспрещён».

Мой генерал старый вояка, правда, он не так стар, чтоб знать твою историю, он просто «кадровик», то есть из самого надёжного, неизменного состава армии и оттуда уйдёт прямиком на пенсию, если служил, говоря их словами, «как положено».

Это «**как положено**» не имеет объяснения, имеет только антоним – «**не положено**». И поскольку своим приходом сюда я спутал для них все мыслимые «можно» и «нельзя», мы садимся с майором за стол, а сержант нас обслуживает «как положено» – то есть без слов.

Я прошу его налить мне принесенного мною коньяка, а их «обычной» выпивки, и протягиваю чайный стакан. Он наливает, и мы без слов, молча выпиваем: у них принято пить молча, и я медленными глотками, не моргнув глазом, опорожняю свой стакан под одобрительным взглядом майора.

Молчим. Заговорить должен хозяин, то есть он. И он наконец спрашивает, видимо, из вежливости:

– Ну как, довольны?

– Вы очень великодушны, я до глубины души тронут, – говорю я и добавляю, что не от праздного любопытства просился сюда.

–Этот Игдыр моя родина, я там родился...

– Действительно? Вы родились **в Турции**?

И вот тут, я думаю, товарищ майор допустил серьёзную тактическую ошибку – этим своим вопросом, заданным «ради приличия», он невольно положил начало разговору, которого совсем не желал.

А я как раз только и ждал повода, но на такую удачу даже надеяться не мог.

– Почему это в Турции? Я в самой что ни на есть Армении родился, в этом городе, на который смотрел. И крестили меня в одной из трёх церквей Игдыра, и на крестинах моих присутствовали, кроме наших, батюшка русской православной церкви отец Мефодий и полковник Карельков со своими офицерами. И назвали меня таким «неармянским» именем по просьбе одного из русских офицеров. Вы удивлены? Разве вы не знаете, что это была наша земля, то есть ваша, а точнее, царя Николая? Хорошо, что вы улыбаетесь... И границей была вовсе не эта река. И к вашему сведению, если бы сбылось желание Карелькова, и когда бы оно сбылось...

– Стойте, стойте, кажется, я слышал об этом полковнике Карелькове!

– Почему только о Карелькове, а о полковнике Перекрестове? Рыцарь без страха и упрёка, четыре Георгиевских креста, вся грудь в орденах... Плюс всё офицерство гарнизона, которое и слышать не хотело о том, чтобы эту землю, «Русскую Армению», оставить проклятым «басурманам», зовущимся турками...

А мы оставили, просто-напросто подарили, не удержали...

– А кто это «мы»?

Не надо разыгрывать наивность, сам прекрасно знаешь, майор.

– Ну сами бы и удерживали!

Ничего другого я и не ожидал.

Мы удерживали, ещё как удерживали! Когда чудом отвоевали нашу землю! Сколько смогли удерживали – два с половиной года, без посторонней помощи, Перекрестов и Карельков со своими офицерами были единственной нашей поддержкой. А врагов – тьма, и вы даже не поверите, если скажу вам, кто... Ладно, дело прошлое...

– Интересно, кто были эти ваши «враги», если не секрет?

Пожалуйста: наши пресловутые «братские» республики, не считая Турции – нашего вечного врага и «вашего друга».

– В самом деле невероятно... И что же вы не поделили? Столько лет живёте бок о бок, как братья...

Ну что ему сказать, родной! Какой смысл объяснять, если он действительно ничего не знает.

История долгая, запутанная, за день не расскажешь, – говорю ему, – давай отложим на потом, если встретимся где-нибудь в другом месте, не на границе, чтоб я не чувствовал себя как на иголках. Скажем, в моей мастерской, если пожелаете...

– О, с радостью, почту за честь, с моими друзьями-офицерами, премного благодарен.

– Но один вопрос, ни к чему не обязывающий, «абстрактный», мне всё же хотелось бы вам задать, если не возражаете.

– Пожалуйста, пожалуйста, если действительно, как вы говорите, абстрактный.

– Скажите, пожалуйста, сколько ещё этой колючей проволоке оставаться нерушимой границей, недвижимой, на этом самом месте? Когда вы «передвинете» её на прежние места, в старые, иначе говоря – царские границы? Вы не можете не знать, где были Карс, Ван, Битлис, – они по ту сторону реки, по ту сторону Масиса...

– И этот вопрос вы считаете абстрактным? Предлагая грандиозную и неосуществимую военно-стратегическую программу, направленную против нашего... против дружественного нам государства!.. Не ожидал от вас, уважаемый художник! Я-то думал, вы любуетесь родным пейзажем. А вы... Не ожидал от вас, не ожидал, – и улыбается, и укоризненно качает головой...

Да, видно, злоупотребил я терпением этого честного служаки. Но слово, как говорится, не воробей, вылетит – не поймаешь. И я нахально продолжаю:

– Раз, как вы сами заметили, это «неосуществимо», значит абстрактно. И таким оно и останется, пока вы не скажете «Нельзя!»...

И замолкаю, глядя в свою тарелку и ковыряя в ней вилкой.

Он сам нарушает молчание.

– Вы очень опасный собеседник, и не только вы – все армяне. Такое уже бывало, я не раз слышал. И не знаешь, сердиться на вас или жалеть, и обвинять тоже не можешь... И жаль, что вы живёте вот так, в постоянном напрасном душевном разладе, что «растравляете» сами себя, не можете, не хотите забыть, смириться...

– Подождите, подождите, – теперь я останавливаю его, уже не владея собой, – что вы предлагаете забыть? С чем смириться? Имейте же совесть, рассудите по совести! Поставьте себя на моё место: что бы вы стали делать, если бы ваша родина – да-да, ваша – была так близко, на том берегу, говоря словами этого юноши, «как на ладони», а турок, развалясь, дрыхнул бы на ней, на **вашей** земле, в **вашем** доме, что бы вы сделали?

В ответ я услышал такое долгое «нуууу», и уважаемый майор чуть не поперхнулся:

– Вы говорите невероятные вещи! Как можно!.. Ещё чего не хватало!..

Ай да майор! Вот оно, настоящее мужское слово: и вас проняло, и вы не выдержали...

– Конечно, **ваша** родина, и вдруг какой-то турок на ней дрыхнет... «Не положено!»... (Майор смеётся над этим «Не положено».) Ну, а **мою** родину ему оседлать позволительно. А мы, если уж так беспокоимся, сами и должны о ней позаботиться. Так, что ли, прикажете вас понимать, дорогой Фёдор Фёдорович? (Чтобы задобрить, обращаюсь к майору по отчеству, просто как к русскому человеку, а не к военному офицеру.) Да? Но, во-первых, ведь это вы стоите здесь с танками, с собаками и колючими проволоками, именно вы стоите между нами. А во-вторых, чем прикажете воевать? С пустыми руками, безоружными? И конечно, опять в одиночестве?..

– Наша беседа становится всё опаснее. Видно, я виноват, мы зашли слишком далеко, это всё бессмысленные разговоры... Ладно, скажем, заимели вы оружие, и что? Что вы сможете сделать одни – против этого многомиллионного народа?

(О, лучше было вам не произносить этих слов, но вы их произнесли, товарищ майор!) Я чувствую, как кровь вскипает во мне, и если сейчас заговорю, голос меня подведёт, сорвётся. Я отпиваю глоток воды и тихо, сквозь зубы, медленно отчеканиваю:

– Во-первых, почему одни? А вы и остальные наши «четырнадцать братьев» на что? Или останетесь в роли наблюдателей? Куда же подевался ваш «интернациональный долг»? Ещё в Афганистане, у душманов?.. И потом, какой из мудрецов или военачальников говорил, что больше – значит сильнее? Все умные полководцы, от Александра Македонского до Суворова, внука Мануковой, опровергали этот тезис. Что мы с нашим «множеством» смогли противопоставить финнам? Вы не забыли, их тоже было мало, столько же, сколько нас, армян. Мы ничего не смогли с ними сделать. Перед всем миром опозорились. Да и в

Афганистане ничего не получается: как видите, душманов тоже немного, но пока только растёт число цинковых гробов. Запаянных, как консервы. И открыть нельзя, и лучше не думать, тела там внутри или их «фрагменты», истерзанные людьми и животными... И мать не может последний раз поглядеть на сына-интернационалиста, своего кудрявого, черноглазого, смуглого мальчика, которого отобрали среди других, чтобы он, не сильно отличаясь, мог воевать среди афганцев...

Ну почему, почему армянский юноша должен погибать за афганскую землю?

А теперь насчет того, «что мы можем сделать одни». Как по-вашему, уважаемый товарищ майор, это справедливо? Почему мы должны быть одни? Что мы доноры для вас, как проливать кровь – вспоминаете тут же, что есть мы и наш «долг». «Интернациональный долг»... Слово-то какое удобное придумали! Только до сих пор непонятно, сколько, кому и за что должны, чтобы нам вернуть этот долг и избавиться от него наконец. И кто сказал, что армянин на этом свете перед кем-то в долгу, когда весь этот мир со своей чёрной душой, утраченной совестью и незрячими глазами – в долгу перед армянином! И вы, дорогой майор, и ваша совесть. Вы можете не помнить оставленные вами Карс и Эрзерум, залитые нашей кровью, с обманутыми вами невинными жертвами. Но и в Великую Отечественную войну мы пролили немало крови. Никто не имеет права забывать Нельсона Степаняна, Унана Аветисяна, Сергея Оганяна... Сто семь Героев, больше полусотни генералов и маршалов. А сколько армянских солдат осталось под Киевом и Ленинградом, на берегу Одера, под Сталинградом и Курском, на подступах к Берлину! Имя им легион... Кстати, павших армян куда больше, чем жертв у больших народов. Простая арифметика цифр и процентов – и убедитесь: число армян, сложивших голову во имя Родины, при исполнении «священного интернационального долга», – больше всех. И не пугайте нас «многомиллионным» врагом. Мы знаем, видели, в чём они храбрецы. Вы, вы видели тоже – вспомните казаков Карелькова. Это известный факт, у больших народов не только совести на всех не хватает, но и памяти, особенно когда это касается того, о чём вспоминать невыгодно. И что вспоминать? О чём должна помнить, что создала и оставила человечеству эта многомиллионная дикая орда, кроме руин и крови на своём пути, боли и страданий, истребления малочисленных народов, тирании и рабства? За триста лет сколько набегов и на вашу землю... И кого родила, кроме омерзительных вырожденков, недостойных упоминания: султана Гамида? Энвера? Кемаля?

Чуть правее вашего погранпоста есть вышка на берегу ещё одной речки – Арпачая, видели наверное. На другом её берегу развалины древнего города, одного из старейших в мире, – последней нашей столицы Ани. Руины дворцов, храмов, крепостей... И туристов рядом с ними наверняка видели – целые группы, не как я, один. И с ними гид, слов которого не слышно, но если бы вам довелось их услышать, вы бы узнали, что им, оказывается, есть что «вспомнить». Наивным туристам рассказывают про их «гениальных предков», которые «создали» эти храмы и дворцы, про «хозяев» этого города, которые просто забыли воздвигнуть для своего Кемаля-паши хотя бы одну мечеть, чтобы он мог помолиться аллаху, отправляясь завоёвывать Александрополь.

Господи! Надеюсь, что вслух я ничего этого не сказал?.. Мысленно бредил, должно быть... И он давно не слушает меня, стоит себе у окна и смотрит в твою сторону, любимый. Или на аистов, которые летят к тебе. А может, думает о чём-то другом, запутался в моих бредовых речах?.. Или рассердился, но не хочет ответить обидным словом, хотя имеет право. Не пристало мне, гостю, так себя вести! Это всё вода Араза виновата... Меня удивляет терпение майора: это не просто военная выдержка, нет, он не равнодушен, вижу, что взволнован, ушёл в свои мысли. Меня нет, он забыл обо мне... Боже мой, вдруг это совсем другая порода русских, вдруг он из Карельковской породы, или Грибоедовской, или Брюсовской? Не все же в России Богуславские или Лобановы, Ежовы или Суслы. Только плохой человек обо всех плохо думает...

– Ладно, Эдик джан, ты не переживай, ну сказал и сказал, вырвалось... Ведь и он хорош! «Ещё чего не хватало!»... Выходит, мне страдать «положено», а ему никак! Ну и ну... Ладно, налей ему и не бери в голову. Прав был Джангир: *дардя хазаре...*

Ты тоже прав, дорогой, но ты же знаешь, что правды, справедливости нет на этом свете... До сих пор только один человек, римлянин Пилат задавался вопросом: «Что есть истина?» И обратился к «некому», кто наверняка знал ответ, но тот не ответил, промолчал с опущенной головой...

\*\*\*

Если женщина без удовольствия готовит и подаёт еду мужу, без удовольствия обихаживает мужа, то этот так называемый муж – самый несчастный и презренный человек на свете, и лучше ему ходить в ресторан – там его, пусть вынужденно, но приветливо обслужат. Печально, но это так.

Даже когда у меня нет дела в мастерской, я нарочно еще ненадолго задерживаюсь, чтобы домашние успели пообедать и мы с матерью остались вдвоём: я с ней и она со мной. Я хочу, чтоб меня кормила-обихаживала моя мать.

Господи, как же это нелепо и горько, что дети слишком поздно понимают, какое неповторимое счастье иметь родителя. Только начинают понимать, а уже и опоздали... Самый почтительный и послушный сын, как муха в киселе, с утра до вечера барахтается в скучном каждодневном водовороте дел, чтобы быть «не хуже других», построить свой дом, «свою» семью, и в этой мышиной беготне не находит времени, чтобы чуть подольше попользоваться день за днём убывающим счастьем быть для кого-то ребёнком, иметь родителя, не жить сиротой, не ощущать одиночество...

Я открываю бутылку вина, мать накрывает на стол. И снова и снова с укором следит за каждым моим движением. А я притворяюсь сердитым, чтоб она не произнесла своё каждодневное: «Умереть мне за тебя, пей поменьше...» Мрачно гляжу на неё, чтоб не повторяла опять: «Твой старший дядя... вспомни, что с ним сделала выпивка», и, обрывая её, предлагаю сменить тему, рассказать что-нибудь...

– О чём же тебе рассказать, Эдик джан? Ты, наверное, хочешь что-то определённое...

– Расскажи, как ты стала «игдыркой», как оставила свой Кохб и попала к этим драчливым и шумным чужакам.

– Да наши и сами в этом от этих не отставали, игдырцы в сравнении с ними тихони. Другое дело твой дядя Аветис. Никто никогда от него дурного слова не слышал. Нет, такого человека, как твой дядя, на свете не сыскать.

– Опять дядя... Что, никого другого не было?

– Были, почему не было, но если б не твой дядя, с чего бы я очутилась в вашем Игдыре? Ведь ты подумай, Эдик джан, если б я в этот день в магазине не оказалась, знаешь, кто был бы твоей матерью?

– Вот так так! Кто же?

– Вот видишь, не знаешь. Твоей матерью была бы сестра нашего крёстного Арташеса Пахлавуня.

– Кто? Мать сестрицы Цовик?

– Да, сынок, такая пухленькая, краснощекая, всегда с улыбкой на лице, красавица...

– Красавица? Красивее тебя? Все в один голос твою красоту вспоминают – и дочки твои, и золовки. Золовки, когда тебя увидели, рты поразевали да так и остались, а ты говоришь...

– Э, сынок, откуда мне знать, какая я была?.. – и, смутившись, продолжает... – Сейчас-то вообще ни на что не похожа...

– А ты на своих ровесниц посмотри...

– Как там долма, не солёная? – делает она вид, что не слышит

– Вкусная, мам, конечно вкусная, дай налью немного вина, из Ринда привез, ты такое любишь, полусладкое.

– Да что с тобой говорить... Ладно, налей немножко.

Наливаю ей полбокала, мать пьёт маленькими глоточками, кивает головой в знак того, что вино ей нравится: мать в вине толк знает. Но она опять за своё: «меньше пей...»

– Ты не отвлекайся, так о чём рассказывала?

– Да, тем утром тётя твоя, Езафо, послала меня в магазин, уж и не помню, за чем. Вошла, вижу, все кругом незнакомые, а среди них стоит один – высокий, ладный, ну просто красавец. С твоим дядей – братом моим разговаривает. Он, как меня увидел, без конца в мою сторону поглядывал, а я стою, не знаю куда руки деть, закрыла лицо ладонями и только собралась повернуться и убежать, дядя твой позвал: «Сачо джан (меня в Кохбе так звали), принеси холодной воды нашим гостям». Я бегом к роднику бросилась, принесла кувшин воды, подала стаканы и убежала домой.

Вечером домашние о чём-то шептались, не знаю о чём, и тут дед твой, Гриш, вдруг как грохнет кулаком об стол – весь красный, сердитый.

– У меня для игдырца дочери нет! Для этих *лопазов* (бахвалов)! Да и кому мешает моя малышка? Вы её, что ли, содержите?

Мать моя, Мехрибар, стала его утихомиривать: мол, тише, не сегодня же заберут...

Я как услышала слово это – «заберут», со слезами кинулась к сестре. Этот день тем и кончился, но потом принесли кольцо, вот это, мне на палец надели. Видишь, оно толстое было, совсем стерлось, я с того дня его не снимала...

– Это всё твои стирки. А потом, потом что?

– Потом отец твой раза два приходил, тоже просил воды принести, и ни он на меня не глядел, ни я на него...

– Ну хоть тайком, исподтишка отца не разглядывала? Интересно ведь, какой он, хорош или нет. Я на того времени фотографии смотрю – нельзя сказать, что некрасивый, должен был тебе понравиться...

– Да не знаю, Эдик джан, да и кто меня спрашивал. Ну, кудрявый, усы, глаза чёрные... Красивый. Одежда очень ему шла: в черной чухе с башлыком, голову часто опускал, теребил свой серебряный пояс и молчал, спаси его Бог! Застенчивый был, молчун. Если что надо, через дядю твоего передавал. Это он уже потом разговорчивым сделался, дай ему волю – весь день ворчать будет. Вот кто в «сверчков» пошёл...

– Сейчас примчится, лёгок на помине. Вчера говорил: «Мать домой отсылайте, зимних дел полно»...

– Он мои дела теперь лучше меня делает. Небось опять что-то залатать надо. А те тобой купленные костюмы спрятал, не носит, думает – с собой заберёт, что ли...

– Мать, не смей ругать его!

– А почему не носит, старьё донашивает? Как вернусь, сожгу...

Конечно, давно надо было сжечь, а то люди подумают: носить нечего, дети не покупают...

– Твой дядя Аршалуйс сам сначала не хотел отдавать меня твоему отцу, но потом он ему понравился. Аршалуйс говорил, у него «душа золотая», но вот торговля совсем не его дело. Если б не брат мой, этот духан ещё в Игдыре накрылся бы. Твой дядя только и делал, счета приводил в порядок. В тот год, как мы перебрались сюда, дед твой купил под Норком дом. Ты должен помнить, по той стороне Гедара узенькая улочка шла. Недолго пожилы мы в том доме. Он опять магазин открыл, рядом с илизоном... (Мать всё правильно помнит, был там такой кинотеатр «Аполлон».) И опять твой дядя всем там заправлял. В то окаянное время это было... Дядя твой ведь не молод был уже, двое детей. И вот пришли однажды двое с маузерами... Крики, слёзы! Увели. «Дезертир ты! – сказали, – кто же родину будет защищать, если такие, как ты, дома сидеть будут». Увели на войну в Кешишкенде. Потом узнали, что он раненый лежит, дед твой поехал, чтоб привезти, – не дали, сказали, пусть умирает за родину...

Умер он, на руках у деда твоего умер, он там и похоронил, одежду его привёз... Дед твой очень Аршалуйса любил, один он у него остался. И твой дед не выдержал, всё что мог продал, уехал в Ташкент. Сказал: «Я с этими разбойниками и убийцами жить не могу...» Очень разозлился. Да и как не разозлиться: если б отдали, может, и вылечили бы, на ноги поставили. Рана без ухода загноилась,

кишки все почернели – кто его лечить станет в лазарете, там таких, как он, сотни вповалку, без присмотра лежат... Деда твоего жаль было очень, так сразу постарел. Ему за девяносто было, но он держался крепко, никто не видел его подавленным. Так же чисто одевался, по утрам подолгу умывался, всем нам желал доброго утра, заводил золотые часы на цепочке, потом выпьет стакан молока, сыр с хлебом съест – и на работу.

Только в Ташкенте он недолго выдержал. Несколько лет прошло – вернулся. Земля позвала. Здесь ещё несколько лет прожил, но уже сломался. Виду не показывал, но сдал сильно. Уже не тот синеглазый красавец, который так складно говорил, любил рассказывать истории... Заболел, пролежал пару дней, во сне звал «Аршалуйс, Аршалуйс...», открывал глаза, растерянно нас оглядывал и снова засыпал.

– Слушай, мать, вот ты говоришь: уехал, приехал... Сколько же лет ему тогда было?

– Сто семь лет должно было исполниться, Эдик джан...

И так спокойно говорит это: «Да, сто семь, Эдик джан»...

– Если б не потерял сыновей, прожил бы и больше... Аршалуйса он очень любил, да и кто его не любил! Не удивляйся, Эдик джан, его годам. Наши старшие были люди добрые, жили праведно, своим умом, трудом и потом, к земле привязаны были... Праведники живут долго, их Бог хранит. В Игдыре много было добрых людей – ты на их сумрачные лица и косматые брови не гляди, у них душа чистая. Только сердить их не надо...

– Что же дядю Аветиса этот твой справедливый Бог не сохранил?

– Он сам не хотел жить, как твоя бабушка Банавша. Айро был для него всем, он не вынес. И Вардуи-дзало сгорела как свеча – сидела, откинулась на подушку, только вздохнуть и успела... Ведь добрые люди хрупкие, сердечной боли могут не вынести. Дядя твой потерял всё, хорошо хоть, что не увидел, как Рубика увели, не то трудно бы умирал. Единственный наследник, вся надежда на него была. Очень уж несправедливо было, что его на фронт увели... Как Николая ни ругают, но при царе и то единственного сына не трогали, оставляли по закону...

– Эдик джан, ты про деда своего думаешь сейчас, знаю. Но Гриш совсем другое дело. От Аршалуйса двое детей осталось, да ещё третий – сирота, сын моего старшего брата, Аргашеса. У него умереть права не было, кто бы детей поднимал? Да у него и времени не было подумать об этом. Дед Гриш был совсем другой человек. Добрый-то добрый, но разум ему никогда не изменял...

– Добрый... Праведный... Прошли их времена...

– Мир без добрых людей не бывает, Эдик джан. Дурное и злое, как ржа, съедают человека. И не обижайся, что одного Аветиса в пример привожу – кого ещё я знаю из порядочных людей?

– Знаю, знаю, что ты его очень любила...

– Не просто любила. Боготворила!

– Не обижаюсь, но разве в Игдыре больше не было «порядочных» людей?

– Были, и много... Но все они ни в какое сравнение не шли с твоим дядей Аветисом. Он был особенный человек...

Наверное, мать была права. Прожив долгую жизнь (девяносто три года), с восемнадцати лет она жила невесткой в Игдыре и имела возможность сторонними, «кохбскими» глазами различать хорошее и плохое. А если учесть, что в нашем доме перебивало множество людей – начиная с бесчисленной родни и кончая друзьями отца, офицерством, знатными людьми Игдыра, – одним словом, выбирать было из кого. Правда, материнский список не так уж и густ: Хачатур-ага, Гарегин-ага, Влас, Джангир-ага, (вот Юсуб-бека не было в списке, хотя бывал он у нас дома куда чаще, чем Джангир-ага), Арчил, Тер-Месроп, к которому она относилась с особым почтением, и сын Месропа Аршавир, в которого мы были влюблены всей семьей. Но Устабаши, как она сама говорила, был особенный...

А ты кого бы добавил в этот список, Игдыр?

– Так ведь она же сказала: «много их», всех не перечислишь, а кого я помню, те старые совсем, из тех, кто мои земли к жизни возрождал, обустроивал. Взять того же Нарндженц Енока, или Мелик Вртанеса, Аваговых, Одабашянцев, Лысого Кяспара, Секоянцев, Нисановых. А Епрем! А Канаяны! Не один ведь Мартирос был учёным человеком, они все были образованные люди, сначала в Игдыре, потом в Ереване... Степан, Хачатур Канаяны и другие...

Знаю, кого ты имеешь в виду. Но до того как вспомнить «его», не забудь добавить к ним Агароняна, но не как учителя математики в приходской школе, а как поэта и писателя – большого писателя и члена парламента, национального деятеля. Я читал его прекрасные рассказы, а вот о деятельности в парламенте... чего не знаю, того не знаю, да и не только я, и не только о нём – вообще о деятелях Республики. Судить о них не моего ума дело. И особенно о Дро, о котором ты и хотел упомянуть.

– Да, да, про Дро, и да будет тебе известно, если б не он, вряд ли ваш исход дался бы вам так легко и просто.

Уже то хорошо, что ты не завёл старую песню про то, что тебя «покинули». Но, дорогой мой, ведь он был не один. А как же молодёжь Игдыра? Про них ты забыл?

– Что молодёжь!.. Неопытные, наивные, что бы они делали без главных? Перебили бы их, как младенцев...

Ну-у, зря ты так про них. Перебили...Они сражались, как должно, бесстрашно смотрели смерти в лицо и пали, чтобы мы легко и спокойно перешли Араз.

– Прости, я и в мыслях не держал кого-то обидеть...

Конечно, что ты можешь знать о чёрных днях, которые настигли потом, в Ереване, этих наивных и неопытных, которые при словах «Игдыр» и «родина» забывали обо всём на свете. Они доверились своему соотечественнику, храброму хмбапету, и по мановению его руки без промедления пошли бы за ним на войну и на смерть, туда, где надо было удержать оставленную нам крошечную пядь земли. Вслед за своим хмбапетом, окрылённые девизом, начертанным на их трёхцветном знамени:

Блажен, кто пал за свой народ,  
За родины свободу!

– А то, что он сделал в Апаране?

Ты же сам сказал, что это не моего ума дело. Тут столько туману напустили – голову сломаешь. Знаю, что был умён, изобретателен, знал толк в военной науке, ведь не случайно стал военным министром. И в «новой республике» тоже...

Успех Апаранской битвы обусловлен именно его изобретательностью и умением мгновенно ориентироваться. Ведь совсем непросто, вступив в бой вместе с небольшим подразделением резервных сил, оставленных для защиты Еревана, и молодёжными отрядами, в которых, были, несомненно, и твои «молодцы», остановить, а после разбить наголову регулярную армию пашей, тайно переместившуюся в Баш-Апаран с намерением, в случае успеха, обойти Сардарapat с тыла и ворваться в Ереван. И какой тогда, к чёрту, был бы прок от этого резервного отряда! Можешь себе представить, какая судьба ожидала столицу, и тут уж бежать было бы некуда! Пашей нужно было остановить. Битва за Ереван, за спасение переселенцев – вот что произошло в Сардарапате и Баш-Апаране...

Тайно пообещав ополченцам свою поддержку и упросив их продержаться еще немного, он со своей «армией» под покровом ночи добирается до Апарана, где

даёт короткую передышку своему взмыленному коню, а на рассвете наносит неожиданный удар по вражескому войску. Самодовольные паши-предводители ждали сражения с безоружной, плохо экипированной крестьянской беднотой и были уверены в своём успехе. И войско, численностью многократно превосходившее армян, впало в панику и было разгромлено...

– Слышал, что и в плен его взяли, пашу этого. Впрочем, неважно, легенда наверное...

Это всё, что я слышал о твоём замечательном игдырце. И знай, что Апараном не началось и не закончилось его служение народу, оно началось давно, задолго до рождения Республики, но и после его деятельность не ослабевала. Он был «везде и всюду», где нам приходилось туго, а вместе с ним и удача. Удачливый он был полководец, про него говорили: везучий. Для армянина дело небывалое.

Вот и всё, что мне о нём известно, – обрывочно, по слухам, как говорят, «оттуда-отсюда», да и неоткуда было взяться большему. Правды о нём никто не написал – либо сплошная ложь и брань, либо то, что «разрешено» знать нашему брату – легковерному простому смертному. И разве о нём нам не давали знать? А о нашей несчастной Первой Республике, обо всех её трижды несчастных патриотах, честнейших и самоотверженных создателях этого нашего чуда? Нам преподносилась, искажённая версия и их времени, и деяний, и самой истории, исковерканная до невозможности. Наши недруги, турецкие паши, и то оказались «добросовестнее», и вот их-то я и читал, чтобы узнать правду о нас, о тех временах...

Ошалеть, одуреть можно от этого нашего маниакального стремления к фальсификации своей же биографии – к отрицанию самих себя и потрошению собственной истории! И ведь до сих пор пишут. Пишут со страстью завистливой старой девы, ради не стоящей гроша диссертации, ради званий и степеней, полученных в уплату за лизоблюдство. Отрицают, пятнают сомнением небывалый подвиг возрождения народа, его поворота к новой истории, знаменующего для него **начало новой эры**, – ибо полагают всё это недостойным памяти, ничтожным историческим казусом, «чрезвычайным обстоятельством», как сказал бы пишущий твою историю г-н Еприкян.

Таким, как он, прилежным «могильщикам истории» наше недавнее прошлое может показаться неприметным, ничтожным: всего мгновение, каких-то два с половиной года... Конечно, по сравнению с нашей же тысячелетней историей – лишь только миг, который они могли и не заметить. Будем считать, Господи, что

по причине слепоты... Уж лучше пусть прикинутся подслеповатыми, если даже «добросовестности» турка не имели. Ведь в упор видеть не хотели, каким насыщенным был этот «миг», этот недолгий всплеск, по весомости и ценности своей равнозначный десятилетиям, какой невероятный сгусток боли, страданий и героических подвигов таил он в себе...

В самом деле, надо было быть незрячими – слепыми душой и нищими духом, презренными прихлебателями. Потерявшими память манкуртами, как в киргизской легенде...

Но не верь, милый мой Игдыр, что можно лишит божье творение, зовущееся человеком, его единственного преимущества перед четвероногими собратьями – памяти, каким бы незначительным оно ни казалось.

И не забывай, родной, что и у тебя от таких «похоронщиков» отбою не было, но и ты не лыком шит, ты не то шило, чтобы можно было спрятать в их тёмных мешках...

\*\*\*

Устабаши Аветис, который больше никем не управлял, уже и не был устабаши, хотя все, кто знал его, продолжали обращаться к нему именно так. Он сломался, но не впал в уныние, носа не вешал и голову по-прежнему склонял только перед швейной машинкой. Сидел в своей «будке», занимался шитьём и наставлял своего «последнего» ученика. Не поучал – беседовал с ним: знал, что из всех бесполезных занятий наиболее полезное – это поучение. Как для наставника, так и для ученика.

Отец мой Амаяк, когда решил, что пора «делать из меня человека», был сильно удивлён. (И не он один.) Я пытался увильнуть от исполнения моего, как все говорили, «священного долга»: наотрез отказывался ходить в школу – и всё тут!

Уже известно, как я пошёл-таки в школу и кто привёл меня туда. Но один год я всё же выгадал. И на это время мой отец вынужден был (по настоянию матери) попросить брата взять меня к себе и поучить уму-разуму...

Настал мой черёд удивляться, причем с первого же дня.

Я остолбенел, когда дядя согнул мой правый средний палец и примотал его суровой ниткой к ладони так, чтоб он оставаться в этом положении – так легче, надев наперсток, учиться проталкивать иглу в ткань. А как мне с таким пальцем держать рогатку, как стрелять по голубям и воробьям или принимать участие в «каменнотатальных» войнах – до этого никому дела не было.

Конечно же, эта нитка на месте не оставалась – я её разматывал, причем потом не всегда можно было найти нить того же цвета, чтоб примотать палец обратно. Однако, как ни странно, дядя ничего «не замечал», мало того, ещё и хитро улыбался себе в усы...

В мои обязанности входило брызгать водой вокруг дядиной «будки» и подметать тротуар, что я проделывал с превеликим усердием, а ещё два-три раза в день приносить из мечети холодную воду в кувшине. Выполнив свой долг, я вставал перед дядей по стойке смирно, всем своим видом показывая, что готов к дальнейшим указаниям. Взглядом поверх очков он приглашал меня сесть на скамеечку рядом с собой и...

Говорил он неспешно, как всегда, и с короткими паузами – на то, чтобы проткнуть ткань иглой с ниткой туда и обратно, то и дело с улыбкой взглядывая на меня поверх очков. Говорил он не так, как другие взрослые – в нелепой, надуманной, нарочито упрощенной манере, не будем говорить – надоедливой, но невыносимо скучной.

Он говорил со мной как взрослый с взрослым, признавая моё «достоинство». И как всякий игдырец, даже самый высокообразованный, как даже сам профессор Шаваршян, когда говорил с игдырцем, – в начале или в конце своей речи непременно вставлял словечко на игдырском или хойском диалекте, получалось очень «вкусно» и естественно.

– Скажу тебе, мой Эдик, что шитьё – не твоё дело, не-ет. Походишь ко мне немного, покуда отец твой малость успокоится, тогда и скажу ему, и матери твоей, Сатеник, тоже скажу. Видать, тебе что-то другое нужно... Но школа – это главное, без учёныя никак нельзя, умереть мне за тебя...

Он не говорит: «Это твоя святая обязанность».

– Видишь, год ты уже потерял. Тебе скоро восемь, верно? – и не смотрит в мою сторону.

– Не знаю, дядя, не помню...

– Чего там не помнишь, восемь и есть, осенью исполнится. Год пролетел... Но шитьё не для тебя. Вот давеча на стене мелом нарисовал – никак нашего езида? Очень похож, усы, чалма на голове. Признавайся, его рисовал?

– Ага, дядя, – отвечаю я.

– Не ага, а да, мальчик мой, – беззлобно поправляет он. – Ты на меня не гляди, ты мне правду скажи, всё же его рисовал?

– Да, дядя.

– А недавно во двор мечети приходил человек, высокий такой, в шляпе и с тростью, присел в тенёчке за нашей будкой, мечеть рисовал, в одной руке кисть, а в другой... как её там... трубка, толстая такая, табаком набил, дым вокруг вьётся, а он рисует. Так похоже изобразил. Вот если б и ты так выучился...

– Ах, дядя, но ведь не хочу, – еле слышным голосом отвечаю ему, – а когда же мне играть? Ведь...

– День длинный, милый мой, на всё времени хватит, на всё. Вот если б не шитьё, день мой и вовсе не кончался бы...

Потом, много позднее, я узнал, что тем высоким человеком в шляпе был сам «Агаджан» с тростью и своей неразлучной трубкой.

В полдень из дому приносили поесть или мы с соседями, тоже мастеровыми, готовили что-нибудь вкусное – *хашламу* из барашка или запечённый сыр *чанах*. Усаживались за стол в просторном магазине соседа, ели и попивали вино и холодную воду из кувшина. Я – в обычной своей роли виночерпия, если оставался до обеда. Чаще всего дядя велел мне остаться. Мне тоже наливал вино с водой пополам и говорил:

– Пей, мужчина за обедом имеет право на один-два стакана (слова матери, которые она повторяла мне до конца жизни).

Потом пододвигал мне вкусный *дурум* и приговаривал:

– Пей и ешь, милый мой. Игдырец без вина еду в рот не берёт, испокон веку у него в обычае: долгое время вода у нас была очень плохая. Дед твой без вина за стол не садился. Говорил, что вино благословенно Христом, в нём виноград, от него вреда нет, в нём сила сидит, виноградная сила.

– Я виноград очень люблю, дядя, а вот вино нет...

– Научись, – говорит он и улыбается в усы своей чудесной улыбкой. – Не сейчас, мальчик мой, а когда вырастешь и станешь мужчиной. Какой же игдырец не пьёт? Разве что больной. Пить надо, но в меру, для аппетита, для мужского веселья. В меру – заруби себе на носу, а то обижусь. Водку не пей, она яд, а в вине сила и веселье, без вина какая радость? Кто без вина споёт да спляшет? Скажут: чокнулся... Помнишь того писателя, на свадьбе моего Айро? Который на столе плясал? Это вино его в пляс повело, не сам он. А тебе пока учиться надо, человеком стать. Как тот, в шляпе, учиться надо, милый ты мой...

И так говорил-журчал – что за едой, что за шитьём, и всегда неспешно, в неизменном ритме своего ремесла, которое спешки не терпит.

Но по временам вдруг замирал, уставившись в одну точку, со стаканом или иголкой в руках. Будто что-то или кого-то вспомнил. Или ждал...

– Э, устабаши, пей, о чем задумался? Сто пополам – будет пятьдесят, и думать не надо...

Но устабаши, мой любимый дядя, казалось, не слышит и его не прельщает простота деления ста пополам, с которым даже я могу справиться, даром что в школе ещё не учусь. Ему, устабаши, видно до чисел совсем дела нет... Все цифры давно сперва поделились пополам, потом дробились всё мельче и мельче и наконец превратились в кругленькую цифру, которая может стать числом, только если встанет рядом с какой-либо другой. Даже на часах у него нет этой цифры. И взгляд его прикован к этой незначащей цифре, которая больше ни на что не делится.

Бывало, никто не мешал ему вот так молчать: ждали, пока он сам очнётся. И он встряхивался, с виноватой улыбкой, растерянный, чуточку жалкий... И скорее себе самому, чем другим, говорил:

– Жизнь жестокая штука, как поток: не перегородишь – унесёт... всё как есть унесёт, унесёт...

Я легонько толкал его в коленку, напоминая, что пора вставать, дела у него...

– Да, милый мой, засиделся, пошли... – и, извинившись перед остальными, он вставал и приговаривал:

– Пошли, пошли, сынок, припозднились мы с тобой. Что скажет моя Сатеник! Небось волнуется...

А Сатеник ни полслова не скажет. Она и сейчас сидит молчит, из каждых двух слов одно – твоё святое имя, любимый мой дядя. Для Сатеник ты образец мужчины из всех когда-либо существовавших на земле. Равно как и для меня, дядя. И пока я жив, пока считаю себя человеком, я буду помнить твои слова, зарубил их себе на носу. И если за столом с друзьями я временами и нарушал меру, то не от ненасытности, а из удалства, от задора молодости, которой море по колено. Но твоего неудавшегося ученика нетвёрдо стоящим на ногах, шатающимся никто не видел. А частенько, к изумлению друзей по застолью, я переворачивал стакан кверху дном, чтоб не наливали, помня ту «меру», которую ты навечно мне «зарубил на носу»...

Тысячи людей повидал я на своём жизненном пути, но так и не встретил никого похожего на тебя – такого же ласкового, великодушного. Однако каким бы уникальным ни был тот или иной человек, каким бы «счастливым исключением»

ни являлся, должен же он хотя бы один-единственный раз повториться! Чтобы вера в человека не иссякла, не пошатнулась...

И в один прекрасный день в Ереване, в одном из аккуратных домиков на узкой улочке у «Инженерской» бани, я встретил похожего на тебя человека. Он, как и ты, был уста, но, к сожалению, я поздно встретил его. Он тоже говорил, как ты, так сладко, с одной разницей: он ещё и прекрасно пел. И тоже обращался ко мне с ласковыми словами, опять же с той небольшой разницей, что вместо «Эдик» говорил «Едвард»: «Умереть мне за тебя, лучше друга может быть только друг, заруби себе на носу, Едвард...»

Звали его уста Карапет из Шааба. Он был отцом моего близкого друга Рачика и изредка одаривал нас своим присутствием, деля с нами трапезу. И превращал обычный приём пищи в праздник, в восторг и ликование.

И позднее всю мою жизнь эти две «зарубки» будут всякий раз подтверждать и удостоверяют ту простую и, быть может, грустную истину, что лучшие и самые памятные дни твоей жизни – это те, когда ты садился с друзьями вокруг стола, делил с ними хлеб и вино и наслаждался песней гениального Саята...

Устабаши так и не понял – и времени не хватило, и горе не давало понять, и никто другой не объяснил, – какой такой непростительный грех совершил его Айро, чтобы быть так жестоко распятым? Устабаши не мог простить себе, его сломило, раздавило чувство вины оттого, что он не спас единственного сына...

Он не был как Тер-Месроп, который знал, на что идут молодые орлы – его сыновья, и не помешал им. Сколько раз он, воздевая к небу указательный палец, провозглашал с амвона: «Смерть осознанная есть бессмертие!» И сколько раз навещал своего самого почитаемого прихожанина и, раскинув руки, демонстрировал мощи, в которые превратилось его истерзанное страданием тело, взывая:

– Взгляни на меня и утешься...

\*\*\*

Мать среди «хороших людей» часто вспоминала еще одного человека. Это был ремесленник, мастер на все руки, ювелир Арсен из Салмаста. Игдырцы называли его «хачагёх», но мать была другого мнения.

– Какой там вор! Очень уж бедный был человек, беднее, чем Пьян Аракел, – ни дома, ни семьи, так и жил один. К нам домой иногда приходил, и сколько красивых вещей для нас сработал: чаши, браслеты, серьги. В те окаянные годы всё продали... Э, сынок, золотые руки, но очень уж пил. Вот так работал, трудился не

поднимая головы, потом в один прекрасный день вдруг пропал. Один Бог знает, где его носило, в какой стороне! Потом по Игдыру проносился слух: «хачагох» Арсен вернулся! В фаэтоне, разодетый как господин, с галстуком, в шляпе. Месяц-другой после этого кутил, проматывал всё, что принёс, и опять исчезал...

Но чаще Арсен возвращался больной, без копейки, в лохмотьях, и снова горбился над своим столиком у окна нашего магазина. Бывало, Эдик джан, перед исчезновением приносил мне на хранение золотой браслет или пару колец с ожерельем и говорил: «Знаешь ведь, сестрица Сатеник, какой я вернусь». Почему именно меня выбрал хранителем своих богатств, не знаю, но каждый раз говорил одно и то же: «Знаешь ведь, какой я вернусь. Если не приду, оставь себе, подарок от меня, на память». Господи, как я тряслась над его добром, не знала, как получше спрятать, чтоб не пропало. Хорошо, что он возвращался и забирал. Какой же он вор! Одна нищета! Вот, сынок, до чего пьянство доводит...

Священный ужас, который мать испытывала к пьянству, был отголоском печальной истории её старшего брата Арташеса, его вдобавок подпитывало ежедневное лицезрение Пьян Аракела, а также задиристый, неукротимый нрав игдырцев и кохбцев, вечно устраивавших перепалки и драки на своих свадьбах и застольях. Этот страх жил в ней постоянно. Я не мог даже обидеться, с такой мольбой она смотрела на меня, видя в моей руке стакан...

Мой дядя Арташес возвращался домой после очередной попойки с гарнизонными офицерами, когда начался ливень с градом и неглубокая, с большой ручей, речка Кохбачай вздулась и превратилась в бешеный поток. Нетерпеливый, горячий Арташес не стал дожидаться, пока река успокоится, хотя обычно это длилось недолго. Он погнал в воду свою белую кобылу, которая упиралась, боясь бурливых волн реки. Но Арташес вонзил шпоры в бока белой красавицы, и разъяренный поток мгновенно подхватил и лошадь, и седока и понёс, ударяя о камни. Лошадь кое-как выбралась на берег, а дядя, полумёртвый, кувыркаясь в мутной, холодной воде пополам с градом, ухватился за камень и каким-то чудом исхитрился выстрелить. На звук выстрела подоспели его друзья-офицеры. Синего от холода, переломанного, дядю принесли домой и положили перед дедом.

Говорят, дед Гриш даже не удивился, молча сел рядом, будто ожидал этого.

Дядя так и не оправился...

А мне всю жизнь придётся слушать причитания матери:

– Умереть мне за тебя, я же не говорю – не пей совсем...

Знаю, знаю, что говорить станешь: мол, для аппетита немножко можно. Но ведь те, кто пьёт, делают это вовсе не для аппетита, у них другое...

– Да, Эдик джан, и дядя твой почти ничего не ел...

– Ладно, говорю я, – неси, посмотрим, что ты там сегодня приготовила.

И откупориваю бутылку...

– Э-эх, я тебе проповеди читаю, а ты...

– Давай про устабаши... Про него ты до утра говорить можешь!

– Ну, что сказать... Отдали мы тебя ему, чтоб чему-нибудь выучился, а то будешь как отец...

– Оставь отца в покое. Как знать, для чего он был рождён...

– Для чего такого особенного он был рождён? Вон, занялся торговлей... Да только не его это дело. Ему было нужно что-то другое, и брат мой Аршалуйс так говорил. Нужно было другое, но не привелось... Помню, какие интересные письма он писал в Тбилиси, а почерк какой был – загляденье! И ведь учился-то мало – каких-нибудь два или три класса приходской школы. Говорить не мастак, а писать начнёт – ну совсем другой человек. С примерами из книг, с «цитатами»... Нет, было в нём что-то такое... Да он и сейчас этим занимается, ему что! – пишет и пишет...

Я поражен. Пишет? Что пишет? Я просил его написать, что помнит про Игдыр, даже «гонорар» пообещал...

– Ну, «Самвел» пишет...

– Какой еще «Самвел», мать?

– Ну, этого, как его... хороший такой писатель... Раффи!

– Хочешь сказать – переписывает?

– Почём я знаю, пишет себе и пишет, бумагу переводит...

Боже милостивый, а я всё гадал, на что ему столько бумаги!

– Одно хорошо, Эдик джан, хоть не шляется где попало...

Да-а... Понятно теперь, почему друзья больше не говорят: «Отца твоего видели там-то...»... причем одновременно в Пушкинском скверике и на площади... И это при его жалобах на больные ноги! Вернее, он всегда немного мёрз и потому, по старой игдырской привычке, носил высокие сапоги, заправляя в них брюки, как великий Лев Толстой, и в день по 20–30 километров этими «больными» ногами накручивал, не меньше. А теперь дома сидит, писателем заделался... Непостижимо, за пределами разумного... И ведь не от безделья, ему всегда было чем заняться. Бесчисленное множество людей звали его «дядя Амаяк», где бы мы

ни жили – в *Конде или в Шилачи*. Всем он приходил на помощь, дети тащили его в школу, в техникум – на собрания вместо родителей. Свадьбы и дни рождения вообще особая статья. Усаживали своего «дядю Амаяка» во главе стола, и отец толкал застольную речь... три слова за пять минут, писатель... Ну я ему покажу, как бумагу портить, будто без него мало бумагомарак!..

– Оставь, Эдик джан, пусть пишет, кому он мешает? Да и дома сидит, на улице не мёрзнет. Не говори ему ничего, умереть мне за тебя! А то обижусь...

Да, такая была у меня мать, чистая душа, да будет ей пухом земля... Ей можно было критиковать, упрекать отца. Но стоило нам сказать что-нибудь в том же духе, она тут же менялась в лице, хмурилась. И неважно, что ты родной сын этого самого Амаяка, что содержишь, «финансируешь» их обоих, но критиковать... нет, не имеешь права!

– Да мне что, пусть переписывает, но было бы лучше, если б про Игдыр написал. И вроде я его уговорил, и он, кажется, воодушевился... Ладно, налей мне, и не забудь, ты про Мамикона хотела рассказать...

– Сегодня у меня борщ, твои ели, и Мгер и Арам, им понравилось. Или хочешь, вчерашнюю долму доешь?

– Борщ под вино не пойдет, мать, лучше пусть сутки постоит, говорят, на другой день вкуснее. Неси долму.

– Да, Эдик джан. Мамикона я плохо помню, его, кажется, после нашего Айро взяли, с Филипосом, тихо, ночью... и всё, как в воду канули – с тех пор ни весточки. Жалко-то как его, столько у него ранений!..

Да, жалко... Какой был парень! Настоящий игдырец, простой, открытый, с добрым сердцем, и жизнь свою не жалел. Хоть бы жену молодую пожалел, только-только женился...

– Да, Эдик джан, Мамикон ни на кого из братьев не был похож, и на родственников тоже. Он другой был, не такой учёный, как наш Айро, но любил друзей, знал что такое гордость и честь. Всем помогал. В те лихие годы отцу твоему очень помог. И проклятое это оружие вечно на нём висело. Где только он не воевал... Где война идёт, туда и он... Сколько раз едва живого привозили, левая рука совсем не поднималась, а он твердил: «Мне одной правой хватит...»

Ну, что сказать, если сам католикос со всем своим причтом, с *варжапетами*, весь в белом, отправился в Сардарapat. А Мамикон отсиживался бы дома?

– Я в этом ничего не смыслю, но совсем ни за что человека взяли. Сказали, был когда-то маузеристом – и всё...

– Ладно, – говорю я матери, – давай о другом вспомним. Не могу я про маузеристов...

– Да ведь жалко мне их. Все молодые, ещё бессемейные или недавно женатые... Бедный твой дядя куда только не обращался, в Россию поехал. А Мамикона и Филипоса... говорят, прямо здесь, в тюрьме...

Еле сдерживаюсь, чтоб не выругаться. Эти выродки ссылки и то пожалели для наших парней...

\*\*\*

Пусть хоть тысяча лет пройдёт, люди не перестанут делиться на плохих и хороших... Быть плохим человеком, наверное, труднее, а делать добро людям не такой уж и труд, даже плохой человек может иногда творить добро, если захочет. Мамикон, видимо, на иное не был способен, умел делать только добро. Много друзей было у Мамикона, и он для них ничего бы не пожалел, даже, наверное, жизни. Самопожертвование не где-нибудь возникло, а меж хорошими людьми. В конце концов, добро и зло не перестанут сводить счёты, и не будет конца войнам и кровавой резне, покуда зло в мире растёт и множится...

Плохого человека безошибочно чувствует ребенок, тогда как взрослый против него бессилён и сплошь и рядом ошибается. Дети в нашем роду мало сказать любили Мамикона. Все мы пускались наперегонки, чтобы выполнить его просьбу: принести воды, сигареты или спички. А он не появлялся в нашем дворе без разных вкусных гостинцев, которыми набивал карманы. Если уж совсем ничего принести не мог, доставал из кармана горсть мелочи, которую наменял специально, и оделял всех. И мы бежали покупать козинах или играть в фрик – колесо удачи. Но сперва надо было выполнить обязательное условие: каждый из нас должен был спеть песенку или ещё как-нибудь повеселить всех: кто-то мяукал, кукарекал или блял ягненком. А я мог только подражать моей Занги.

Все наши невестки и дзало тоже были влюблены в Мамикона и, завидев его, не скрывали радостной улыбки. Без необходимости просили его о каком-нибудь пустяке, лишь бы потом говорить всем: Мамикон принес, Мамикон сделал, Мамикон подарил...

Мы даже знали, когда он ложится поспать после обеда и без понукания взрослых удалялись в другой конец двора, чтобы ему не мешать. Если Мамикон в фаэтоне приезжал домой с друзьями, фаэтонщик был обязан прокатить всех детей пару раз вокруг Гёй-мечети. Кто мог хотя бы косо взглянуть на игдырских

девушек! Мамикон возьмёт за ухо и, сжав тонкие губы, посулит: «Уши оторву! Чтоб даже пыли твоей в наших краях больше не видел, слышишь?»

Особого образования Мамикон не имел – два-три класса церковно-приходской школы, как было принято в Игдыре. В церковной школе мало кто выдерживал больше двух лет, и даже этого игдырцам вполне хватало в их нехитрой жизни.

У Мамикона был названный брат Филипос (будто семерых кровных братьев ему было мало!), кажется из Шатаха, в одних годах с ним. Такой же высокий, жилистый, с длинными и сильными руками. Они жили вместе, но у Филипоса родных не было, хотя когда-то он их имел, и много.

Днём он был занят: подряжался работать в чьём-нибудь саду, а вот по ночам... Ночами Филипос исчезал. Никто не интересовался, где он и чем занят ночью, а Мамикон запрещал спрашивать об этом. На Филипоса наши невестки смотрели как на родственника и уважали очень. Молчаливый, вечно хмурый, чёрные-пречёрные глаза часто застывали не моргая, глядя в одну точку... и он бледнел, бледнел... Все кругом переходили на шёпот, старались не издавать громких звуков. От шума он вздрагивал, будто выныривал из сна, и, ни к кому конкретно не обращаясь, спрашивал: «Кто это был? Кто?!» Просил воды и, жадно глотая её белыми, дрожащими губами, качал головой: «Жажда... жажда мучает...» Какая жажда томила его обугленную душу, знал, наверное, только Мамикон.

Перед рассветом Филипос возвращался домой с ожесточённым, мрачным лицом, устремлял невидящий взгляд в угол, где стояла его кровать, прямо в одежде падал на неё и засыпал. Дверь тихонько затворяли и детям строго наказывали не шуметь...

Так никто никогда и не узнал, и Мамикон не проговорился, чем утолял свою ненасытную жажду его названный брат. И утолил ли? Но в одну из ночей взяли и Мамикона, и Филипоса вместе с ним.

Мамикон мог избежать ожидавшей его напасти, была у него возможность уехать... в Америку. Младший брат Мкртич женился на дочери очень богатого ванского торговца и уезжал жить за рубеж.

– Не один ведь поедешь, с братом, дорогой, – уговаривали остальные братья, в особенности Ованес, который все расходы и устройство жизни в Америке брал на себя: состоятельный был и для Мамикона ничего не жалел. И довели Мамикона до Батума, до порта, и всё, как будто, было уже на мази... И вот это самое «как будто» Мамикон превратил в «никогда».

Он вложил в руку Ованесу билет на корабль, сошёл на берег, и дальнейший разговор Мамикона и Ованеса становился всё грустнее, бессмысленней и непонятнее... Хотя что тут непонятного? Наверное, человеку от судьбы не убежать, ничто ему не поможет...

– Мамикон, Мамик джан, опомнись, подумай, что ты делаешь...

– А что я делаю?

– Ведь скольких взяли уже из твоих друзей... Не пожалеют ни тебя, ни Айро... Подумай, брат. Ну хочешь, на колени перед тобой встану?

– Ну и пусть уводят, если так... За что? Если я что плохое сделал, пусть забирают! Но чтобы я американцем стал? Не-ет, этому не бывать!

– Ты же там не один, с братом будешь, ай Мамикон!

– Э нет, двух игдырцев для одной Америки многовато будет... Хватит ей и одного! Нет, Ованес джан, какой из меня американец! Не бывать тому... А Игдыр... Как знать...

– Игдыр, Масис... Вот заберут тебя в снега Масиса, узнаешь, где он, да поздно будет, Мамик джан, – тогда вспомнишь этот день, – умолял-уговаривал старший брат, чуя неладное. А Мамикон будто нарочно чертей дранил, из Батума – напрямик в Ереван, словно наперекор всему надеялся, что, может, не возьмут: «Ну что я сделал, а? Пусть разденут и на тело моё посмотрят: живого места нет!»

Тем, кто вышел живым из тех жестоких, безнадёжных битв, планки ранений не раздавали, чтобы знать, сколько ран у кого на теле. И Мамикона о том не спросили, да и только хуже, если б узнали, – при наличии подобных «вещественных» доказательств арест упрощался до предела. А если увозили не слишком далеко, легче было привезти одежду для мучившихся ожиданием «плакальщиков». И ничего, что хозяин одежды отсутствовал, в силу этого горе делалось не совсем «вещественным», почти поэтическим, и случалось, даже холмик сооружали, что-то вроде могилки, «похоронив» одежду...

Всегда можно найти себе утешение, если не быть чересчур требовательным...

\*\*\*

– Чего ты только не делал, чтобы не учиться! Впадал в истерику при одном упоминании о школе. Мы все просто не знали, что и делать... Ты с утра до вечера мог играть во дворе – домой силком не затащишь, и кушать не просил, и спал чуть ли не в собачьей конуре, которую сам смастерил. Твоё – это Зангу, огороды азеров да камнеметательные войны с такими же шалопаями в Конде и Зарабихане...

– Э, мать, ребёнок должен играть, бегать, водить лошадей на речку, купать их в Зангу и плавать, лазить на тутовые деревья и бегать так быстро, чтоб его не догнали. Если ребёнок не играет, значит заболел, понимаешь?

– Да ведь у тебя и игры были не как у других! Ох, чего я с тобой натерпелась!.. Другие дети тоже играли, а ты ну просто как дикарь, совсем шальной... Лестницы наши, без перил, от нетерпения в три прыжка одолевал. Счёта нет, сколько раз падал, руки-ноги подворачивал... Был там один старый турок, знахарь, слава Богу, всё тебе на место вправлял...

А как ты упал с соседского балкона, со второго этажа! Перила сломались, все дети остались на своих местах, один ты выпал. Боже мой, Боже! Внизу, под балконом, стояли большие котлы для варки мыла. Один котёл был перевернут кверху дном, а другой, рядом с ним, стоял без крышки, открытый. На сантиметр левее – и ты раскроил бы голову пополам! Ты на перевёрнутый котёл лицом упал, нос, губы – всё в кровь разбил, домой принесли: лицо – как отбивная... Я гляжу, кровяца хлещет из головы. У меня ноги подкосились, и больше я ничего не помню... Мамикон, царство ему небесное, подхватился и в хлев, скорей козлёнка резать! Тот знахарь-турок обвязал тебе лицо парной печенкой, только в нос соломинки засунул, чтобы ты дышать мог... До сих пор удивляюсь, как всё зажило, и следа не осталось, а ведь сплошная рана была, а не лицо...

Такие у тебя были дикие игры, и все они тебе же боком выходили. Однажды с какой-то гильзой играл, так целый соседский склад с тюками хлопка весь выгорел. А под хлопком оружие было спрятано, так что целую неделю там что-то взрывалось и стреляло, погасить не могли. Узнали, что твоя затея, бедного отца в милицию потащили, якобы это он тебя подбил склад запалить. Твои дядья едва уговорили, мол, ребёнок, что с него взять... Ребёнок! Оторви да брось – вот ты кто! А драки каждый божий день во дворе азербайджанской школы! Боже, и как ты только жив остался после всех твоих проказ! Кто другой на твоём месте давно бы с двумя костылями ходил... Если бы ты оставался у дяди... а то по улицам гонял, всех бездомных собак округи в наш двор перетаскал, каждой местечко под стеной устроил, кормил их, поил. По ночам такой стоял скулёж да вой, что ни мы, ни соседи спать не могли...

– А что было делать, оставить их подыхать с голоду? У людей сердца нет, щенков на улицу выбрасывали...

– Так ведь людям самим есть было нечего, без куска хлеба сидели! Забыл небось, что мы ели? Один хлеб из просяной муки с отрубями... Вай, что за годы мы

пережили! Утром, ещё не проспавшись, не умывшись, соседи бежали к отцу жаловаться...

Как же, помню. Соседки, в свою очередь, шли к матери, ведя за собой своих сопливых отпрысков:

– Гляди, Сатеник, что он с нашими детьми сделал... А дети стоят, вытянув тонкие шеи, размазывая сопли...

Мать вытаскивала меня из угла и ставила перед ними, цепко держа за худые плечи:

– Вот, смотрите, если мой лучше ваших, добавьте, сколько надо...

Соседки с явным удовольствием лицезрели синяки на моей физиономии и с подзатыльниками вводили своих сопляков, наказывая им больше со мной не водиться. А руки матери мгновенно взлетали от моих плеч к ушам... Ах, эти бедные уши, как они мне мешали! Правда, детские уши податливы и упруги, сколько ни крути – им всё нипочём, но мои от каждодневного «употребления» совсем задубели...

Нет, ребёнком быть несладко, – видимо, вслух подумал я, и мать тут же продолжила:

– Ну, Эдик джан, ты был не ребёнок, а божье наказание. Ничего на тебя не действовало, ни шлепки, ни уговоры. Сам говоришь, про Игдыр расскажи. А мы сюда приехали, и что? Опять вокруг Игдыр, опять одной семьёй живём, и турки повсюду, и хозяин турок, Хаджи этот... Боже мой, как их много было, расплодились! Были у тебя друзья, Кяримовы сыновья Адиль и Хусеин, – тоже натерпелись от тебя, но не отставали: было в тебе что-то, отчего дети так и липли к тебе. Ихняя биби, Кярима сестра, по сто раз в день пускалась в погоню за тобой, чтобы отхлестать своей белой паранджой, осыпая распоследними проклятьями, да только кто тебя мог догнать... И всё равно они хвостом ходили за тобой, как привязанные.

Два дома нашего хозяина Хаджи стояли друг против друга, посередине двор, каменистый, без зелени и деревьев, привычных для турок, особенно пришедших из Ирана. Наш хозяин был местный турок, и у него был только «авазан» – бассейн, небольшое каменное корыто. Вода сюда поступала из большого ручья в Конде, на пути вниз проходя через все дворы. Наш двор был последним, дальше уже пустырь – тоже владение Хаджи, наверное, он и там собирался дом строить. Но пока этот пустырь был постоянным местом моих игр и там жили мои собаки.

За пустырем был огороженный стеной чей-то огромный двор, посреди которого несколько строений, видимо, предназначенных для школы, но там располагался сначала приют, а затем «дом скаутов» парона Оника, а после скаутов там разместили турецкую школу.

Нашим «бассейном» пользовались турки, живущие в одном с нами дворе, женщины семейства Кярим–*дадаша* и семья сына Хаджи, Гасана, равно как и все, кто жил в домах выше нас, до самого Конда. Во всех бассейнах происходил один и тот же ритуал: женщины, присев на корточки вокруг, мыли посуду, зелень, фрукты, руки, ноги... Кярим-дадаш, придя с работы, или рано утром, направляясь в туалет, брал для «омовения» воду из бассейна, а после туалета там же тщательно умывался, закатав рукава. Ничего не скажешь, на удивление чистоplotны были наши соседи!.. Мы этим бассейном, как «неверные», не пользовались. Но я, чтобы разозлить биби, старшую сестру Кярим-дадаша, случалось, подбрасывал в бассейн лягушек, и Биби начинала кричать, и орала до тех пор, пока Кярим избавлялся от лягушек... Однажды, когда воду на время перекрыли, я набрал мешочек улиток и высыпал их в бассейн. Вот биби бесилась! Точно так же кран в конце улицы чистили, если к нему прикасался или брал из него воду «неверный» армянин, – очень уж были чистоplotные...

В одной половине дома Хаджи жили мы, а во второй – Велибек, Вали, с новой женой, Танкагин, Танго из Апарана, и двумя её уже взрослыми сыновьями. К коридору примыкала отдельная комната, где жил ванеци Дикран с матерью Маре, а внизу, на первом этаже, тоже несколько игдырских семей: Шекоенц Аршо со своей красавицей женой Овсанной, рядом – Хоро-дадо со своей третьей дочерью Шушаник, для которой, по причине её хромоты, так и не нашлось жениха. По другую сторону от нас жил Айвазенц Абисогом с братом Арутом (из родственников нам Айвазянов), и так только в нашем доме – пять игдырских семейств. В доме напротив жили Мехак и недавно женившийся Мамикон, в другой половине – старший сын Лысого Кяспара, Амаяк, старший брат нашего зятя Амазаспа со своей женой, великолепной Арусяк, сестрой того же Шекоенц Аршо. И Аршо, и Арусяк были рыжие, пламенно-рыжие, огненно-красные, и все их дети были такие же рыженькие. Вот так и собрались в одном дворе восемь семей родственников, единственной «чужачкой» была Хоро-дадо. Так что во дворе у нас был самый что ни на есть Игдыр. Все были «при деле» потихоньку разворачивались, поскольку шёл НЭП, кто умел вертеться, у того дела шли неплохо.

Шекоенц Аршо завёл пекарню, продавал лаваш (лаваш! когда у нас дома черный хлеб из отрубей сходил за пирожное). И если сам Аршо был малость скуповат, то жена его, Овсанна-дзало, полная его противоположность, время от времени прибегала к нам с лавашем:

– Сестричка Сатеник, бери, принесу еще...

Вали торговал говядиной, Амаяк, сын Кяспара, завел магазин и торговал зерном, ну, а наши Айвазяны, «Мсенк»-Исабекяны торговали мясом и вообще чем придётся – «широким ассортиментом» товаров, и даже Хоро-дадо дело завела – продавала на площади калёный горох – лаблабу, свежесваренный картофель, красную свёклу, и всё это с жаровни на углях, чтоб брали горяченьким. И возвращалась всегда с пустым казаном.

Единственным человеком «без дела» был мой отец, чей «звездный час» ещё не настал. Он никак не мог найти постоянное занятие, мой милый недотёпа отец. И только в последние годы НЭПа, когда государство наконец решилось открыть кооперативные магазины, в одном таком магазине нашлось дело и для моего отца. Он стал продавцом в гастрономе, так как имел опыт работы в «торговом доме», разбирался в мясе и копчёностях, в икре и рыбе, а эти магазины лопались от обилия продуктов: костромское масло, икра всех видов – и паюсная, и керченская, и зернистая – в больших белых бочках, бесчисленные сорта сыра в несметных количествах. Наступило сказочное изобилие: белый хлеб, булки, гата, коньяк и разные вина завода уже с названием «Арарат»... О, как мы объедались! После того голода и воздержания – такая роскошь! Мудрым человеком был создатель НЭПа – этих трёх волшебных букв. Жалко, что это чудо быстро кончилось...

Первые несколько лет после исхода мы очень бедствовали, не имели никаких источников дохода. Даже «торговый талант» моего отца не шёл впрок. «Игдырский стиль» его торговли здесь не годился. Он попробовал торговать одеждой, которую присылали из Америки тюками, наверное, для нищих переселенцев, а расплодившиеся как многочисленные «офисы», забыв про совесть, продавали каждый тюк за хорошие деньги и гребли золото лопатой. Одежная ярмарка кишмя кишела продавцами и покупателями этой одежды. Отец тоже купил два тюка, и оба оказались набиты никчёмным тряпьем. Как сказал ванеци Дикран: «Тюк – что неразрезанный арбуз, кому как повезёт...» Как и следовало ожидать, моему отцу не повезло. Из наших тюков вывалились уродливые наряды, какие в Америке носили, наверное, в прошлом веке. А уж

обувь!.. Как на удивление, все туфли были беспарные, с невероятно острыми носами, на высоченных каблуках. Кто стал бы покупать такую обувь и такую одежду? Я устал ходить босиком, потому насильно втиснул ноги в пару штиблет, носки которых смотрели в разные стороны. Однако после двух дней непрерывных насмешек снова влез в свои старые башмаки с резиновыми подошвами, вырезанными из автомобильной камеры и не понимал, почему хоть второй тюк не оказался более содержательным... Неужели оба должны были быть такими?..

Отец попробовал работать возчиком. Одного вола купил ему дядя Аветис, другого приобрёл он сам. Но даже денег, потраченных на их корм, не вернул, где там о доходах говорить... Наконец он решил обратиться к нашим состоятельным, даже богатым родственникам, которые, кстати, не отказывались помочь (тогда ещё соблюдался неписанный закон – сегодня ты поддержишь родича, завтра он тебе подсобит. Перестанет действовать этот закон – и люди одной крови станут чужими, понятие «родственник» исчезнет, близкий человек станет обычным чужаком, а чужаки, как бы много их ни было, нацией не станут). Не отказывались, помогали, помнили, наверное, добро, которое Амаяк в своё время делал для них. В своё время – то есть в Игдыре.

Ох и плохо нам жилось!..

Спасла нас опять земля. Сорок–пятьдесят семей игдырцев получили землю в необжитом районе, который называется сейчас «Новый Армавир». Он тоже был – сплошные колючки и солончаки. Неподальёку от развалин древней Армавирской крепости, рядом с селом Тападиби.

Долгая была история. Пару лет мы продержались вместе с дядей Аветисом, чьё портновское искусство уже не приносило прежнего дохода. А потом у нас появился хлеб – настоящий белый лаваш, с пузырями и пупырышками, испечённый моей матерью. И не только лаваш. У нас был большой огород с бахчой, где мы посеяли и посадили всё, что растёт, начиная с фасоли, гороха и бамии до дынь и арбузов.

Дядя Аветис, помимо портновского дела, знал язык земли, Амаяк тоже вспомнил, что он сын Исабека, и даже я, как оказалось, на что-то гожусь. Но прежде чем засеять и обихаживать эту землю, надо было очистить её от камней и колючек, гигантских солонцов и колючей поросли, причём не раз и не два. А под ногами кишели змеи и скорпионы, не говоря уже о полчищах комаров, особенно кровожадных к вечеру. Ранним утром, «обманув желудки» скудной стряпнёй

Вардуи-дзало, дядя и отец с киркой и мотыгой отправлялись корчевать колючки и солончаковые островки, а мы с Марго и Артаваздом – внуками дяди, таскали мелкие камни и щебень в одну сторону, выданный сухостой – в другую, поближе к стенам строящегося дома. Но и радости нам, детям, тоже перепадали. Днём мы бегали купаться на канал, а по вечерам устраивали «фейерверки» – дымные костры из колючих веток, что было единственным спасением от мошкары. И опять, как в Игдыре, мы пили воду из Араза, и не было на нас господина Еприкяна, чтобы удивляться нашей мутной питьевой воде и нашей предприимчивости и изобретательности. А когда созрели первые арбузы на баштанах, нашему счастью просто не было предела! И завтрак, и ужин, и воду, и чай нам заменял арбуз с хлебом и сыром. Одним словом, не так уж легко давался нам наш лаваш. И это было только начало. Землю надо было ещё перекопать, взрыхлить, засеять. А большинство игдырцев, и мы в том числе, не имели ни тяглогового скота, ни плуга, ни семян. А вот тут нам надо низко, до земли, поклониться зажиточным курдукулинским крестьянам, и, прежде всего, Грикору-аперу.

Большим и богатым селом было Курдукули (ныне посёлок городского типа Октемберян), не знавшее ни выселений, ни других катаклизмов. А там, где армянин надеялся не на «божью помощь», а на себя самого, он жил в изобилии. В 20-е годы в каждом селе было несколько хороших домов, в Курдукули это был дом Грикор-апера. Он был почтенный, патриархального склада человек, с честью и совестью. Большая семья – пятеро-шестеро сыновей, дочери и невестки, дети и внуки – с раннего утра, с первой звезды копошилась в поле, в саду, на баштане. И как муравьи, зернышко к зернышку, горсточка к горсточке, они построили свой дом – полную чашу. И это он, Грикор-апер, вспахал своим плугом и засеял своими же семенами наши несколько наделов, оставив нам только полив и уход. И зерно на своем гумне обмолотил, даже ночью не отдыхал, и эти десять дней мы жили у них и ели за его щедрым семейным столом.

Пусть земля ему будет пухом, Грикор-аперу, мешками и чувалами повезли мы на его подводах пшеницу в Ереван, и у нас был свой хлеб! Надо было видеть радость моей матери, смешанную со слезами. В уплату за все это Грикор-апер вернул себе только семена. И как хорошо, что уже не было людей в кожанках и наши мешки с пшеницей так и остались в коридоре, на своем месте...

Но кроме хлеба для обеда нужно было ещё кое-что. Забота о мясе была поручена мне.

Раз в два или три дня я отправлялся в магазин «мясных королей» – сыновей «безумца Эво», ведь для игдырца обед без мяса не обед. А при наличии главного ингредиента моей изобретательной матери было не слишком трудно устроить всё остальное.

Я, наивное дитя, шёл к ним в счастливой беззаботности ребёнка, не ощущая всей гнусности собственной миссии, и торчал перед их магазином, пока они меня не заметят. Амазасп, Гегам, Мамикон, Мехак по очереди стояли за прилавком. Издали я высматривал, кто в этот день торгует и кто взвешивает. И если на весах стоял Гегам, то я прогуливался по грязной улице, кишасей жирными мухами, выжидая, когда Мехак или Мамикон хотя бы войдут в магазин. Но случалось, что их не было поблизости, и я нехотя входил, пристраивался поближе к дверям магазина и ждал. Меня, конечно, в упор не видели, даже не смотрели в мою сторону, пока не отпустят «хороших клиентов». Выпроводив их, Гегам вдруг «замечал» меня и, выпучив свои коровьи глаза, цедил сквозь зубы:

– Что, опять явился?

И швырял мясные ошмётки или кусок козлятины из «довесков» на весы (это чтоб запомнить, сколько дал). Заворачивая мясо в обёрточную бумагу, он цедил сквозь зубы: «Хотя бы бумагу с собой приноси!»

Дома, едва взглянув на мясо, мать и все домашние безошибочно определяли руку Гегаму.

Помнишь, мать?

– Как не помнить, разве из такого куска можно было обед сварить? Приходилось что-нибудь придумывать. Если б ты знал, как твой отец помогал в Игдыре этому бесстыднику, сколько добра ему сделал... Чтоб ослепли эти его выпученные глаза! Забыл, как на коленях умолял отца: «Амо джан, я в солдатах пропаду! Помоги!» И Амо помог, освободил, а то пропал бы Гегам бог знает где и как...

Другое дело, когда за прилавком стоял Мехак. Он был близорук, и мне нужно было подойти поближе, чтобы он меня увидел. А так как для меня и моего старшего брата в его памяти закрепилось одно имя на двоих, то он меня так и подзывал:

– Грайр, никак ты? – и, не взвешивая, заворачивал отборный кусок и совал мне в руки. А уж если на весах стоял Мамикон, я не ходил за мясом целую неделю.

Визиты за мясом собственно проблемой его добычи не ограничивались. Наверное, нет более постыдного и унижительного состояния, чем бедность и

нищета, особенно для человека, который знал изобилие, достойную жизнь, а теперь вынужден просить. Чтобы игдырец просил!.. И потому эту миссию поручали мне, полагая, что у ребёнка самолюбия, может, и нет. Я и в самом деле не отдавал себе отчёта, что поступаю дурно или не совсем честно. Случалось, посылали меня в магазин персидского турка Кярим-дадаша, живущего в нашем дворе. В его магазине было всё, что нужно для дома. Туда я ходил с его сыном Адилем, моим другом по каждодневным детским играм. Кярим был удивительно добрый турок (никакого сравнения с нашим «хазеином» Хаджи, совершенным чудовищем). Каждый раз я уходил домой то с пачкой иголок и катушкой ниток, то с парой кусков мыла (а мыло было на вес золота!), а то и с пакетиком сухофруктов, чаем и другими полезными в домашнем хозяйстве вещами. Возможно, сам Кярим и «подсказывал» отцу, чтобы он послал меня в магазин, поскольку все эти вещи, аккуратно завёрнутые и перевязанные, уже поджидали меня. Очень добрым человеком был дадаш Кярим, но ещё добрее была его замечательная жена Бюльбюль, которая сияла такой красотой, что, завидев её, я не по-детски краснел и опускал голову от необъяснимого восторга. Она замечала это и беззлобно посмеивалась надо мной, но, я думаю, и довольна была тем, что даже на желторотого мальчика так действует её несравненная красота...

Эх, мать, разве можно было подвергать меня таким испытаниям? Не жалко тебе было меня?

– Ох, умереть мне за тебя, разве я посылала тебя? Это всё твой отец, забыл, что ли? Я и не предполагала, что ты эти вещи даром берёшь, думала, отец потом за всё расплачивается. Да и отец твой в своё время, когда у нас всего было вдоволь, никому ни разу не отказал, не считая, отдавал всё, в чём люди нуждались. И думал, наверное, что сейчас их очередь ему помогать. Потому и твержу: человек должен владеть каким-нибудь ремеслом. Ведь как тяжко мы жили, Боже, куда же ты смотрел? А ты не помнишь, когда твой отец в кооперативе стал работать и мы чуть получше жить стали, ведь опять все к нему потянулись!

– Почему не помню? Его доброта тоже боком мне выходила: сколько раз я покрывал его «недостачи», пока не уговорил бросить этот кооператив. Он путал кооперативный магазин со своим игдырским, а дяди Аршалуйса уже не было, чтобы выправить счета...

– Ладно, сынок, не надо про плохое вспоминать, твой отец был хороший человек. На свой лад хороший, не Аветис, конечно...

Так и жили игдырцы в Ереване, устав от ожидания вернуться к тебе, но ещё не теряя надежды. Да, да, не оставляли надежду, верили каждый по-своему. И богатый, и бедный, ремесленный человек и чиновник при должности, часть в Ереване, другая – в ближних деревнях, земледельцы и садоводы... Но что-то было уже «не то», чего-то главного, очень важного уже не стало. Мы ещё жили довольно сносно, так как отец перевез бóльшую часть товара из своего игдырского магазина в Ереван ещё до переселения. Довольно много разного товара, который он потихоньку раздавал в магазины, и мы как-то перебивались. Макароны, муку, масло, рис – всё съестное оставили для собственного пропитания. Мать с ювелирной точностью экономно расходовала эти припасы, покуда дела отца шли безнадежно плохо и неизвестно было, когда жизнь станет надёжнее. Словом, ничто не предвещало, что мы так скоро лишимся средств существования. Но...

Однажды утром, когда мы кончали завтракать, в наш двор вошли несколько мужчин, двое из них в кожаных куртках и кепках, натянутых по самые глаза: по всему было видно, что это государственные люди. Несколько минут они глазами обшаривали дом, и мы в страхе прилипли к оконным стеклам и с замиранием сердца гадали, зачем они явились и откуда взялся «хазеин» Хаджи, с которым они стали о чём-то толковать, поглядывая на наш балкон, а он указывал своей грязной, крашеной хной бородёнкой в нашу сторону. Они поднялись к нам, очень вежливо поздоровались. Мать тяжело опустилась на тахту – наверное ноги не слушались...

Один из этих, «в коже», с маузером на боку, повернулся к отцу, у которого заметно дрожали колени, но он почему-то не сел на тахту. Мужчина с маузером спросил у отца фамилию и заявил:

– Гражданин Исабекян, а теперь покажите, какие излишки товаров у вас имеются, – и с этими словами протянул отцу какую-то бумагу, видимо, удостоверяющую их право задавать этот вопрос.

Отец растерянно развёл руками и запинаясь произнёс:

– Что вы, какие излишки, кое-что питательное (и как он только придумал это слово «питательное»!) для этих детей берёг, – и повел рукой в нашу сторону.

– Показывай, показывай, неси, посмотрим...

Отец стоял, как пригвождённый, не мог двинуться с места и, наверное, упал бы, если бы шевельнулся.

– Ну, если не можешь, мы поможем, – мужчина подмигнул остальным, а те только того и ждали. Они перерыли весь дом, выволакивая из-под кроватей,

выгрывая из шкафов, притаскивая из прихожей всё что было, и сложили все продукты на балконе. Хаджи стоял внизу и почесывал свою красную бороденку, испуганные соседи толпились во дворе... Амаяк побледнел, губы стали совсем белые, кадык ходил ходуном – наверное, во рту пересохло. О, какой ужасный вид был у моего бедного отца! Потом подбородок перестал его слушаться, лоб и всё лицо сморщилось, брови сложились углом в безнадежной мольбе, а из глаз потекли слёзы. Слезинок не было, но глаза плакали... Точно так, как было в Игдыре, когда он со мной ненадолго «вернулся» туда. В голове у него, наверное, образовалась пустота, бездонная пропасть, в которой ещё жила, билась одна-единственная мысль: что? что делать? что теперь будет? Он поднимал и опускал руки, как готовый взлететь аист, и беззвучно открывал и закрывал рот, как вытасченная из воды рыба. Потом он как будто пришел в себя и кинулся спасать «питательные» продукты – вдруг вцепился в ящик с макаронами, потом в мешок риса, но уносящие легко отбирали товар и отталкивали в сторону его слабые, нехваткие руки. После этого человек в кожаной куртке сел за стол, вытащил из кармана карандаш и бумагу, «запротоколировал» всё, что они собрали, и протянул эту бумагу отцу на подпись. Однако, увидев, что отец не может шевельнуть рукой, подвинул к нему бумагу сам и сказал:

– Здесь, гражданин Исабекян, зафиксировано всё, что у вас «конфисковали». С этим списком, если пожелаете, можете жаловаться, куда хотите.

И ушли. Вот так и «запротоколировали» всё «питательное», что было у Амаяка. О, эти чёрные кожанки! До сих меня передёргивает от омерзения, когда вспоминаю их...

День был в самом разгаре, осенний солнечный день, зима на носу... Мёртвая тишина установилась в доме. Как будто среди нас был покойник. Мать встала, взяла веник и стала подметать зёрнышки риса, которые высыпались на пол, и вермишелинки, и макароники... В этот день мы за стол не сели. Гражданин Исабекян никуда не пошёл жаловаться, он понятия не имел, куда и кому идти жаловаться. И по какому праву. Вот тот человек с маузером имел право и бумажку с печатью, которую никто даже не попытался прочесть. Может, там было написано, что можно что-то из пропитания оставить семье, состоящей из шести душ? Хотя бы остатки муки в мешке, или коробку макарон? Вряд ли там могло быть сказано, что нельзя оставить горсть риса четверым детям разного возраста ...

Жестокие, неумолимые были времена, а ведь как-то жили те, кто смог к ним приспособиться...

Это непредвиденное событие в жизни нашей семьи, когда мы лишились нашего «питательного» имущества, могло бы показаться удивительным, если бы касалось только нас. Потом мы узнали, что не только в нашем доме «чёрные куртки» оставили свои «протоколы». Да-а-а, самые удивительные события уже не так удивляют, когда удивляющихся оказывается много...

Больше других происшедшее должно было удивить моего отца, который, тем не менее, воспринял неожиданное изменение «социального статуса» нашей семьи с философским безразличием, достойным Диогена. Хотя мы за каких-нибудь три часа перескочили из малоимущих в разряд неимущих. Сбылись провидческие слова моей матери о том, что человеку, не владеющему ремеслом, следует по крайней мере быть философом. И отец мой Амаяк зажил как философ, ну и мы вместе с ним. С равнодушием бессилия, которое гораздо прочнее, чем сопротивление жизненным обстоятельствам. Беспомощность имеет свою силу и философскую формулу: адаптируйся и живи в этих жестоких чрезвычайных условиях. Что могло и не быть для нас неизбежной «исторической необходимостью», если бы мой отец не родился философом, а был чуточку осмотрительнее и самую малость хитрее и рассовал свои «питательные» запасы по домам родственников, сестёр, да хотя бы той же Хоро-дадо, что жила этажом ниже и по бедности не привлекала ничьего внимания. И что за беда, если бы Хоро-дадо пару раз позаимствовала бы горсть риса и сварила похлебку для своей оставшейся в девках Шушаник? «Неумеха», как любила говорить мать, не подумал, не предвидел... Жил наперекор сократовой формуле: «Мыслю, следовательно существую».

Впрочем, не так-то легко жить вопреки максиме гениального философа. Жить, не думая. Мы, дети, примкнули к философской школе Амаяка. Но не мать.

До нашего «социального падения», когда ещё позволяло нам наше благосостояние, в доме соблюдали распорядок выходных, принятый в Игдыре: дни кюфты, когда за столом неизменно собирались дядя Аветис и Аршавир Шаварсян, которые и в Игдыре, и в Ереване были самыми желанными гостями для домашних. И обычай выходных возобновился, когда Амаяк стал продавцом в кооперативном магазине.

Ни для кого не секрет, впрочем, и мой дядя, и Шаварсян не думали скрывать, что кулинарные таланты их жён не заслуживают ничего, кроме, как выражался Аршавир, «глубокой признательности». Ибо Вардуи-дзало всегда считала, что еда создана для «обмана желудка», а Ехсабет Епремовна была настолько увлечена

педагогической деятельностью, что ей некогда было думать о вкусе приготовленной пищи. А обеды моей покойной мамы, по словам того же Шаваршяна, представляли «чудеса кулинарии». Кюфту отбивали я и мать. Я колотил мясо тяжелым деревянным молотком, держа его двумя руками, мать одной рукой помогала мне, другой же ловко возвращала разлетающиеся клочья мяса в середину отшлифованной, гладкой, как чёрный мрамор каменной чаши, которая вместе с нами приехала из Игдыра. Настоящими праздниками были для нас эти дни. Кюфта приправлялась чудесными тостами, бесконечными историями про Орду, которые Шаваршян рассказывал, каждый раз добавляя что-то от себя, и смех и веселье длилось до позднего вечера. И все забывали, что мы не в Игдыре, что мы изгнанники-переселенцы, и никто не знал, какие дни нам ещё предстоят ...

\*\*\*

В Ереване мы узнали, что Пьян Аракел не единственный из игдырцев «чрезмерно злоупотреблял» водкой. Через стену с нами в таких же двух комнатах жила семья Вали, Велибека, который, как и раньше, был мясником, но занимался уже не разделыванием туш, а оптовой перепродажей мяса: скупал у езидов скотину и продавал мясникам. Было у Вали три сына, старший где-то в России, а двое других, Гуго и Наапет, разводили скот. Вали в Ереване заменял Пьян Аракела. Ему было уже за восемьдесят, когда он женился на Танго из Апарана, а через год она родила светловолосую, краснощёкую девочку, как две капли воды похожую на отца. Правда, он сильно пил, но шатающимся мы его никогда не видели, хотя он хлестал водку, наверное, вместо воды.

Надо было видеть Велибека! Высокий, сухопарый, зимой и летом ходил в старой, ещё игдырской «венгерке», локти врасстырку, руки постоянно держал в карманах, большущий горбатый нос и синие глаза. Страстно любил играть в нарды, и всегда «на интерес». Проигрывая, наливался кровью, краснел и что-то возмущённо бормотал, точь-в-точь как индюк. Я помню его по одному случаю, который надолго врезался в память.

Однажды, как обычно, он в обед пришёл домой и прошёл на свою половину, на маленький балкон, куда можно было попасть только по лестнице, идущей мимо наших дверей. Через пару минут вижу, он снова поднимается по лестнице... Глядя на мою обалдевшую физиономию, он лишь смущённо улыбнулся: «С балкона свалился». Вот тебе и восемьдесят лет! Перегнулся с балкона, может, чтоб сплюнуть, и... слетел вниз головой со второго этажа!

Старший сын Вали, Гайк, который жил в России, видимо, был из «окаянных», по определению Тер-Месропа, – объявился как-то вместе с 11-й армией. Приехал проведать отца, но не остался, скоро смотался обратно в Россию. Видимо, они говорили на разных языках, хотя изъяснялись на игдырском диалекте...

И еще вспоминаю Вали как раз по случаю приезда Гайка, о прибытии которого с Красной Армией никто не мог знать. Вали считал его появление неожиданным, а сам, может, как раз, давно ждал его, и потому встречу их нельзя было назвать сердечной. Но среди соседей-игдырцев его приход наделал шуму, так как весь Ереван с большим нетерпением и, одновременно, с опаской ждал пришествия «этих, в островерхих шапках».

Чего только не рассказывали про них! Но дядя Гайк был совсем другой – ну просто картинка! Высокий, такой же сухопарый, как отец, такой же синеглазый, из-под кубанки свисал пышный светлый чуб, такой же, как у Вали, орлиный нос и орлиный взгляд. Сам веселый, речистый, общительный, с первого дня до последнего – в бесконечных застольях с балдеющими от него соседями... Великолепный тип игдырца, невероятно обаятельный в своей кожанке и сапогах со скрипом и с какими-то блестящими металлическими набойками, которые позванивали на ходу. А сбоку сабля, ну и конечно, маузер...

Он и сам видел, что вызывает всеобщее восхищение, да и Вали тоже ходил, раздувшись от гордости, хотя старался выглядеть равнодушным...

В тот день перед приездом Гайка, как было сказано, народ в Ереване был охвачен нетерпением, и наши все тоже собрались в доме у Вали и выглядывали с его балкона на единственную неширокую дорогу из Канакера, откуда ждали появления «островерхих шапок». С его балкона эта дорога хорошо просматривалась, по ней еще с ночи двигался «кяварский поезд» – караван ишаков, нагруженных рыбой-*ишханом* из Кявара. Они по этой дороге напрямиком за 4–5 часов попадали на ереванский базар, чтобы успеть распродать рыбу задолго до рассвета, до появления базарбаши, который в десять–одиннадцать уже запрещал продажу рыбы.

Некоторые семьи Еревана, как и игдырские тоже, незадолго до этого, напуганные разными слухами и пересудами, сбежали в направлении Тавриза. Остальной народ заполнил улицы, толпился на плоских кровлях домов и ждал...

На балконе Вали и у его окон стояли все наши, кроме меня с отцом. Дело в том, что отец, вопреки желанию матери, тоже хотел уйти в Тавриз, но так с этим тянул, что опоздал, и бегство стало совершенно лишним. Единственной причиной

отцовского намерения было то, что он тоже игдырец и должен «что-то предпринять», когда кое-кто из нашей родни уже пересёк иранскую границу. Теперь, поскольку скрыться не удалось, он прятался за высокой стопкой одеял и матрасов в маленькой комнате Вали и ждал очередного невезения... Хотя мог бы сидеть спокойно и не переживать, так как можно было ожидать, что ему зачтутся некоторые, хоть и незначительные, «услуги» перед приходящей властью: не далее, как два месяца назад с «моей помощью» он «устроил поджог» на военном складе и извёл много оружия и боеприпасов, которые вышли из строя и не были задействованы в перестрелках.

Наверное, Вали всё же знал о приходе сына, поскольку, будучи истым игдырцем, не только не пытался уйти за границу, но и скрывал в своем доме моего отца...

Первым на дороге появился конный взвод музыкантов, их духовые инструменты блестели в лучах солнца. Потом пошли кавалерия, пехота, вереницы пушек растянулись вдоль дороги, и авангард армии, наверно, был уже возле университета, а замыкающие части ещё шли и шли мимо нас...

Вали (надо думать, намеренно) вытащил отца из его убежища, когда Гайк под торжествующие крики вошёл в дом. Бедный мой отец, растерянный и смущенный, да к тому же перепуганный, стоял посреди комнаты. Он переводил непонимающий взгляд с домашних, которые еле сдерживали смех, на Гайка, на его саблю, на папаху, сдвинутую набекрень, и... попытался снова спрятаться за кроватью. Но Гайк не выдержал, захохотал и, шагнув к Амаяку, крепко обнял его, потом усадил и принёс ему воды, и отец пришёл в себя и тоже стал смеяться, как ребёнок, который убедился, что его не станут наказывать за сегодняшнюю шалость. И точно так же, по-детски, поглядывал на мою мать, а мама, что она могла? – только улыбалась и тихо плакала.

Затем Вали дал знак, и Танго накрыла на стол, и первый бокал подняли и выпили за освободительную 11-ю армию, и Гайк произнес речь, почти непонятную, которую услышал и я...

\*\*\*

Как я уже говорил, в конце нашего коридора была ещё одна комната, где жил такой же, как мы, переселенец, ванец Дикран со своей матерью Маре. Они так и обращались друг к другу – по имени. Дикран был ремесленник, ткач, а Маре обихаживала, как все матери, своего единственного сына.

О, если б я умел тогда рисовать! Каким утончённым благородством светилось бледное лицо Маре... Сейчас я знаю, что этот свет сродни божественному сиянию картин Рембрандта. Словами трудно описать грустное, печальное лицо Маре, лучащееся добротой, её синие, прозрачные, как акварель, глаза, маленькие руки, словно созданные для молитвы и не знающие покоя. Она не выходила из дому, зимой сидела рядом с *курси*, а летом – на балконе, на тахте, пряла шерстяную нить и тихонько рассказывала что-нибудь на удивительно нежном, певучем ванском диалекте, безусловно, самом чудесном из всех армянских диалектов. Банавши уже не было с нами, и мать за советом шла к Маре.

– Твой сын Эдик хороший ребёнок, славный малыш... только... такой проказник! Ты присматривай за ним, душа моя, чтоб он на свою голову какой беды не натворил...

Маре имела обыкновение за работой чуть слышно напевать себе под нос что-то незнакомое, и так красиво, так нежно и удивительно внятно. Я подкрадывался к ней, как кошка, и прильнув к её плечу, просил: «Маре, спой ту песню, только погромче...» Она не отказывала, но смущалась, вдруг соседи услышат. И чуть громче пела:

Чья же ты, нежная, чья же ты, милая?  
Весь мир и все знают, что только моя...

И глаза её увлажнились, она оставляла рукоделие и смотрела куда-то вдаль в одну точку. Потом, очнувшись, маленькой ручкой, меньше моей, ласково ерошила мне волосы и шептала: «Ну, теперь беги, сейчас Дикран придёт, пойду обед разогрею».

Сын, придя с работы и пообедав, садился на балконе и, случалось, беседовал с моим отцом, впрочем, как и следовало ожидать, говорил в основном Дикран.

Ванские армяне шли в Ереван через Игдыр, исход их начался даже раньше бедствий 14-го года. Их привал и передышка в Игдыре затягивались иногда довольно надолго, так как тут уже не нужно было спешить. Здесь они в покое прикидывали и решали, куда податься дальше, что выбрать, Алекполь, Тифлис или Ереван. Большинство останавливалось на Ереване. Правда, какой бы пункт ни выбрали, везде их ждало одно и то же: везде они были *гахтаканами* и никому до них не было дела. Немало изгнанников ушли в Тифлис, и жаль, очень жаль. Замечательные ремесленники были среди них, мастера своего дела, кто бы отказался от таких умельцев! Этот народ сроду не умел сидеть без дела, не могли они ждать каких-то «лучших времен», они должны были действовать.

Пожалуй, таких людей, как народ Васпуракана и Вана, серьёзных и – это надо было сказать в первую очередь! – умных, таких толковых у нас больше не было. Десять раз измерят, только потом резать станут, чтобы чего-то добиться, и добивались – спокойно, уверенно и с успехом... Не будь в Ереване бывших ванских жителей, кто бы одел тысячи нищих, полуголых, оборванных беженцев пусть даже в крашенные хлопковые ткани – «кятаны», в полотно и холстину...

Они открыли ткацкие мастерские, мыловаренные заводы, и появилось мыло, хозяйственное мыло, которого долго не было в помине, люди, обезумевшие от гнид и вшей, мыли волосы зеленой глиной под названием «гил» и полоскали уксусом. Из кости и твердой древесины ореха кустари вытачивали гребни для волос. В банные дни гребни ходили по рукам, их одалживали друг у друга. Хородадо сажала дочь Шушаник и вычёсывала ей волосы частым гребнем, поминутно обращая лицо к балкону Дикрана и благословляя сына Маре, подарившего ей такой чудесный костяной гребешок...

А Дикран в это время на балконе объяснял моему отцу удивительную «бухгалтерию», до которой до сих пор не додумался ни один экономист.

– Э, братец Амаяк, никакие счёты, никакая арифметика не помогут подсчитать цену крови... нет у крови цены. Кто-нибудь учёл цену крови погибших детей, у которых ведь тоже должны были родиться дети? Мы же только сосчитали число убитых, да и то неточно, а утраченное имущество кто-нибудь считал? – и, каждый раз, задавая вопрос, он делал паузу, ожидая ответа от Амаяка, слушавшего его с опущенной головой, и, разумеется, не дождавшись, продолжал:

– Наши дома, наши парки, наши сады, наконец наша земля – земля наших дедов. Что же, это всё не имеет цены? Вот что я хотел бы спросить, братец Амаяк. Ах, братец Амаяк... Ван, Ван... Ты был в Ване, братец Амаяк?

– Нет, не был, не раз думал съездить – жаль, не привелось...

– Э, братец Амаяк... Наш Ван... Знаю, вашему сердцу мил ваш Игдыр – ничего не могу сказать, видели по пути сюда... Игдырцы люди хорошие, гостеприимные, честные, мы благодарны вам, плохого, упаси Боже, от игдырцев не видели... Но Ван, Ван! Если бы вы только видели... Весь мир в одну сторону, а Ван – другое... Теперь спрошу тебя, имеет ли цену земля Вана? Нет, не имеет, даже не думай, не имеет, милый, не имеет...

– А кровь загубленных цену имеет? Нет, не имеет, и думать забудь.

– А их нерождённые дети?..

– Никто не считал... Забудь...

И туманилось в голове у отца от этих несчитанных потерь. Ему самому ни разу в голову не пришло подсчитать всё, что он оставил: дом, амбар, сады, землю...

Кому было считать и куда счёт предъявлять? Предъявителя нет, погиб от ятагана, а тому, кто спасся, после объяснили, что его счёт за давностью недействителен и не может быть ничем компенсирован...

Но был у армян один «способ компенсации». Испытанный тысячелетиями.

Дикран-Тигран был не женат. Маре говорила: «Что-то не ладится...» Но Маре, скорее всего, ошибалась. Просто Тигран очень любил свою Маре, да и в деле своём ещё не до конца порядок навёл. Так что у него были причины не торопиться со своим расчётом, что и как должно строиться в его дальнейшей жизни. Победил «расчёт» Маре и её страстное желание иметь внуков. В один прекрасный день Маре привела в дом синеглазую девушку с золотой косой, тоже ванеци, и более чем скромная свадьба решила все проблемы Дикрана-Тиграна.

«Компенсация» не заставила себя ждать. Года не прошло, невестка Майрануш подарила Маре внука Варданика. Потом в течение трёх-четырёх лет их число выросло до четырех, и все – мальчишки. Помолодевшая Маре уже не успевала присесть подле курси.

Бухгалтерия Дикрана очень занимала отца, наверное, оттого, что в их беседе он чаще пребывал в роли слушателя и волей-неволей производил в уме нехитрые подсчёты касательно оставленного им дома, садов, огородов и земли. Правда, всё это виделось так нематериально, призрачно, было так далеко-далеко... Он переставал слышать Дикрана, глаза у него краснели, в мыслях он уносился в свой магазин, к друзьям, к застольям и веселью в фаэтонах, к ледяным родникам Зора и Кохба, вспоминал пугливые, как у лани, глаза своей Сатеник и бог знает что ещё...

Единственным собеседником Дикрана был мой отец, но даже отцу он не рассказал об обороне Вана, в которой он принимал участие в совсем ещё юном возрасте, – по-видимому, полагал, что игдырца этим не удивишь. И зря. Ещё как мог удивить! Ванцы-ванеци, когда нужно, бывали беспримерно храбры и бесстрашны, но что могли они противопоставить неисчислимой орде вооружённых до зубов аскеров и грязной толпе паршивых башибузуков? В Ереване в те судьбоносные дни ещё стоял известный своей отвагой Ванский полк. Где только он не воевал, где только не проливал кровь. И в Сардарапате сражался непоколебимо и безоглядно, в первых рядах...

Утром, ещё до времени ухода на работу, меня позвали к телефону.

– Это квартира Исабекияна?

Отвечаю: да, вы не ошиблись.

– Знаете, вас беспокоят из ортопедической клиники. У нас находится ваш отец, состояние неважное, вы не могли бы приехать? Алло, алло! – кричат в трубку, но я уже положил её на рычаг. Ничего не понимаю. Что он там делает, как оказался в ортопедической клинике? Состояние неважное? Господи Боже мой! На дворе ясное, солнечное апрельское утро, тепло, но ночью неожиданно выпал снег, к утру превратившийся в слякоть. Может, он поскользнулся? Что могло с ним приключиться?!

Отец лежит на высоком белом операционном столе, в своей повседневной одежде, только пальто с него сняли. Рядом кислородная подушка. Дышит глубоко и прерывисто, цвет лица здоровый, румяный, как всегда... Но почему он не открывает глаза, почему они закрыты? У его изголовья стоит мой старший брат и с грустной улыбкой смотрит на меня. Он узнал и приехал раньше меня.

Отец, ну скажи хоть слово!

Молчит, только дышит... Врач, которого я не заметил, приложив палец к губам, кивает мне и брату. О чём это он? Врач выводит нас в коридор и усаживает на скамью: «Садитесь и ждите здесь». И начинает перечислять переломы: правая нога, позвоночник, рёбра... «Состояние тяжёлое. Одним словом, подождём...»

Чего ждать-то?! Живого места нет, позвоночник сломан, а он говорит – подождём!

Рядом стоят двое молодых людей, хотят что-то сказать.

– Этот старик, наверное, ваш отец? Мы стояли на остановке автобуса на улице Абовяна, у памятника Исаакяну. Ваш отец тоже стоял и ждал, с авоськой, а в ней пустые молочные бутылки. Мы его сразу заметили, не могли не заметить, потому что он нервничал, куда-то спешил. Автобусы подъезжали переполненные, на подножках висят, а он каждый раз бежал к дверям, не дожидаясь, чтобы автобус остановился... Мы его даже раза два придержали, чтоб выходящие не сбили его с ног. Народ нетерпеливый, все спешат. И автобусы скользят, тормоза не держат... Когда он в очередной раз бросился к ещё не остановившемуся автобусу, водитель резко затормозил, автобус вильнул и боком ударил вашего отца. Люди на остановке закричали и бросились к нему, а он встал, отряхнулся и даже улыбнулся нам, говорит: «Ничего-ничего, всё в порядке...» Водитель как увидел, что он поднялся, тут же уехал. Но мы заметили, что он шатается и как будто опоры ищет,

а сам вот-вот упадёт, подбежали и едва успели его подхватить – он рухнул без сил... Мы поймали машину, сюда привезли. Сидим ждём, никто к нам не подходит, все куда-то спешат по своим делам, никто внимания не обращает, а он уже в обмороке... Вот эта девушка пришла проведать своего больного, узнала вашего отца и подняла шум. А он только и успел сказать: «Неужели здесь нет ни одного врача?» ... Вы нас извините, мы на урок опаздываем. Хорошо, что вы приехали...

Господи, ну куда ты так спешил, куда? Купил бы ты своё молоко или, там, мацони чуть раньше или чуть позже – ну и подумаешь! Кто за тобой гнался, что ты так рвался втиснуться в транспорт ещё до его остановки? Почему не сел с передней двери, ведь право имел, как пенсионер...

О, как притягательна сила демона, который мы зовём смертью, когда он уже наметил себе жертву! О чём думал этот восьмидесятичетырёхлетний ребёнок? Может, кровь в жилах застоялась? Так нет же! В мою мастерскую на шестой этаж взбегал за две минуты. Как раз пару дней назад приходил за «зарплатой». Когда он уходил, я следил за ним из окна и думал: «Интересно, по тротуару пойдёт или?..» Конечно «или»! Презрев переход, он наискосок перешёл широкую улицу Лермонтова и, задрвав кверху бороду, бодро зашагал дальше... Он ушёл, а я в который раз подумал, что надо его остеречь, не то наделает бед на свою голову...

Бедные водители, скрежеща колесами, притормаживают, высовываются из окон, ругаются и сплёвывают в досаде, а ему всё нипочём – даже не взглянет, идёт себе дальше. Сколько раз я просил его: «Отец, улицу на свой фасон не перекраивай, добром это не кончится...» А он улыбался своей простодушной, чуть блаженной улыбкой и говорил всегда одно и то же: «Игдырские ангелы со мной, ничего мне не будет...»

Видно, в то утро ангелы Игдыра проспали, или куда-то запропастились, или Араз разбушевался в весеннем половодье, а может, через колючую проволоку пробраться не сумели...

Что же мне теперь делать с тобой, скажи? Ты хоть понимаешь, что я сейчас вместе с тобой теряю? И теряю навсегда? Надежду мою ты уносишь с собой – надежду, которую я видел в тебе, доверяя твоей наивной, но упрямой уверенности, что ты снова увидишь Игдыр... Из-за каких-то двух бутылок мацуна ты унёс с собой эту надежду. Ну куда ты спешил, куда? И зачем теперь приходишь по ночам и маячишь передо мной, недовольно цыкаешь, почёсываешь бороду, одежду мою

поправляешь?.. И невинно смотришь на меня, будто не знаешь, что ты натворил. А я, вопреки логике и рассудку, действительно верил, что увижу Игдыр... Ах, если бы не ватные ноги, встал бы сейчас да и... Что же ты теперь скажешь брату, Аветису, Власу, отцу твоему Исабеку? Рассказывать станешь, что ходил за мацуном? Чтоб он покис, мацун твой, что же ты наделал!..

Он дышит, грудь еле заметно поднимается-опускается, только дыхание тяжёлое, прерывистое, и сонная артерия судорожно вздымается и опадает. Мой взгляд скользит выше, ласкает лицо... Его лицо не изменилось – привычное, родное лицо, в котором ничего нет старческого, обрюзглого, черты чёткие, собранные. Глубокие морщины на лбу – признаки упрямства, которые бороздят теперь и мой лоб, – сейчас расправились. Надо лбом волнами встают густые курчавые волосы, они у него такие от рождения, только сейчас седые. Его глаза закрыты – большие добрые глаза, которые не менялись, даже когда он сердился, и потому казалось, что это не всерьёз. Он спит, равнодушный, безучастный ко всему. Покой лица нарушает только небольшой синяк и припухлость возле носа, но поразительно, даже с закрытыми глазами лицо отца улыбается мягкой, почти детской улыбкой, прячущейся в его усах и бороде... Так покойно и мягко он улыбался, тихо причмокивая краешком губ, когда бывал в мире с самим собой, уходил в свои мысли, отстранялся, переставал замечать всех вокруг и погружался в себя... Кто знает, что он сейчас вспоминает... Переплывает Кохпачай, чтобы увидеть Сатеник, или с Арчилом танцует лекури, или он уже со своими ангелами, которые успели перейти Араз?.. Ну скажи, милый мой Игдыр, почему припозднились твои ангелы, почему ты не прислал их пораньше? Почему они не уговорили его сесть через переднюю дверь или пойти за мацуном попозже?..

О, как безжалостен демон смерти, если решил кого увести... Что ангелы, даже сам Всевышний не в силах ему помешать...

Ты понимаешь, дорогой мой Игдыр, что для нас нет круговорота, и отец мой не вишнёвое или абрикосовое дерево, которое снова зацветёт или даст новые побеги... Он был один из последних, оставшихся в живых твоих горожан. Ты недоглядел, и смерть унесла его, а с ним и надежду, и веру, и мечту – мечту увидеть тебя...

Мы с братом, ошеломленные и растерянные, сидим под дверью операционной, и уже находятся сочувствующие, которые лезут со своими утешениями: «Ничего, не переживайте так... не молодой уже... он своё пожил... дай Бог и нам с вами столько прожить...»

Поразительно, какими разумными бывают люди, когда несчастье случилось не с ними... Мудрые слова, ничего не скажешь: «Не переживайте, надо беречь здоровье, все мы не вечны, он немало пожил...» Может, ещё добавьте: «Радуйтесь, что не вы лежите на его месте»... А то, что он больше не посмотрит на рассвете в сторону Масиса, чтобы приветствовать первые лучи солнца, которые прольются на Игдыр? И никому нет дела до того, что ты осиротел, что ты больше не дитя, не сын своего родителя и отныне никто не окликнет тебя уменьшительным именем, неизменно добавляя к нему, «джан», «умереть мне за тебя», «цавэт танем»... Тебя будут звать по имени-фамилии, как записано в паспорте, и ты в один день сам превратишься в дряхлого старика, достойного жалости... А ведь ещё час назад я был сыном своего отца...

Конец неизбежен и ужасен, это нелепость, бессмысленный фарс... Лучше, наверное, и вовсе не родиться, но сие от тебя не зависит... Ничего от тебя не зависит... Вряд ли наши далёкие предки так уж верили в загробную жизнь, что-то для них всё же оставалось неясным до конца, зато мы всё до конца предельно «прояснили». По-видимому, и для отца что-то осталось неясным, потому он и улыбается...

Если мудрейший из живущих на свете молвил: «Да минует меня чаша сия», значит, этот страх живёт в человеке с момента его рождения, и тогда правильнее не родиться... Но против природы не попрёшь, и значит бояться не надо. Совсем недавно как раз об этом – о тайне смерти – шёл разговор у внука с дедом. Внук, математик, неизвестно почему спросил:

– Дед, а смерти не боишься?

– Кто она такая, чтоб её бояться!.. – отвечал дед и добавил солёное словцо в адрес «костлявой».

– Ну, это не ответ, так нельзя! – захохотал внук.

– Очень даже можно! Знаю, что жизнь не вечна, свой конец имеет. И что? Ну, будешь ты бояться, и что изменится? Жизнь конечна – и точка. Бояться можно болезней, докторов, чтоб жизнь не портили. На одном конце жизнь, на другом смерть, посередине – ты сам: живи и радуйся! То солнце, то дождь, то холод, то жара – всегда есть чем заняться. Только бездельник смерти боится... Ты сегодня когда проснулся? В десять, в одиннадцать? Вот и плохо. Я уже с шести на ногах, на пять часов дольше твоего прожил... Тебе ещё умыться, завтракать, а я уже и поел, и птиц покормил, и помолиться успел... Бояться ничего не надо: всё на свете имеет конец. Дерево и то сохнет. А ты возьми отросток и рядом посади...

И дед замолкает, размышляя над сказанным, и внук-математик тоже задумается, а ведь если то, что сказал дед, оформить математически... Однако главное, он усвоит, что его дед храбрый человек, на жизнь смотрит с высоты, философски, как рассуждали персидские и греческие мудрецы, – и это при том, что за плечами у него всего три-четыре класса церковно-приходской школы... Но дед всё же добавит после долгого молчания:

– Какой там конец! Нас ещё Игдыр ждёт, мы с тобой вместе туда непременно поедем. Вот если раньше умру, не увижу Игдыра, нехорошо получится... Умирать будет малость тяжелее...

Слышишь, Игдыр? Он говорит «малость», но знай: его любовь и веру в тебя даже его внук-математик измерить не в силах, и никакая вычислительная машина тут не поможет...

Один из наших безымянных писцов начертал на пергаменте: **«Сер катарьял и бац мерже еркуюх»** («Истинная любовь отрицает страх»). Потому, наверное, он и улыбался, что любовь его к тебе, дорогой мой Игдыр, была безмерна и более чем истинна. И он летел к тебе вместе с ангелами или с аистами – со своей блаженной улыбкой на лице...

Отца, последнего из прихожан церкви Игдир-мавы, в землю положили без Тер-Месропа. Но священника я пригласил, так как мать просила об этом, да если бы и не просила, всё равно бы так поступил, потому что отец был, по сути, правоверным христианином и даже немного верил в существование Бога.

Мать я на кладбище не взял ...

По-армянски его называют **«герезманатун»** – могильный дом. Да, эта чёрная яма – наш последний дом. Человек без него не может. Без этого дома умирать будет слишком тяжело. Земляной холмик, камень на нём – это его дом, а если на камне начертано несколько слов: так и так, родился в таком-то году, в Игдыре или в Ване, скончался в таком-то, в Ереване, – то это уже как бы адрес этого дома. И остающиеся не должны лишать ушедшего права на последний дом, которым завершается жизнь и начинается память. А без памяти жизнь утрачивает смысл. Лишается смысла – и всё! Я не буду помнить мать, ты забудешь отца... Целый народ забудет, что от отца-матери родился, а не просто из какой-то щели в полу на свет выполз...

Я пригласил вместо Тер-Месропа молодого священника с дьячком, и под пение их энергичных, густых голосов мы проводили в последний путь Амаяка,

Исабекова сына, родившегося в 1880 году в Игдыре и «павшего» не в Оргове или у Архаджа, а в 1964 году в Ереване... В полном соответствии с самым целомудренным обрядом, установленным Григором Просветителем и нашим Тер-Месропом.

– Словом и крестом... – и крест опускается попеременно над четырьмя углами могильного холма, знаменуя таинство вечности, удостоверяя единственно достоверное знание: «землѐю был, и в землю уйдѐшь», ибо ещё никому из крещѐнных не довелось увидеть сына Божова, что явился бы и взвесил грехи людские и отделил праведников от неправедных, – хотя при желании люди и сами на это способны, да только кто знает, нужно ли это вообще, и потом, кто должен судить и кого?.. Я нисколько не сомневаюсь, что Амаяк, мой отец, который, говоря его словами, «и муравья не обидел», должен быть вознесѐн на небеса в сопровождении слуг господних – серафимов и херувимов, которые в это ясное апрельское утро по какой-то лишь им известной причине не смогли перелететь Араз. Одним словом, достоверной остаѐтся единственная истина – землѐю был, и в землю вернешься...

Одно больно, что не было у нас в тот день трѐх горстей твоей драгоценной земли, милый мой Игдыр. Не было, мы не привезли её от тебя. Но не от спешки. Он должен был сделать это, но ведь отец и подумать не мог, что будет похоронен в Ереване, а не рядом со своим отцом Исабеком, матерью Банавшой, под сенью церкви Святого Геворга, в земле дедов, твоей земле, милый мой Игдыр. Никогда в мыслях у него такого не было.

Приглашѐнный певец с музыкантами спел ту самую горестную песню, без которой игдырца, сурмалинца нельзя предать земле. Эта песня, исполненная подряд два-три раза, заменила те две-три горсти твоей земли, которые вовсе не от спешки не захватили с собой твои жители, а единственно из уверенности, что в Ереване им они не понадобятся: умирать в Ереване они не собирались... Кто из твоих горожан мог предполагать, что горстка твоей земли сделается таким «дефицитом»? Кто мог предвидеть, какая беда свалится на их голову, когда твои же граждане оглашали речи в парламенте, суля народу торжество возвращения в Игдыр через какие-то три месяца. И первым среди тех, кто верил им беспрекословно, был мой отец, для которого не нашлось кучки твоей земли, любимый мой Игдыр, чтобы эта родная земля «стала ему пухом»... Если бы она нашлась, но нет её, нету, отец, нету...

Отца знали многие, поскольку из старших оставался он один, и многие игдырцы, помимо его многочисленных родственников, звали его «керы» (дядюшка) и горячо доказывали своё с ним родство то через тётушек, то через дядюшек и бог знает ещё через кого. Народу на кладбище было много, а вот игдырцев – уже не очень, их становится все меньше и меньше, и скоро совсем никого не останется из твоих коренных горожан, и удивляться этому будешь, наверное, только ты...

А те, кто пришёл, приглашения ждать не станут. И значит, водки должно быть много, потому что здесь нет вина из мовуза, что развеяло бы печаль поминальной чаши, которую пьют, не чокаясь, а беззвучно касаясь пальцами, держащими рюмку. И печаль эта не проходит ни в семь дней, ни в сороковины, ни даже после годовщины.

Память людей об отце не сохранила скорбных, серьёзных воспоминаний, о нём рассказывают удивительные, по-детски наивные истории, слушая которые и грустишь, и не можешь скрыть улыбку...

Амасия, его двоюродный брат, средний сын Епрема-како, теперь самый старший в роду Исабека, вспомнит, как однажды, проснувшись, он и брат обнаружили пропажу кто брюк, кто блузы. Невестка объяснила, что Амаяк рано утром пришёл и унёс их, чтобы одеть другого двоюродного брата, которому не в чем было идти в школу... В другой раз отец привел с собой амбала, выволок из дядиного дома всю муку и велел перенести её к нам домой, так как мы в это время нуждались больше... Единственный мой выходной костюм в один прекрасный день исчез, так как одному из родственников, студенту, не в чем было ходить в институт. «Пусть своим старым костюмом обходится, ему легче новый купить», – сказал он моей жене Арпеник, которой и в голову не приходило возразить.

Расскажу, как опозорил он меня перед нашим профессором Шаваршяном.

Профессор пришёл ко мне в мастерскую, и я не мог понять, чему обязан такой чести. Смотрю, он никак разговор начать не может. Попросил сигарету, хотя не курил. Спрашиваю: что случилось, братец Аршавир? (Зову его так, как называла моя мать, – кто я такой, чтобы изменять благородный смысл этого обращения!) Он сразу становится серьезным и начинает:

– Сынок, с чего это ты... как бы это сказать... начал пить? Ну, то есть... ммм... пить сверх меры? Что случилось, причина есть?

Я ошалело молчу, уставившись на него, ничего не понимаю, но начинаю догадываться, откуда ветер дует.

Ты только послушай, милый мой Игдыр, до чего он довёл нашего простодушного герра профессора, – этот последний и единственный представитель торгового дома, носящего твоё имя, – младший сын Исабека по имени Амаяк! Так его запутал, что герр профессор забыл напомнить этому Исабекову сыну про то, чем он сам занимался в мои годы, когда дед Исабек отлучался из магазина, а к нему приходили «стосковавшиеся» друзья во главе с Арчилом и, частенько, с самим профессором Шаваршяном – тогда простым учителем-варжапетом Эчмиадзинской семинарии... Забыл он, ох, забыл терпко-сладкий вкус густого, крепкого вина из мовуза... И поверил этому забывшему свою совесть в Игдыре Амаяку, что я, дескать, «злоупотребляю спиртными напитками» и совсем «от рук отбился»...

Это я тебе рассказываю, а профессору что я мог сказать? Он живет по наказам врачей, как мне втолковать ему, что «веселие и яркость жизни придаёт вино»? Сказать, что первым принёс мне эту «благую весть» мой любимый дядя, Устабаши, – правда, сопроводив её напутствием, что «пить надо, но в меру, только в меру»? И добавил, что «без вина ни песня не споётся, ни танец не спляшется». Напомнить, как от этого вина вытанцовывал таракяму на столе тот писатель с большим носом? Ну как ему всё это скажешь? Потому молчу и грустно смотрю на него...

– Ну прости и не гляди на меня косо, джан ты мой. Да, а когда же ты меня наконец нарисуешь? Когда-нибудь ведь должен нарисовать?

– О, если вам удобно, прямо сейчас. Часика два, не больше...

– Нет-нет, только не сейчас, мне нос вытереть некогда. Это я так сказал, к слову, – и, осторожно ступая, направляется к двери, качая головой и говоря сам с собой: «Вай, Амаяк, вай!» Слова, которые я слышал много лет назад... Точно слышал, вот только от кого, Бог ты мой?.. Ну конечно, вспомнил! Из уст самого Тер-Месропа! «Вай, Амаяк, вай!»...

Помню как сейчас, он произнёс эти слова, прочитав записку, прилепленную хлебным мякишем, на двери нашего старого дома в Ереване: «Священникам вход воспрещён».

Это не Амаяк писал, и не я, и не мой брат. Написала младшая сестрёнка, наш «комиссар», как мы называли её за глаза. Это был её очередной, второй уже указ, на сей раз письменный. Первым она в форме устного предупреждения строжайше запрещала матери ходить в церковь и молиться по утрам, что было для неё тысячелетней привычкой. Мать на рассвете крошила птицам хлеб на балконе и

одновременно молилась Богу, просила уберечь нас от всяческих испытаний. Вот и вся молитва... Дело в том, что наша любимица, обожаемая всеми сестричка Рузанна, наш «комиссар», только-только вступила в ряды «юнкомов». Салютуя ладошкой, вскинутой над головой, она поклялась, что будет искоренять всё, что может помешать строительству высотного здания коммунизма. А стать юнкомом означало в первую очередь стать атеистом. И если она пока ещё не могла теоретически обосновать свои принципы и доказать верующим их вопиющую отсталость, то на практике, в своей новой деятельности, была просто непреклонна. И единственным объектом, на который она могла распространять свою непреклонность, была моя бедная мать, которой она запретила ходить в церковь. А мать моя не могла не ходить. Единственным её утешением было именно посещение церкви вместе с несколькими подругами её возраста. И она ходила туда тайком, придумывая какую-нибудь наивную причину.

Бедная наша «комиссарша» и себя не жалела, вернее, она начала с себя. Свои густые, длинные до пояса, заплетённые в толстые косы шелковистые волосы, которые мать любовно расчесывала, ласкала рукой и целовала, не уставая ими любоваться... эти косы она, не дрогнув, отстригла сама домашними ножницами. Что стало с бедной моей матерью! На коленях она умоляла дочку не резать косы, плакала и умоляла... Не помогло. Ей было сказано, что это «пережитки прошлого», несовместимые с высоким званием юнкома. Так говорила эта их бесстыжая «товарищ Маро», которая ходила стриженная под мальчишку и носила на своей глупой башке мужскую кепку. Но наша Рузанна и в таком виде была очень хорошенькая, ей короткая причёска тоже очень шла, и мы постепенно привыкли...

И вот она заперла мать в нашей маленькой комнате, и та со слезами на глазах била себя по коленям, но ничего не могла поделать – приказ есть приказ... А я наблюдал за происходящим через щель в окне (меня тоже «арестовали») и ждал, что будет дальше...

Кажется, это была Пасха или, может, Новый год, и Тер-Месроп по обыкновению, в качестве духовного пастыря Игдыра, по очереди обходил дома игдырцев с благословением их домашних очагов и семей, с пожеланиями доброй Пасхи и вместе с дьячком, незаметно принимающим пожертвования, отправлялся дальше...

Он был просто ошарашен, встал перед дверью как громом пораженный. Не поверил глазам, надел очки и снова прочитал. Потом в растерянности хлопнул

себя по голове толстым евангелием, ошеломлённый, развернулся и, придерживая подол рясы, с помощью дьячка кое-как спустился по лестницам, повторяя слова, которые произнёс профессор Шаваршян, уходя от меня: «Вай, Амаяк, вай...» Вот так опозорились мы перед всеми соседями-игдырцами, перед родственниками, стали притчей во языцех...

Вот что значило быть юнкомом.

Юнком. Это значит – юный коммунар, и что интересно, эта юношеская организация появилась в Армении несколькими годами раньше, чем в России и в других республиках. И название было меткое, ёмкое: юный коммунар, «юнком». Однако спустя некоторое время его сменили на «пионер». Никакого сравнения! И создал эту организацию человек необычайно красивый и обаятельный, поистине феноменальный, от природы щедро награждённый невероятным талантом, энергией и силой! Он был отличным педагогом и организатором, поэтом и драматургом, психологом и борцом, пленительным оратором с яркой, образной речью, замечательным рассказчиком. Этот удивительный человек, «товарищ Стёпа»...

Нелёгкое это дело – в одиночку противостоять скаутскому движению, переживающему бурный расцвет. И как же чётко должен был представлять свою задачу этот человек, подобно Микеланджело, изваявший из бесформенного куска мрамора юношу-коммунара, похожего на Давида прекрасного ...

Вокруг него в «Саду Коммунаров», на скамейках в тени деревьев по одному собирались подростки. Их было двадцать один – юнкомы, которые затем сплотили вокруг себя десятки и сотни, скоро ставшие тысячами. Всё юношество Армении, словно римские гладиаторы, вдохновлённые Спартаксом, встало под знамя своего предводителя. Через год юнкомы сделались кумирами, пределом мечтаний для всех без исключения подростков Армении, а от скаутского движения остались одни воспоминания. Но воспоминания неплохие, поскольку быть скаутом тоже было нелегко. Во-первых, надо было быть... сиротой, потерявшим родителей. Или беженцем, чудом оставшимся в живых и добравшимся до Еревана, воспитанником одного из основанных американцами приютов. А уж тут нужно было суметь оказаться в числе «избранных». Да-да, «избранных», то есть отличиться каким-нибудь талантом, или внешним видом, или физическими данными – одним словом, понравиться господину Онику или господину Черазу. Только прошедшие жёсткий отбор этих опытейших педагогов, проповедующих принцип «В здоровом теле здоровый дух», удостоивались чести

носить голубой галстук и кожаный ремень с бляхой, на которой были выгравированы Сис и Масис и девиз: «*Поднимись и подними!*», что означало: поднимись сам – сумей победить трудные обстоятельства, и помоги другу подняться и стать вровень с тобой. И ведь какие люди из них получились: Хачик Даштенц, Мушег Мамиконян, десятки других... Многие из скаутов также не смогли устоять перед колдовским обаянием товарища Стёпы и стали юнкомами.

Сменяли друг друга спортивные представления... Журнал «Пионер» стал самым читаемым и любимым журналом юношества... Сыграли «Разбойников» Шиллера... Поставили «Спартак»... Ночные шествия с факелами... Немало чудес повидали ереванцы в те далёкие годы. И неудивительно, что мы с сестрёнкой последовали примеру нашего старшего брата, счастливчика, который состоял в компании ещё двадцати таких же, как он, избранных. Я был всего лишь октябрёнком, тогда как моя сестра – юнкомом. Причём юнкомом необычным – крайне принципиальным, неуступчивым, непреклонным, короче – «комиссаром», как мы прозвали её после принятия «присяги», ибо с тех пор с нами сестрёнка разговаривала исключительно языком указов и распоряжений. О, эти «юнкомы» шутить не любили: сначала раздробили, потом окончательно «добили» скаутов, а после перешли ко всем тер-месропам и к основам основ веры – к храмам божьим. Сорвали с церкви кресты, запретили звонить в колокола, а здания церкви пустили под склады или превратили в клубы, красные уголки, кинотеатры под названием «Безбожник».

...Многие церкви позднее ждала ещё более печальная участь: одни пошли под снос в согласии с новым градостроительным планом. Те, что не разрушились сами, – взорвали, сровняли с землёй. И крушили их уже не юнкомы. Их сносили и заменяли своими «творениями» люди неопределённой профессии, к которым неприменимо слово «архитектор». Это звание подходит им не больше, чем конское седло – другому копытному животному, ибо истинными архитекторами были Торос Тораманян, Александр Таманян...

Все, что чудом уцелело от татаро-монголов, сельджуков, турок и персов, пустили на слом самым варварским образом, и город с почти трёхтысячелетней историей лишили возраста, омолодили, сделав чуть не своим ровесником. Да, в годы «верховодства» этих «юнкомов» всех мастей ереванцам действительно было не до скуки, так же, как юнкомам – не до шуток...

Находились такие дети-безбожники и внуки-атеисты, которые ножницами отстригали своим спящим дедам и святым отцам бороды или усы, – тем, кто не успел сам это сделать. Жгли их рясы, и запуганные священники даже тайком не решались надевать свою «спецодежду», не запрещенную законом, боялись носить крест. Сверток с рясой под мышкой приносили в церковь и там переодевались.

Были среди них редкие «храбрецы», и первый среди них – конечно, наш приходский священник, неггибаемый Тер-Месроп, который был в конце концов игдырцем, а их не так-то легко удивить или запугать. Особенно если принять во внимание увесистую трость, которая в старости прибавилась к его облачению. Трость он держал не как старики – чтобы опираться на неё, а как знакомый нам мясник Вали. Он так и не снял свою старую рясу и уж тем более не отказался от своей роскошной бороды, и продолжал пасти своё игдырское «стадо», невзирая на увещания своего «ученого сына», который был готов обеспечить ему безбедную старость...

Но какое слово и какой совет могли заменить ему, старому игдырскому священнику, единственную возможность окунуться в свою стихию – хотя бы раз-два в год снова ощутить себя пастырем своего, пусть даже воображаемого, прихода. Кого волновала его истерзанная душа, его растоптанное достоинство игдырца!..

В просторных складках его рясы пряталась бутылка арташатского вина, которую он тайком приносил в далеко не бедный дом сына, где для него ничего не жалели. Никто не мешал ему, исхудавшему, одинокому, согбенному старцу, непослушной рукой откупоривать эту бутылку, наливать и поднимать бокал, по старой привычке возводя очи вверх, к голому оштукатуренному потолку, а не к униженной стёклышками лампе в его игдырском доме, и с каждым бокалом поминая своего Норайра, который остался под Аргаджем, пока *гахтаканы* переходили мост Маргары... Шаварша, который остался в Апаране, удерживая тыл Сардарапата... Хорена, который остался в Оргове, чтобы дать игдырцам пройти до моста Маргары... Арама, который... Всех друг за другом – как дома, в Игдыре, когда он со свечой по очереди обходил их, спящих, и благословлял одной, лишь для них припасённой молитвой, что так и не спасла его орлят. Они улетели навсегда, улетели, сражаясь за тебя, любимый мой Игдыр, – до обожания, самозабвенно любившие тебя молодые орлы...

Так что больше не тверди понапрасну, что будто бы игдырцы тебя бросили. Не говори этих слов... Никогда больше не повторяй их, если не хочешь причинить боль одиноко витающей в вечности безутешной душе Тер-Месропа...

Мир полон несчастий, но в большинстве своём они вовсе не обязательно должны случаться с человеком, и всё же случаются. И, к сожалению, кому-то этих несчастий достаётся больше, куда больше, чем другим. А нам, любимый мой Игдыр, выпали не просто несчастья, которые однажды всё-таки могут забыться, покрывшись пылью времени, и не просто боль, которую можно перетерпеть, если стиснуть зубы. Нет, это неизлечимая рана, скорбь ума и страдание души, как сказал в своем гениальном романе великий поэт из Маку.

### **М о н о л о г**

И вкусив горечь собственного бессилия, склоняясь до земли перед тобой, перед священным именем твоим, любимый мой Игдыр, прошу твоего снисхождения и великодушия к сему неумелому, несовершенному моему творению, которому даже твое участие помочь не смогло.

И не сочти за дерзость сделанное мною, поскольку единственным, что заставило меня потревожить твой покой, была моя безмерная любовь к тебе, почитание и вера в смысл твоего существования, а вовсе не претенциозное желание «заделаться писателем».

И знай также, что мой разговор с тобой родился сам собой, по зову моего сердца, ибо бремя души моей было слишком тяжело, чтобы я мог нести его один, без твоей помощи.

И пусть простят меня мои ночные визитёры – твои достопочтенные горожане: безутешный Устабаши Аветис, мой гордый дед Исабек, чудесница бабушка Банавша, не доживший до своей мечты Епрем-како, горемыки Мамикон, Гарегин, Айрапет, не знавший покоя, неприкаянный отец мой Амаяк, многоуважаемый Влас, тётушки Овсанна, Нуне и Мане, и свет моей души – моя мать, что присоединилась к ним, и многие другие достойнейшие игдырцы, унёсшие с собой твой нерукотворный образ, оживить который мне не хватило ни сил, ни таланта.

И последнее, что вынудило меня нарушить твой покой, родной мой Игдыр, – то полнейшее безразличие в отношении тебя, от которого пересыхает родник, хлеб не лезет в горло и кровь стынет в жилах у тех, кому посчастливилось родиться под твоими земляными кровлями.

А те, кто родился позднее под крытыми жестью кровлями Еревана, пусть будут снисходительны вдвойне, если в их жилах ещё жива хоть капелька твоей крови, густой, живительной, как вино из мовуза. Хотя бы капля!

Ну, а если нет, если не осталось этой последней капли, если свернулась она, утратив густоту и цвет... Нет, не может быть этого! И ты не верь, любимый мой Игдыр! Каждый день с первыми лучами солнца устремляй свой взор в сторону Араза, к мосту Маргары, и ещё дальше, к Сардарапату, и вслушивайся и жди звона колоколов. Они висят высоко в каменных арках, и однажды они зазвонят – как то ружье на стене, которое когда-нибудь выстрелит, даже если никто не нажмёт на курок. Ты услышишь их, а потом увидишь юношей – прекрасных юношей, переходящих Араз и идущих к Горе...

**1975-83 гг.**

**Ереван–Шоржа**

## *Примечания переводчика*

**1. ...Поход Тимура**

**15-го мая 1404** года кастильские послы выехали из Эрзинджана и двинулись дальше. На следующий день они миновали город Пагаррикс, о котором рассказывали, что в 1402 году Тимур приказал разрушить в нем все армянские церкви. Армяне заплатили Тимуру 3000 серебряных акча, чтобы он не трогал церкви, но Тимур, взяв деньги, все же приказал разрушить все церкви.

---

**21-го мая** послы прибыли в город Эрзерум, ранее принадлежавший армянским христианам, а теперь там правил Юсуф-Али из племени туркоманов (туркмен).

---

**26-го мая** послы заночевали в поле у реки Аракс.

---

**29-го мая** послы достигли города **Сюрмари**, расположенного близ горы Арарат. Тимур захватил этот город в 1387 году. **Сюрмари** считается первым городом, построенным после потопа, и отстроило его племя Ноя.

---

**30-го мая** послы достигли замка **Игдыр** к югу от Арарата. Ранее в этом замке жили разбойники. Тимур захватил замок, казнил его владельца и приказал снять с замка ворота, чтобы в нем не могли укрываться разбойники. Потом он передал замок под управление жены казненного правителя, которая платила с тех пор дань Тимуру. Теперь замок стоит без ворот.

---

**31-го мая** послы покинули замок **Игдыр** и продолжили свой путь вдоль подножия **Арарата**. Они миновали замки **Маку** и **Алинджа**. Последний замок знаменит тем, что с 1387 года неоднократно выдерживал попытки Тимура

захватить его. Блокада замка с небольшими перерывами продолжалась около 14 лет.

---

**5-го июня** послы прибыли в город **Хой**, где встретились с посольством мамелюкского султана Насир ад-дина Фараджа к Тимуру.

2. **Паруйр Арутюнян** (Липарит Аветисян), занимался революционной и просветительской деятельностью, член партии дашнакцутюн. О нём впервые написала М. Гукасян в небольшом эссе-исследовании (Литературная Армения, 2008 г.), основываясь на архивных документах и воспоминаниях его дочери, Шогик Паруйровны Аветисян.

3. Слова гимна «Родина наша...» написал **Микаэл Налбандян**, музыка **замечательного западноармянского композитора Барсеха Каначяна**.

4. **Отрывок из стихотворения В.Терьяна** (Аннотация) приведен в переводе Альберта Налбандяна

## 5. Карсский договор

Заключен 13 октября по окончании Карсской конференции 1921 между кемалистской Турцией, с одной стороны, и советскими республиками Закавказья, с другой.

Состоит из преамбулы, 20 статей и 3 приложений. Срок действия договора не был оговорён. Однако, по некоторым сведениям, имеются дополнительные секретные протоколы к договору, в которых в частности, указывался 25-летний срок действия положений договора. Таким образом, выражение о покровительстве Азербайджана над Нахичеванской областью, оговоренной в статье 5, становится объяснимым. Именно этим сроком и было обусловлено заявление Молотова от 22 июля 1945 г. на шестом заседании Берлинской (Потсдамской) конференции руководителей союзных держав, об условиях заключения советско-турецкого союзного договора, т.е. возвращение отторгнутых областей Карса, Артвина и Ардагана и урегулирование проблемы Черноморских проливов.

*Как показывает опыт заключения подобных договоров, в них как правило оговаривается конкретный срок действия и порядок расторжения, которые отсутствуют в основном тексте доступном для всеобщего пользования.*

**Статья 2 была особенно важна для Турции**, поскольку согласно этой статье, стороны не признавали никакой договор или международный акт, который мог быть навязан посредством силы. Советская Армения заявила протест, сравнив эту статью с унижительным Александропольским договором. Ею были безуспешно заявлены также следующие положения:

1. Передать Армении Анийские развалины.
2. Отменить покровительство Азербайджана над Нахичеванью
3. Передать Армении Кохбские солерудники
4. Разрешить только эксплуатацию Кагзванских рудников
5. Вернуть разграбленное имущество Александропольского депо.

**По статье 3 аннулировался капитуляционный режим.**

**Статья 4** определяла границу между Турцией и республиками Закавказья (более подробное описание границы давалось в приложениях 1 и 2). Согласно статье 5,

правительства Турции, Азербайджана и Армении соглашались, что Нахичеванская область (с границами, указанными в приложении 3) образуют автономную республику под покровительством Азербайджана. И оговорено: без права передачи третьей стороне. Третьей страной имелась в виду именно Армения, то есть и эта статья была направлена против Армении.

**Ст. 6—9** относились к взаимоотношениям Турции и Грузии. Остальные статьи определяли правовое положение граждан сторон, устанавливали порядок обмена пленными, касались упорядочения экономических, финансовых и прочих вопросов, заключения консульских соглашений и т. д.

*Таким образом, Карсский договор в основном повторял положения Московского договора 1921, который ущемлял жизненные интересы Армении.*

### **Именной указатель**

**Андраник**– (1865 —1927) — один из лидеров армянского национально-освободительного движения конца XIX — начала XX веков, национальный герой армянского народа. Также известен как *полководец Андраник (Зоравар Андраник), Генерал Андраник* (на Западе) и *Андраник-паша* (на Востоке).

**Врацян– Симон Врацян** (1882-1969), известный армянский политический деятель, один из дашнакских лидеров, в 1920 г. возглавил коалиционное правительство Первой Республики. Вёл непримиримую войну с Советской властью, после разгрома правительства Первой Республики эмигрировал в Бейрут.

**Григорий Магистрос** – (990–1059) – ученый, писатель, педагог, военный и государственный деятель, переводил и пропагандировал античную литературу. Известна его поэма «Тысяча строк к Мануче» – стихотворное изложение Священного писания. В это время в литературе активно разрабатываются новые жанры: Магистрос первый ввел новый для армянской литературы эпистолярный жанр. Его Письма написаны в художественно-публицистическом стиле, автор широко использует мифы и басни. Прадед Нерсеса Шнорали, поэта, богослова, католикоса Киликии.

**Габо-бидза**- реальный персонаж, известный своими поучительными историями **Дро**– (Канаян Драстамат) (1883 1956), армянский политический и военный деятель. Член партии Дашнакцутюн. Учился в русской гимназии в Ереване, затем в военном училище в Пятигорске. В конце 1917 был назначен комиссаром Армянского корпуса. В 1918 принял участие и руководил в Баш-Апаранском сражении против турецких интервентов, командуя войсками прикрытия. В ноябре 1920 был назначен военным министром Республики Армении. По соглашению между РСФСР и Республикой Армения от 2 декабря 1920г. , согласно которому Армения была объявлена независимой социалистической республикой, Дро был введен в состав временного Ревкома Армении (от группы левых дашнаков, но не утвержден. До начала января 1921 выполнял обязанности командующего войсками Советской Армении. В феврале 1921 принял участие в выступлении против Советской власти. В последующие годы — эмигрант (жил в Румынии, Ливане). В годы второй мировой войны Дро примыкал к той части партии Дашнакцутюн, которая ориентировалась на фашистскую Германию. Принял участие в создании легионов из числа армян-военнопленных Советской Армии. После второй мировой войны участвовал в деятельности Американского национального комитета армян без родины (АНКА), содействовавшего

размещению армян из числа перемещенных лиц в Западной Европе и США. Умер в США.

**Егиазар Овакимович Лазарян (Лазарь Якимович Лазарев)** (1788—ок. 1870) — полковник (1826), организатор переселения персидских армян в Россию (1828). Служил в гвардейской кавалерии. Участник русско-персидской войны 1826—1828 гг. Возглавил комиссию по организации переселения армян (около 50 тыс. человек) из Ирана в пределы Российской империи.

**Керы**, Кери- дядя (брат матери). Народное имя Аршака Гафаряна (1858— 1916) — деятеля армянского национально-освободительного движения. Член партии Дашнакцутюн. Окончил армянское училище на родине — в Карине. Был членом организации «Паштпан айреняц». В 1895, во время резни в Карине, возглавлял вооруженную группу, охранявшую резиденцию армянский духовного предводителя. В 1903 с конной группой гайдуков Торгома перебрался в Сасун, принял участие в Сасунской самообороне 1904. В 1905 перебрался из Васпуракана в Восточную Армению. Во время армяно-татарских столкновений Керы был одним из организаторов самообороны армян Зангезура (в частности — в Ангехакоте) В последующие годы принял участие в революции в Иране (1908), присоединился к Епрем Хану, стал его помощником, а после его гибели отомстил убийцам. Во время первой мировой войны 1914—18 Керы являлся командиром 4-го армянского добровольческого отряда, принял участие в Сарикамышской операции (1915). Проявил себя умелым военачальником. В 1916 по пути на Мосул, у Ревандуза Керы попал в окружение со своим отрядом, но, проявив находчивость, сумел вывести бойцов из окружения, а сам пал в бою. Похоронен в Тифлисе. Керы был известен как один из смелых командиров армянских гайдуков, народ слагал о нем песни.

**Мхитар Гераци** — (середина 12 — начало 13 вв.), армянский классик средневековой медицины. Хорошо знал труды греческих, арабских и персидских медиков. Г., учёный с рациональным мировоззрением, избегал отвлечённых суждений, не подкреплённых клинической практикой. Был сторонником теории, впоследствии получившей название гуморальной патологии. Из трудов Г. известны: «О камнях и их лечебных свойствах», «Анатомия глаза» и др.

**Пап, царь Пап**— царь Великой Армении (369-374 г.г.), из династии Аршакидов, считался свободомыслящим, ярким, умным и отважным (Фавстос Бюзанд, История Армении)

**Паруйр, внук кузнеца Аво**— Паруйр Овсепович Арутюнян, член партии «Дашнакцутюн», большую часть своей жизни был вынужден жить под псевдонимом «Липарит Аветисян», как и многие революционеры в начале 20-века. В вынужденной эмиграции публиковался во многих газетах («Азатамарт», «Горизонт», «Кармир Моцак» и др.). В годы Первой Республики работал дашнакским комиссаром в Джалалоглы (Степанаван). Был близок с Ованесом Туманяном, часто останавливался у него в Вернатуне (в Тифлисе).

Но причиной его первого изгнания явился один из ярких эпизодов не только его жизни, но и всех армян, бывших в то время игдырцами и сурмалинцами. Паруйру было поручено физическое устранение Богуславского, губернатора Сурмалу, «гиены Игдыра», взяточника, деспота и тирана, отъявленного армяноненавистника. Все 12 лет его губернаторства игдырцы жаловались на него. Своим правлением он выражал настроения тогдашней царской России в отношении к армянской нации и был необходим этому режиму. Стотысячное население губернии больше не могло сносить несправедливость и приговор был приведён в исполнение Паруйром по поручению Дро. И это осуществил меткий стрелок, которого звали «Слепым Паруйром», пообещав, что попадёт ему прямо в пасть, навсегда заткнув её, ибо он оскорбил игдырцев своим знаменитым «запахну игдырцев в бутылку и заткну пробкой». Своё обещание Паруйр

выполнил, обреченный сначала на изгнание действиями царской охранкой, для его отъезда в Европу сурмалинцы собрали большую сумму, которую он потратил на организацию армянских школ в городах, где мог остановиться. Вернувшись в Тифлис, подвергался преследованиям уже советской власти, как дашнак, и был расстрелян в 1937 году.

**Петрос Адамян**— Родился в 1849 в г., начал сценическую деятельность в Армянском театре в Константинополе, после закрытия в Турции армянских театров вместе с некоторыми другими армянскими актёрами переехал в Россию, выступал в Тифлисе, Баку, Шуше, Александрополе. выступая на армянском и французском языках. Его творчество повлияло на многих армянских актёров: Сирануйш, Рачья Азнив, О. Абеяна, Г. Петросяна, В. Папазяна и принесло армянскому театру международное признание Петрос Адамян - не только национальная гордость, но и мировая величина. Он был признан лучшим Гамлетом второй половины XIX века в мировом масштабе. Сам Эрнесто Росси, считавшийся непревзойденным Гамлетом, увидев Адамяна в этой роли, подарил ему свою фотографию с дарственной надписью: "Адамяну - Первому в мире Гамлету".

**Раффи**— видный армянский писатель, (1835-1888) автор исторических романов, «Хент», «Давид-бек», «Самвел», а также труда по истории Нагорного Карабаха "Меликства Хамсы".

**Рибейра**, Хосе де Рибера (1588—1656), прозванный в Италии Спаньолетто — испанский живописец и гравер. Из произведений Рибера наибольшей известностью пользуются: "Сон Иакова", "Мучение Св. Варфоломея", "Пресвятая Троица" (в мадридском музее), "Поклонение волхвов" (в Луврском музее, в Париже), "Мучение св. Лаврентия", "Св. Мария Египетская" (в дрезденской галерее), "Снятие с Креста" и "Смерть Сенеки" (в мюнхенской пинакотеке).

**Сараджев**— Сараджян Константин Соломонович (1877-1954). Дирижёр, педагог, народный артист Армянской ССР (1945). В 1898 окончил Московскую консерваторию по классу скрипки. Дирижированию учился в в Лейпциге. С 1908 вёл разностороннюю музыкально-просветительскую деятельность в Москве, выступал как солист, ансамблист. Исполнял новинки русской и западноевропейской музыки. В 1914-17 мобилизован рядовым на Юго-Западный фронт. После окончания Гражданской войны вернулся в Москву, профессор в консерватории, с 1935 жил в Ереване.

**Гениальный Саят**— речь идёт о Саят-Нове, великом армянском ашуге.

**Сероб**— Ахпю́р Серо́б (Серо́б Вардана́н, также известен как Серо́б Паша́ ; 1864-1899) – наиболее видный представитель армянского гайдуцкого движения 1890-х гг. Родился в селе Сохорд округа Хлат Битлисского вилайета (Турецкая Армения). В 1891 году в столкновении с двумя курдами убил одного из них, из-за чего бежал с родины в Константинополь, затем в Румынию. Примкнул к дашнакам. В конце 1895 года с группой из 27 человек вернулся в Хлат и начал вооруженную борьбу против турок. Организовал в армянских селах партийные комитеты и самооборону из семи боевых отрядов, успешно защищая армянские села в ходе произошедшей в 1896 г. резни (бои у сел Тегут и Сохоод). Прославился как защитник крестьян, которые дали ему прозвище «Ахпюр Сероб» («Родник Сероб»), сложили о нем многочисленные песни и поговорку: «бог – на небе, Сероб – на земле». Одержал ряд побед над курдскими формированиями и выславшимися против него регулярными войсками (в Шамиране, Джргоре, Согорде, Нембуте, Сасуне, Хатвине). Вместе с ним участвовала в боях и его жена Сосе Майрик. Турки несколько раз окружали дома, в которых находился Сероб, однако ему всегда удавалось вырываться и уходить от преследований. После сражения со стянутыми против него турецкими силами под Бабшеном 20 октября 1898 г. Сероб был вынужден покинуть Хлат и уйти в Сасун. Вскоре в селе

Гелиегузан Сероб был осажден турецким батальоном. Он вырвался, потеряв в бою двух братьев и сына Акопа; Сосе Майрик была ранена и попала в плен. 1 ноября 1899 г. Ахпюр Сероб был отравлен предателями-армянами по наущению местного правителя, курдского аги Башире Халила, получившего за это орден от султана. Вскоре после этого убийц выследил и уничтожил Геворк Чауш, а Башире Халила убил Андраник, отославший снятый с убитого орден в бюро партии в Женеве.

**Сирануйш**– Сирануш (Меробэ Кантарджян) (1857, Константинополь —1932, Каир) — выдающаяся армянская актриса.

Игра Сирануш отличалась глубокой эмоциональностью, ярким темпераментом, самобытной трактовкой образов, получила высокую оценку М. Н. Ермоловой, А. И. Южина-Сумбатова.

Играла в спектаклях на армянском и турецком языке. Выступала главным, образом в мелодрамах и армянских исторических трагедиях классицистического направления 1879 — после русско-турецкой войны 1877-1878, когда гонения османского правительства против армян особенно усилились, вместе с Адамяном и своей сестрой Астхик переезжает в Тифлис. Выступала в Баку, Ереване, Тбилиси, Румынии, Болгарии, Греции и Египту, играя в драматических и опереточных спектаклях. (Сценография Сирануйш наиболее полно представлена в трудах театроведа Бахтияра Овакимяна).

**Егише Чаренц**, (1897-1937) — выдающийся армянский поэт и переводчик.

Классик армянской литературы. Его перу принадлежат переводы на армянский произведений А. С. Пушкина, В. В. Маяковского, И. В. Гёте, Э. Верхарна, У. Уитмена, М. Горького,

**Хатисов** (Александр Хатисян) — царский чиновник, кадет и дашнак. Врач по профессии. В 1917 г. городской голова Александрополя, министр в правительстве Первой республики. Подписал униженный Александропольский договор.

**Чауш**– подлинное имя– Геворк Казарян, (1870 или 1871 — 27 мая 1907) — деятель армянского национально-освободительного движения, один из наиболее известных партизанских лидеров. В одном из боев убил чауша (полицейское должностное лицо), за что получил свое прозвище.

**Аббас** (Аббас-Мирза) — персидский принц, славился необыкновенной ученостью, отличался приятным, благородным обхождением и любил европейские нравы и европейское образование, но войны вел довольно неудачно. По Гюлистанскому миру, заключенному в 1813 г., Персия лишилась своих владений на Кавказе и должна была допустить русский военный флаг на Каспийском море. В 1826 г. опять начал войну против России, сражался весьма мужественно, но снова был побежден русскими войсками под предводительством генералов Ермолова и Паскевича и принужден был заключить в 1828 г. мир в Туркманчае (**Туркманчайский** договор).

**Шустовский** коньяк– **Николай Леонтьевич Шустов**— российский предприниматель, владелец товарищества «Шустов и сыновья», одного из крупнейших производителей алкогольной продукции в царской России начала XX века.

## Географический указатель

**Агавнадзор** – В XIX веке входил в Шарур-Даралагязский уезд Эриванской губернии. Название села многократно менялось. Нынешнее название, буквально означающее «голубиное ущелье», получил после Великой Отечественной войны.

**Алаверди**– город на северо-востоке марза Лори в Армении. Известен как центр медной промышленности Армении.

**Алашкерт** – в древности Вагаршакерт (турецкий Элешкирт, Топрак-кале), город и гавар в восточной части Эрзрумского вилайета на территории Западной Армении, в одноименной плодородной долине. в пределах Великой Армении. в середине XVIII в. здесь насчитывалось свыше 360 армянских сел. В ходе войны Алашкерт несколько раз был взят русскими войсками и затем оставлен, вследствие чего в 1914 16 армянское население подверглось погромам и выселению. В результате очередного турецкого нашествия, в марте апреле 1918 последнее армянское население Алашкерта перешло в Восточную Армению.

**Александрополь**– Препежне название Ленинакана (ныне Гюмри) . В военных сводках русско-турецкой войны 1806г. обозначался как *Гумры*, (турецк. *таможня*). Однако сами гюмрийцы ведут начало своего города с древнего названия **Кумайри**.

**Ани** – (городище (замок и крепость) на востоке современной Турции, на правом берегу реки Ахурян. Древняя столица армянского Анийского царства. В период расцвета город имел население не менее 100 тысяч человек и был известен как *город 1001 церкви*. 1534— в составе Османской империи, 1878-1917— в составе Российской империи (по Сан-Стефанскому договору).

**Апаран** – Во время происходившего одновременно Сардарapatского сражения 1918 турецкое командование приняло решение направить на Баш-Апаран 9-ую дивизию с задачей нанесения удара по Еревану с Севера и выхода в тыл армянским частям, перешедшим в контрнаступление в районе Сардарапата. Для того, чтобы сорвать эти планы турок, армянское командование спешно перебросило с Сардарapatского фронта в район Баш-Апарана часть сил под командованием **Дро** (6 тыс. человек). Армянским регулярным частям большую помощь оказали армянские, а также езидские ополченцы во главе с Джаангир-ага. В ходе боев турецкие захватчики были разбиты и отброшены к западу от Баш-Апарана. Победа армянских войск в Башапаранском сражении наряду с победами в Сардарapatском сражении и Караклисском сражении 1918, сыграла большую роль в устранении угрозы вторжения турецких захватчиков в Араратскую долину, наступавших на Ереван. В Апаране, районном центре Армении, воздвигнут памятник героям Башапаранского сражения.

В 1918 году при Баш-Апаране состоялась битва, в которой армянские регулярные части и ополчение разбили турецкие войска,.

**Араз** – Река Аракс (Арас- турецк.) стала границей между Российской империей и Ираном (Персией) по Гюлистанскому мирному договору. Аракс — крупнейший правый приток Куры. К бассейну Аракса относится 76 % территории Армении.

**Аргадж** – село в Сурмалинской губернии, недалеко от Игдыра.

**Ардаган** – гавар (с 1878-округ) с одноименным центром в Ахалцихском вилайете Турции на территории Западной Армении, в районе верхнего течения реки Куры. В основном соответствует гавару Артаган провинции Гугарк Великой Армении. В 1555 гавар попал под власть Турции и в качестве самостоятельного санджака был включен в состав Чылдырского (Ахалцихского) эялета. В 1828, в канун вступления в Ардаган русских войск, основную часть населения города (всего 400 домов) составляли армяне. 25 декабря 1914 турки заняли Ардаган и учинили резню армянского и грузинского населения. По Московскому договору от 16 марта 1921 Ардаганский округ вместе с Карсской областью отошел к Турции, после чего почти все армянское и грузинское население вынуждено было эмигрировать в Закавказье.

**Армавир** – (до 1932— **Сардарapat**, до 1992— **Октемберян**) — город в Армении. Расположен в Араратской долине у южной подошвы горы Арагац. Армавир был заселён с 5-6 тысячелетия до н. э. Вблизи современного города расположены руины древнего Армавира — первой столицы Армянского царства.

**Арпачай**– река в Армении, (берет начало из гор Карахач, протекает на юг мимо г. Гюмри и впадает в Аракс) на берегах которой 18 июня 1807 г. произошло сражение между турецкой армией под командованием Юсуфпаши (20 тыс. чел.) и русским войском под командованием генерала И.В. Гудовича (7 тыс. чел.). (Русско-турецкая война, 1806—1812). Заключив перемирие с персами, Гудович двинулся против турок тремя отрядами на Каре, Потти и Ахалкалаки. Но всюду атаки русских отрядов были отражены. После этого турки сами перешли в наступление. Гудович успел собрать свои отряды в единый кулак и отошел с ними в район реки Арпачай, где дал бой армии Юсуф-паши. Несмотря на почти тройное численное превосходство, турки потерпели поражение и отступили. Победа Гудовича при Арпачае не позволила турецкому командованию перехватить инициативу на Кавказском театре военных действий. В августе 1807 г. между Турцией и Россией было заключено перемирие. За победу при Арпачае Гудович получил чин фельдмаршала.

**Аштарак** – (переводится как башня) — город в Армении, расположен на берегу реки Касах в 13 км к северо-западу от Еревана.

**Баязед** – крепость, в начале XIX в. Баязет являлся одним из самых густонаселенных армянских гаваров (40 армянских сел, 31 тыс. жителей; в целом, в 4 санджаках пашалыка насчитывалось 187 армянских сел. 78 тыс. жителей).

**Бюракан** — село в Армении, расположен на юго-восточном склоне Арагаца. Бюракан известен тем, что тут расположена Бюраканская астрофизическая обсерватория.

**Ван** – город в Западной Армении, на восточном берегу озера Ван, на торговом пути в Иран. Древнейшая столица Армении, основанная Сардури I (835—824 до н. э.). Исторически находился в гаваре Госп провинции Васпуракан Великой Армении. С первой половины XVI в. — в составе Османской империи. По данным переписи 1914 в Ване проживало 22470 армян и 15000 турок (по данным Ванской епархии — 34000 армян и 21000 турок). Во время геноцида 1915 ванские армяне, прибегнув к героической 27-дневной самообороне, освободились от турецкого ига: 6 (29) мая в город вступили русские войска и армянские добровольческие отряды, на следующий день было создано Ванское губернаторство во главе с А. Манукяном. Однако, предпринятое по политическим соображениям неожиданное отступление русских войск, вынудило армян покинуть город и перебраться в Восточную Армению. Вступившие в Ван турецкие войска полностью опустошили город и вырезали не успевших выехать армян. Когда русские войска вновь заняли Ван, лишь небольшая часть ванцев смогла вернуться в родной город (по данным переписи, проведенной в июле 1917 местным комиссариатом, в Ване проживало всего 5388 человек). В феврале 1918, во время нового вторжения турецких войск, армяне окончательно оставили город.

**Веди, Ведибасар** — город в Армении на расстоянии 35 км от Еревана. (Арарат - с 1968 г. (до того времени был областью Эриванской губернии).

**Гарни** — посёлок в Армении, в 28 км от Еревана, там находится языческий храм (I в. нашей эры)

**Гедар**–река, протекающая через северную часть Еревана

**Гер (hEr) и Загреванд**– области в Древней Армении. Руководитель восстания Вардан Мамиконян отправлял своё войско в области Гер и Загреванд для защиты южной границы.

**Далма**, далминские сады— имеют древнюю историю, около 3000 назад засажены со времён Ванского царства, вблизи Еревана на местности под названием Кармир Блур. Там же и была построена город-крепость Тейшебайни, в маранах которого хранилось вино в огромных карасах ёмкостью 800-1000 л, если быть точным, 820 штук ... А далминские сады орошались каналом, построенным тогда же от сегодняшнего моста «Победа» на Киевской вверх до сегодняшней Ленинградян...

**Двин** – Востан Двин — крупный ремесленно-торговый город, столица средневековой Армении и главный город одноимённой области в провинции Арарат. Построен царем Великой Армении Хосровом II в 335 г. С этого же времени здесь находилась резиденция армянских царей династии Аршакидов.

**Еран** (Эран) — старинная форма термина «Иран». Во главе империи стоял шахиншах — «царь царей Эрана и не Эрана».

**Зангибасар**— село близ Еревана, сейчас- Масис, у села шли кровопролитные бои с турецкими войсками.

**Игдыр–мава** – район Игдыра. Игдыр–мава – район Игдыра. *Мава-голубой* (турецк). По-видимому, обозначал элитность района.

**Иран** – государство, где мусульмане-шииты составляют больше половины населения-89 %. Армянская община Ирана является одной из самых старых в мире — ей более 500 лет.

Армянские архитектурные памятники в Иране находятся в приличном состоянии. Общество по сохранению культурного наследия и власти страны проявляют большую заботу о монастырях, церквях и других памятниках старины. При ограниченном бюджете, большие деньги уходят на реставрацию. Сейчас в Иране действует 40 армянских церквей. Два из монастырей– место паломничества армян всего мира. Такое отношение резко отличается от политики турков и азербайджанцев.

**Каракилис** – прежнее название Ванадзора — Караклис или Каракилис («чёрная церковь»). Такое название объясняется тем, что в городе до 1828 года

существовала чёрная церковь, на месте которой в 1831 году была построена новая. **Карин** – Эрзурум соответствует древнеармянскому городу Карин , имя которого греки переделали по-своему в Карано (а арабы в Каликала). Город с раннего Средневековья известен на весь восток как центр ковроделия в Армении. Слава ковров произведенных в нём, была настолько велика, что эти ковры высоко ценились среди знати многих стран. В 1895 году в городе была организована резня армянского населения, в которой участвовали войска и турецкое население. В 1916 году во время Первой мировой войны город с апреля 1916 до лета 1917 года занимался русскими войсками Кавказского фронта.

**Карс** – С 1918 по 1920 является столицей Юго-Западной Кавказской демократической республики. По Брестскому договору 1918 года отошёл Турции вместе с округами Батум и Ардаган. По Карсскому договору 1921 года вошёл в состав Турции.

**Кешишкенд**– ныне Ехегнадзор, город в Армении.

**Котайк** — область в центральной части Армении. Столица — Раздан. Другие города — Егвард, Нор Ачин, Абовян, Бюреган, Чаренцаван, Цахкадзор. На территории Котайка расположены памятники Гарни и Гегарда. Название дано по находившемуся на этой территории древнему гавару (уезду) Айратской провинции Великой Армении, на территории которого, в частности, находился нынешний Ереван.

**Курдукули** – Прежнее название Армавира (Октемберянский район ). 5-й армянский стрелковый полк (командир полковник Погос Бек-Пирумян), партизанский пехотный полк, Игдирский пехотный полк и особый конный полк перешли в наступление из районов Кёрпалу и Курдукули, сломили сопротивление турок и вынудили их обратиться в бегство.

**Кявар** –Гавар, город на побережье Севана.

**Лори**– область Армении, на севере страны, граничит с Грузией, столица — Ванадзор, (бывш. Каракилис).

**Маква** , Маку – область в Иране.

**Мост Маргара** – здесь находится автодорожный мост построенный через реку Аракс (вблизи деревни Маргара) и соединяющий Армению с Турцией.

**Навтлуги**– узловая железнодорожная станция близ Тбилиси.

**Нахичеван**– Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона отмечает, что по преданию, город Нахичевань был основан Ноем, а дата основания города по персидским и армянским источникам –1539 год до н.э. Современная наука также относит основание города к 1500 году до н.э. По рескрипту Николая I от 20 марта 1828 года сразу же после заключения Туркманчайского договора, согласно статье III вместе со всем ханством была уступлена шахом «в полную собственность» Российской империи, а из присоединенных к России Нахичеванского и Ереванского ханств была образована Армянская область. В область входили Ереванский и Нахичеванский уезды и Ордубадская область ("Собрание актов, относящихся к истории обозрения армянского народа"). В июне 1918 года город вначале заняли турецкие войска, при поддержке которых была провозглашена независимая Республика, а затем в ноябре 1918 года их сменили англичане. 28 июля 1920 года Нахичевань была занята частями 11-й Красной Армии. В 1918-1920 гг. в результате двух турецких нашествий армянское население бывшей Нахичеванской области (затем уезда) частью (25000 человек) было вырезано турецкими оккупантами и мусаватистскими бандами, а частью оказалось вынужденным оставить родной край. 16 марта 1921 года Советская Россия и Турция в Москве заключили договор, согласно которому Нахичеванская область в "статусе автономной территории передается Советскому Азербайджану". С точки зрения норм международного права это, конечно же, был откровенный произвол: два государства передали территорию третьего государства без его согласия четвертому государству. Чтобы придать договору юридически приемлемый вид, он был в том же году обновлен в Карсе (**Подробнее:Карсский договор**) с приобщением к нему советских закавказских республик: "Турецкое правительство и Советские правительства Азербайджана и Армении соглашаются, что Нахичеванская область в границах, указанных в приложении настоящего договора, образует автономную область под покровительством Азербайджана." Не в состав, а именно под покровительство Советского Азербайджана. Ни у кого не было сомнений, что Нахичеван - территория армянская, которая в интересах мировой революции передается под протекторат Советского Азербайджана. **Ведь не отдали бы территорию Азербайджана под его же протекторат!** О том, что Нахичеванская провинция являлась коренной областью Армении, свидетельствует и то богатое наследие, которое оставили потомкам ее культурные очаги, уничтоженные за годы Советской власти и **варварски распаханные после распада СССР**. С 9 февраля 1924 года столица Нахичеванской АССР. **Озеро Ван**– Одно из трёх прекрасных озёр Великой Армении (Ван, Урмия, Севан). Сейчас находится на территории Турции. Воспето в многочисленных легендах, песнях, поэмах армян, вынужденных оставить свои исконные земли. **Оргов**— село в районе Аштарака, в долине реки Амберд. Очень древнее поселение.

**Салмаст** – Область в Иране, там, где озеро Урмия.

**Санаин** – посёлок на севере Армении(у каньона реки Дебед, один из главных просветительских центров Северной Армении в Средние века. В настоящее время входит в состав города Алаверди, с которым его соединяет канатная дорога.

**Сардарapat**— место недалеко от Еревана, где в мае 1918 года произошло решающее сражение между армянскими и турецкими войсками, приостановившее наступление на Восточную Армению. Героические сражения только создававшейся тогда армянской армии с младотурками, беспрецедентные и блестящие победы армянского народа, одержанные в неравных боях за Сардарapat, Апаран, Каракилис предотвратили варварские намерения турков, направленные на захват Еревана, Араратской долины, Севанского бассейна и очередное уничтожение населения. Сардарapatское сражение проходило 21-28

мая 1918 года между регулярными армянскими воинскими частями и ополченцами с одной стороны и вторгнувшимися в Восточную Армению турецкими оккупантами — с другой. Сражение проходило в районе железнодорожной станции Сардарпат, близ города Октемберян.

**Сарикамыш** – сражение при Сарикамыше (9 декабря 1914 года — 4 января 1915 года) — оборонительная операция русской Кавказской армии против турецких войск в районе населённого пункта Сарикамыш (ныне Турция) в ходе Первой мировой войны. По мнению некоторых историков, в качестве мести за поражение турецкой армии при Сарикамыше турецкие власти организовали массовое уничтожение армян. Стал одним из центров турецкого национального движения в 1919 -1920 гг.

**Сис, Масис** – армянские название Малого и Большого Арарата.

**Сисакан**– Исторически Сюник (именовавшийся также по-персидски «Сисакан») — одна из 15 областей Великой Армении, причём древний Сюникский наханг (область) включал, кроме нынешнего Сюника (позднее Зангезур), ещё и земли вокруг оз. Севан и далее к югу до Аракса.

Сурмалинского уезда– территория современного *ила* Ыгдыр составляет историческую область Сурмалу и входила в Эриванское ханство, вассальное Персии, с 1828 в составе Российской империи. Позже составляла Сурмалинский уезд Эриванской губернии. В 1918 году уступлена Турции по Батумскому мирному договору. С 1918 года в составе Демократической Республики Армения. В ходе турецко-армянской войны в 1920 занята войсками Турции, армяне проживавшие на территории ила были либо убиты, либо изгнаны. В 1921 году территория окончательно отошла к Турции вместе с Карсом, Ардаганом и Артвином. Талин Город Талин (5,6 тыс. человек) расположен в 66 км от Еревана.

**СУРМАЛУ**, Сур Мали, Сур мари, Сурб Мари (Мариам), уезд, в Ереванской губернии Российской империи, на территории Восточной Армении. Исторически входил в состав гавара Чакатк провинции Айрарат Великой Армении.

Административный центр — пос. Игдир (Цолакерт), расположенный в 40 км к Юго-западу от Еревана, в правобережье Аракса. В XVI—XVIII вв. — под властью Персии. По Туркманчайскому договору 1828 отошел к России. Армянское население Сурмалу увеличилось за счет переселенцев из Хоя и Салмаста (Иран). В 1832 в Сурмалу проживало около 12 тыс. армян (1500 домов), из коих 4400 (550 домов)—в Игдире. Во 2-й половине XIX — нач. XX вв. большое число армян, покинувших Западную Армению вследствие преследований со стороны турецких властей, поселилось в Сурмалу. Накануне первой мировой войны здесь проживало 37 тыс. армян, из них 10 тыс. — в Игдире. В нач 1915 в Игдире под руководством Дро (Д. Канаян) сформировался 2-й армянский добровольческий отряд. Вследствие отступления в июле 1915 русскими войск из Вана, десятки тысяч армян нашли прибежище в Сурмалу. Часть из них погибла от голода и эпидемий. В июле 1916 русские власти запретили западноармянским беженцам возвращаться в свои родные края, в результате чего многие из них вновь стали жертвами эпидемий. По свидетельствам очевидцев, в Игдире и его окрестностях ежедневно погибали десятки и сотни людей. В середине мая 1918, после взятия турками Александрополя, большое число сурмалинских армян, ценою новых жертв, перебралось в левобережные районы р. Аракс. По Батумскому договору 1918 Сурмалу отошел к Турции. Турки учинили здесь погромы армянского населения. В 1919 Сурмалу был освобожден и присоединен к Республике Армении. До ноября 1920 многие сурмалинцы вернулись в свои родные места. В процессе развязанной Турцией армяно-турецкой войны 1920, в ноября кемалистские войска вошли в Сурмалу и учинили погромы армян. По Московскому договору 1921 Советская Россия взамен Батумской области уступила Сурмалу Турции, а затем вынудила

Советскую Армению заключить Карсский договор 1921 и тем самым признать свершившийся акт аннексии. Последние армяне были вынуждены оставить Сурмалу и перебраться в Армянскую ССР. В Игдире родились видные деятели армянского национально-освободительного движения — Аветис Агаронян и Дро (Драстамат Канаян).

**Туркманчайский договор**— Туркманчайский договор 1828 — мирный договор между Россией и Персией (Ираном), завершивший русско-персидскую войну 1826—1828 годов. Подписан в деревне Туркманчай (близ Тебриза). В выработке условий договора активно участвовал Александр Грибоедов.

**Хой** – Область в составе провинции Западный Азербайджан в Иране.

**Шоржа**– Шоржа расположена на восточном побережье озера Севан.

**Эвджилар**– село на берегу Аракса, ныне с. Аразаап.

**Эргир** – ( зап.-арм произнош. Еркир-страна)- это термин, которым ушедшие в эмиграцию армяне после Геноцида 1915 года, обозначали свою утраченную родину - Западную Армению вообще, и Арарат в частности.

**Эчмиадзин**– духовный центр армян. Некогда Эчмиадзин назывался Вагаршапатом - по имени его основателя царя Вагарша. В течение полутора веков он был армянской столицей. Знаменитый монастырь - действующий, это крупнейший образовательный центр и резиденция Католикоса. Эчмиадзин в переводе с армянского означает "сошел Единородный", то есть Иисус Христос, который по легенде указал св. Григорию, где должен стоять храм.

## Предметный указатель

**Авелук** – щавель

**Алани**– сушеный персик, фаршированный толченым орехом с сахарным песком

**Александрополь** (Алекполь) – город Гюмри (Ленинакан)

**Амбал**– грузчик, иногда так обзывают простонародье

**Ахали супра**– супра –скатерть, новая скатерть

**Ацатун**–отсек в жилище, предназначенный для выпекания хлеба

**Ачабаш**– лёжкий столовый сорт винограда с крупными ягодами,.

**Ашуг**– бард, музыкальный инструмент у него- кяманча (смычковый) или саз щипковый )

**Барекендан**– языческий праздник, последняя неделя перед Пасхой (соответствует Масленице), празднуется с широким размахом, а плут из одноименной сказки Ов. Туманяна стал нарицательным, умыкнув у простодушной хозяйки праздничные припасы.

**Бидза**– старый мужчина

**Блдух**– щека (тюркск.)

**Блур**– холм

**Бозбаш**– густой мясной суп, заправленный овощами и горохом-нутом

**Бостан**– огород

**Бохи**– фенхель, съедобная трава, немного с горчинкой

**Боша**– цыгане

**Брдуч дурум**– завернутый в лаваш набор закуски, иногда просто сыр с зеленью

**Брынза**– овечий сыр

**Вай, аман!** – восклицание, обозначающее или удивление, или горе

**Вана тарех**– замечательная рыба, водится только в озере Ван немного напоминает омуля

**Вардапет**– церковный сан, соответствующий Архимандриту, сан великого Комитаса

**Варжапет**– учитель

**Гавар**– губерния

**Гахт**– переселение народа

**Гахтакан**– переселенец, беженец

**Гитнак**– знаток, знающий человек

**Грабар и ашхарабар** - Грабар- древнеармянский литературный язык, до сих пор используется при богослужениях, Ашхарабар - мирской язык, начал использоваться в литературе с 19-го века

Гяндлан– съедобная трава, собирают в поле

**Дадаш**– дядя (тюркск.)

**Дандур** – портулак

**Дарваз**– ворота (перс.)

**Дзало**– старшая невестка

**Доолчи**–музыкант, отбивающий на доол– ударном инструменте

**Дошаб**– сок винограда, уваренный до густого сиропообразного состояния, помогает при кашле.

**Дусах**– темница (перс.)

**Заргяр**–ювелир

**Зурна**– духовой инструмент с резким звуком (Гугль дает: СО ЗВУКОМ ГОБОЯ)

**Ишхан** рыба, лососевая, водится в оз. Севан и в прозрачных притоках

**Калбатано**– почтительное обращение к женщине-грузинке (сударыня)

**Капек**– Капек арменизированное слово от «копейка» (нар.)

**Карачухели**–персонаж старого Тифлиса, наряду с кинто

**Карпеты**– карпеты домотканые безворсовые ковры

**Киндза**–амем, кинза

**Кирванер**– кирва– друг, побратим

**Когак**– (храмуля) рыба, пресноводная любит быструю речную воду

**Конахан**– гость

**Конд**– очень старый и бедный район на одном из холмов Еревана. До сих пор не снесён.

**Кочах** – смелый, отчаянный

**Курси**– круглый стол, накрывающий теплый тонир, служит печкой.

**Кямар** – (перс.) серебряный пояс, богато разукрашенный узорами и камнями.

**Кятан**– домотканое полотно

**Лаблабу**– жареный горох-нут

**Ламуки**– собачьи щенки

**Лекури**–кавказский танец (лезгинов)

**Лопаз** – бахвал

**Лореци Амбо**– герой рассказа Ов.Туманяна "Гикор", нарицательное имя бедного деревенского простака

**Мандак**– бутень (съедобная трава)

**Маран**–прохладное помещение при деревенском доме, где хранились зимние припасы фруктов, овощей и других сельскохозяйственных продуктов

**Мачар**– молодое бродящее вино

**Машалла**– (дословно: знает Аллах), здесь:молодец.

**Мейдан**– площадь

**Мовуз**– винный сорт винограда

**Мсхали**– белоягодный винный сорт винограда, плоды округлые, желтые, с красноватым налётом, универсальной лёжкости (т. е. также столовый сорт).

**Мутаки**– валикообразная подушка

**Мхитари**– винный сорт винограда

«Мшак», "Тараз", "Нор дар", "Царзардар" –армянские газеты и журналы

**Норк**–норкский, северный район Еревана

**Обá**– курдские горные поселения на пастбищах рядом с отарой

**Патком**– юный (патани) коммунары. Игра слов- (пат- стена) стеногрызы

**Пахлеван**– здесь: канатоходец. Обычно пахлеваны устраивали свои шоу, гастролируя по деревням, с музыкой-зурной, в сопровождении с **яланчи**

**Пешкеш**– здесь– подарок

**Пос** – яма

**Пшат**– дерево или кустарник семейства лоховых; то же, что лох, очень древнее культурное растение. Плоды похожи на удлиненные оливы, с мучнистой сладкой плодной массой. .

**Раны Армении**– исторический роман "Раны Армении" (издан в 1858), первый армянский светский роман на разговорном языке. Посвящен освободительной борьбе армянского народа в период русско-иранской войны 1826 -1828 и написан на живом народном армянском языке. Само название говорит о его патриотическом и политическом характере.

**«резвиться с рыбами», как и приводимое двустишие** – слова из стихотворения Р.Патканяна «По берегам матери-Аракса»

**Рехан**– базилик

**Сибех**–кавказский сибех - русское название - резак

**Соми**– буханка

**Србхеч**–здесь- день Поминовения усопших Иоанна Крестителя

**Сурб Геворк**–святой Георгий

**Сусамбар** – широколистная очень пахучая трава

**Тамаша**– зрелище, на современном языке– шоу

**Тан**–кисломолочный напиток, остаётся после сбивания масла из мацуна, растворенного в воде.

**Таракяма**– (тюркск.) ритмичный народный танец

**Тар** – (перс. "струна", "нить–щипковый народный музыкальный инструмент. Точное место изобретения этого музыкального инструмента неизвестно, предположительно на территории персидской империи. Распространён в Иране, Азербайджане, Армении

**Тархун**– эстрагон

**Тел-панир** волокнистый сыр, чаще обезжиренный

**Тониратун**– помещение, где есть тонир, врытая в землю печь для выпекания хлеба

**Писатель с большим носом** – по всей вероятности, это был Егише Чаренц

**Три яблока** – обычная концовка к сказкам- *с неба упали три яблока...*

Трндеза – день Трндеарача, 13 февраля, религиозный праздник

**Устабаши**– дословно: главный в мастерстве.

**Фалаг** - здесь: судьба, рок

**Фараджа**– паранджа

**Фидаины**– так называли в народе воинов, сражающихся за свободу армян

**фршанги** – фейерверки

**харджи**– сорт винограда. Именно этот сорт облагался налогом, который назывался харадж, откуда и пошло название сорта. Переименован в **воскеат**.

**Хачагёх**– похититель крестов, здесь-плут, мошенник

**Хашламу**– хорошо сваренные куски баранины или говядины

**Хмбапет**– чин в армии, полковник

**Хо́да ека, дардя хазаре**–Бог один, а бед тысяча (перс.)

**Хорац панир**– деревенский сыр, готовится прессованием сыра с зеленью и хранится в глиняных кувшинах

**Храбрый Назар**– герой комической сказки Д. Демирчяна

Царзардара Вербное воскресенье (гяшт),

**Чакма**– мягкие высокие сапожки на каблучках - чакме

**Чанах**– сорт сыра. Так называют также блюдо из мяса, переложенное всеми видами овощей

**Чапов Назани** – очень нежная песня Саят-Нова

**Чардах**– верхняя часть дома, чердак

**Чарчи**– торговец

**Чилар**– белоягодный сорт винограда, ягоды овальные, желтоватые, лучший сорт для шуджуха и дошаба.

**Чухи, чуха**– (перс.) верхняя мужская одежда у восточных народов, с разрезными рукавами.

**Шаи**– мелкая разменная монета

**Шамам**– вид дыни, круглый и очень ароматный плод величиной с большое яблоко

**Шорва**– очень густой суп-каша с пшеничной крупой

**Шпичка**–диалектизированное «спичка»

**Шуджух**–нанизанные на нитку ядра ореха обмакивают в сладкое мучнистое варево (для настоящего шуджуха его готовят только на дошабе, виноградном соке)

**Яланчи**– сопровождает пахлевана, собирая плату за зрелище и попутно стараясь рассмешить зрителей.

## **Аннотация:**

***Правда об изгнании армянского народа со своих земель.*** Переселение армян Восточной Армении–трагическая и непростительно невозполнимая утрата исконных армянских территорий. Правда об этой позорной странице большевистских торгов долгое время оставалась неизвестной большинству армянского населения. Книга пронзительно патриотическая, лишённая вымысла и наполненная скорбью, по стилю изложения похожая на поэму о родном, казалось, временно утраченном крае, раскрывает нам историю родины в устах мудрого художника, перебирающего победы и ошибки собственного народа, переплетённые с несправедливыми поворотами судьбы...

В книге можно узнать почти всё о быте и обычаях сурмалинцев, живущих в цветущем крае под сенью Российской империи на земле, никогда не принадлежащей туркам... и проклинавших все пункты пресловутого Карского договора.

Написанная простым, народным языком книга в переводе на русский язык позволяет еще раз склонившись перед подвигом своих героев, сыновей, погибших за клочок отвоёванной земли, за Первую Республику и сегодняшнюю независимую Армению, с благодарностью почтить память великого патриота,

замечательного художника Эдуарда Исабеяна, сумевшего на склоне лет не только создать эпопею о родной земле, но и в годы коммунистической власти донести свой голос до земляков, когда-то населявших всю Восточную Армению...